Сибирское притяжение

Сибирское притяжение

ПОВЕСТИ
РАССКАЗЫ
ОЧЕРКИ

Свердловск
Средне-Уральское
книжное издательство
1980

Р2
С34

Составитель Р. И. Лыкосова

С $\frac{70302-071}{М158(03)-80}$

Читателю

Освоение природных богатств Западно-Сибирского региона, предусмотренное решениями партийных съездов,— дело всего советского народа. То, что свершается в Тюменской области, Западной Сибири, ни с чем не сравнимо во всей мировой истории промышленного развития стран и континентов. В кратчайшие сроки на безлюдных пространствах, в суровых климатических условиях создан гигантский энергетический комплекс — основной по своим масштабам в государстве.

Естественно, что наша многонациональная литература приняла самое активное участие в преобразовании Западной Сибири. Десятки писателей разных поколений включились в борьбу за сибирскую нефть и газ, сделав поле деятельности героев освоения Сибири полем своего наблюдения. На тюменской земле неоднократно проходили Дни советской литературы, собиравшие огромные читательские аудитории. Здесь с большим успехом в 1978 году прошла Всесоюзная творческая конференция писателей и критиков, посвященная проблеме изображения героев великих строек нашего времени. На промыслах и стройках Западной Сибири систематически бывают в творческих командировках прозаики, поэты, драматурги, очеркисты и публицисты из многих союзных и автономных республик, краев и областей.

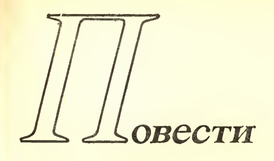
Однако необходимо подчеркнуть, что писателю — каким бы значительным талантом он ни обладал — непросто успевать за постоянно меняющейся картиной современной жизни, особенно на передовых ее участках. Борьба идет не только за умножение наших материальных богатств, сохранение природы, умелое и бережное использование ее ресурсов. Идет борьба и за воспитание нового человека, убежденного строителя коммунистического общества, вла-

деющего передовыми достижениями науки и техники. Художественное воссоздание этого процесса — дело трудное и ответственное, требующее от писателя знания жизни, основательного профессионального мастерства. Отрадно, что первопроходцы нефтяной целины — рабочий социалистического типа, передовой ученый, партийный и советский работник — стали занимать в очерках и рассказах, в повестях и романах, в поэмах и пьесах все более значительное место. В качестве примера назову появившиеся в самое последнее время романы А. Проханова «Место действия», К. Лагунова «Одержимые», И. Давыдова «От весны до весны», повести В. Кожевникова, В. Поволяева, поэмы А. Преловского, циклы стихов И. Тарбы, публицистику Э. Ставского, произведения З. Тоболкина, Б. Путилова, Г. Сазонова, Р. Лыкосовой и других.

Изображению в художественной литературе созидательных перемен на Западно-Сибирской равнине и нашего современника, человека семидесятых годов, с его богатым внутренним миром, положено только начало. Народ ждет от писателей новых ярких произведений, наполненных правдой жизни, развернутыми картинами героических подвигов советских людей.

Сборник, который открывает читатель,— не единственный в этом роде. Как и другие коллективные сборники, посвященные сегодняшнему дню наших новостроек, он сыграет свою положительную роль в освещении жизни одного из самых важных участков переднего края. Представленные в этом сборнике произведения ценны своей достоверностью, точным знанием материала, положенного в их основу, страстной писательской заинтересованностью теми большими делами, которые совершают герои произведений, тонкими художественными наблюдениями и находками. Вчитываясь в страницы сборника, в разные по жанрам и художественному стилю работы писателей, зримо представляешь мужественных советских людей, которые вдохновенно трудятся на этой суровой и прекрасной земле. Именно в этом видится мне несомненная польза сборника.

Георгий Марков



Повести

Вадим Кожевников

Белая ночь

Внезапно наступившая оттепель в Заполярье вызвала обильные мокрые снегопады.

Крупные, махровые, липучие снежные хлопья низвергались в безветрии отвесно, словно гигантские неиссякающие потоки рыхлой белой пены. Затем наступили дожди, перемешанные с крупным градом.

Все каменистое побережье обледенело и сомкнулось с береговым припаем в сплошное ледовое пространство. Там, где кончался припай, на воде лежали серые, тусклые, пухлые груды густого, влажного тумана, подобного отяжелевшим грозовым тучам.

Команда сухогруза, опасаясь подвижки ледяных полей, которые могли запереть выход из бухты, спешно, в течение двух суток, выгрузила занаряженные грузы на лед берегового припая. В этих авральных работах принимала участие транспортная бригада с материка, хотя ей назначено было только вывезти грузы.

И вот сухогруз, сверкая огнями, как небесное созвездие, отошел от ледовой стенки припая, мощно прорычал прощальными гудками и, растворившись в гуще тумана, исчез. Наступила тишина, словно в шахте.

Когда огромное, вытянутое многоэтажное стальное здание судна стояло в бухте, было ощущение, что сюда вторглась жизнь большого, благоустроенного города, и обледеневшая пустыня тундры воспринималась как его необитаемая окраина. С уходом судна ледяная пустыня заволоклась белесо-сизым непроглядным мраком.

Было зябко, сыро, серо, промозгло, сивая мгла зыби-

лась в воздухе. Береговой припай горбатился торосами, и под скорлупой его иеслышио шевелилась студеиая вода цвета базальта.

Земля материка, тоже в ледяиом паицире, ничем ие отличалась от прибрежиой поверхиости бухты, и от этого возникало щемящее чувство одиночества, грозной силы простраиства, необъятио распростертого, пустыииого и мертво-беззвучиого.

Двое суток без отдыха люди работали иа выгрузке судиа, иаскоро растаскивая грузы по припаю, чтобы равиомерио распределить их тяжесть по его кровле. И сейчас изнуреииые, отупевшие от усталости водители-мехаиики поиуро плелись к балкам, хмуро озираясь иа груды грузов, которые им придется теперь со льда без помощи судовых краиов поднимать иа свои машины. И щемящее ощущеиие покииутости в ледяиой пустыие после ухода судиа усугублялось мрачиыми размышлениями о том, как подиять эти грузы иа машииы и прицепы, когда для этого иет приспособлеиий, а грузы должиы быть убраны с припая без промедлеиия.

Старшим здесь был Егор Ефимович Ползуиков, как ои себя шутливо рекомеидовал — сухопутиый моряк. В годы войиы Ползунков служил в пехоте, комаидовал артиллерийским расчетом, затем в Находке работал докером, достиг звания стивидора и вдруг бросил порт, прельстившись размахом строительиых работ иа Дальием Севере.

Низкорослый, ио широкий в плечах, в толстом водолазиом свитере и коротком чериом флотском бушлате, в брезеитовых шароварах, заправлеииых в уиты, и вязаиой шапочке, с подвешеиными на тесемках болтающимися по бокам варежками, Ползунков сразу производил впечатлеиие человека крепкого, выиосливого, дерзко приспособлеииого ко всяким иевзгодам и трудиостям избраииой им должности — начальиика транспортной мехколоииы. Глаза у иего коричневые, с прищуром, в углах белые морщиики, голос сиплый, иадорваииый, ио зычный, скуластое, бурое от поляриого загара лицо обильио покрыто плотиой рыжеватой растительиостью, как ои объяснял, для тепла.

О себе Ползунков говорил так:

— Сам я туляк. В школе недоучился, как фашист к городу подошел, где уж тут заниматься — некогда.

Я на батарею ходил, интересовался, как воюют. Не прогоняли. Подшибли подносчика. Я — снаряды подтаскивать. Так на батарею и втерся. Оформили. Порядок на батарее строгий, как в цеху на заводе, у каждого своя квалификация. Все прошел. Назначили на пост — орудийным расчетом командовать. Бой есть бой, все их не упомнишь, а вот как пупки на маршах по пересеченной местности и еще на переправах надрывали — это нечеловеческую выносливость и силу надо было иметь. Кони не выдерживали, падали, дохли. А нам не положено, мы люди. На себе орудия вытаскивали. На огневую позицию выйти бывало гораздо труднее, чем с нее по фашистам огонь вести.

В бою легче, в бою порядок. Действуй по уставу и выполняй команду старшего, каждому в расчете своя функция положена. А на марше все в кучу, кто на что способен, орудие, которое в грунт по колесную ступицу вязнет, вытаскивай, волоки на себе, подвигайся в темпе.

Наша батарея на чем наспециализировалась — из орудий по их танкам прямой наводкой бить. Когда с длинной дистанции по ним огонь ведешь, большой перерасход снарядов получается. С короткой — экономней и надежней. Нашу батарею за что уважали? За то, что с малой затратой снарядов много их техники раскалачивали. Орудийный снаряд больших денег стоит, соображать надо, как безубыточно их тратить.

После того как в Берлине их дошибли — на Дальний Восток с приподнятым настроением. И прямо с ходу снарядами закидали самураев. Снарядов здесь не жалели, куда их девать после войны? Ну они «хенде хох» — как это по-японски, выучить не успел. Быстро все кончили.

Домой обратно ехать далеко и долго, родни дома не осталось. На какое-то время на море перекинулся, в рыболовную флотилию. Мясопродуктов не хватало, рыба нужна была. Но я к земле привык, на ней все прочнее, основательней. Конечно, и на море под ногами не вода, палуба, но кругом-то сплошная жидкость колыхается.

Подался на Север. Понравилось. Места обширные, а людей мало. Значит, каждый человек человеку рад, если он, конечно, подходящий. И мерка простая — если не временный, можешь полагаться. Все равно как фрон-

товик на стреляного фронтовика. Обвык. А климат, он что? Он очень удобный, чтобы о человеке судить, пригодный он или не пригодный — не к климату, конечно, но вообще... может ли он соображать не столько о том, что и как тут сейчас, а что потом здесь будет. Такие и есть надежные, не по комплекции, конечно, а по заряду своей души. Они-то и есть самые стойкие, выносливые и, значит, веселые. Унылые тут не удерживаются. Это точно.

Ползунков был холост. Объяснял уклончиво, с усмешкой:

— Я человек занятой, а женщины сами по себе ко мне инициативы не проявляют, а первому приставать гордость не позволяет.

Но при всем этом Ползунков отличался заразительной живостью характера, общительностью, неутомимым любопытством к людям. Утверждал:

— К себе я привык аж до того, что когда один, сам с собой, скучаю, себя знаю как облупленного. А что ни новый человек, то каждый для тебя — новость самая интересная.

В свое время он робко и ненастойчиво ухаживал за молоденькой работницей с рыбозавода. Но она вышла замуж за тралмейстера, толково и убедительно объяснив Ползункову свое решение тем, что заработок тралмейстера превышает его заработок втрое,— любовь это состояние временное, а семейная жизнь требует надежной, солидной обеспеченности. На что Ползунков сказал невозмутимо: правильное решение приняла; хоть ты по виду русалка и даже рыбой всегда пахнешь, но ум у тебя вполне земной, а земле навоз требуется для полного, роскошного процветания.

Новичков обычно Ползунков расспрашивал так:

— Сюда одни за длинным рублем, другие за романтикой. А ты зачем?

— Работать.

— Тут у нас одни только медведи безработные и те от скуки поседели. Чего умеешь?

— На тракториста сдал.

— А в высшем почему не выучился? Стипендия, что ли, была неудовлетворительная? Или ума не хватило баллов набрать?

— Вам только с дипломом требуются?..

— Не нам, а тебе, для дальнейшего прохождения жизни. Простуды не боишься?

— Я не из зябких.

— Тогда правильно. У нас здесь на морозе не протухнешь, климат для здоровья полезный, любые бактерии на холоду дохнут.

— Знаю, не Африка.

— Зима еще только в пуху. Бывает, жмет крепко. А ты в лыжном костюме. Трактор свой видел, опробовал? Сила! Самопер у нас называется. Машина надежная, с отоплением — забота о водителе. Нам бы такие да на фронте!

— Воевали?

— А кто не воевал — все. И все мы, кто уцелел, считай, дважды рожденные. Первое рождение в паспорте записано. Второе — одно для всех: год одна тысяча девятьсот сорок пятый. Я лично в артиллерии служил. Стану у орудия и командую — огонь! Вернулся совсем не изувеченным.

— Значит, повезло!

— Война такое дело — пот напополам с кровью. Научила всему выучиться.

— А чего вы меня допрашиваете?

— Я только спрашиваю, чего ты сам про себя думаешь. Я к людям доверчивый. Был у меня в бригаде Сергей Мымрин, срок он отбыл за то, что проявил пережитки капитализма. К нам явился. Желаю, говорит, отмыться. Ну, что ж, говорю, отмывайся — зачислил. Способный парень и песни петь и на гитаре играть, а к труду способностей нет — филонит. Ну я ему и объясняю —вот в чем ты, выходит, жулик, а вовсе не в том, что ты когда-то там спер. Уклоняться от дела, когда все работают, то же самое воровство, только без официального нарушения уголовного кодекса. Ну и вынес ему свой собственный приговор по договоренности с бригадой. Уволить не уволили, а работу не давали. Все вкалывают, а ему занятие придумали — со стороны только глядеть.

— Ну что, и перевоспитали?

— Его нет. Но на коллектив такая ему мера наказания хорошее впечатление произвела. Учли. Чем больше человека уважаешь, тем ему работа тяжелей, ответственней доверяется.

— А куда этот Мымрин потом девался?

— В райцентр. Парикмахером. По этой линии у него особый дар обнаружился. К нему всегда очередь, даже по предварительной записи. Но кто из экспедиции прибывает в райцентр, тех он стрижет по бывшему знакомству вне очереди, из уважения. Выходит, кое-что а дошло,— пояснил Ползунков, добродушно улыбаясь.— Весны и осени в Заполярье, по существу, нет. Так, дунуло-плюнуло, и все. Лето куцее. Но вот зима — это даже не сезон, не время года, а в общем и целом климат. Так ты все-таки почему к нам приехал?

— По путевке!

— Ясно,— одобрил Ползунков.— На разговор, я вижу, ты парень тяжелый,— тряхнул головой,— значит, на работу должен быть легкий. Наше дело простое,— говорил Ползунков.— Грузооборот обеспечивать — пока в одну сторону, поскольку предприятия еще нет, но оно будет. Обеспечивать продвижение груза на дистанции. Длина ее бывает всякая, но морока на ней всегда великая. Местность сильно пересеченная. Грузы тяжеловесные. И не стандартные. Волокут сюда оборудование по всем трем сферам: по земле, по воздуху, по воде.

Местность, на которой точка для предприятия выбрана, в наличии все имеет: болота, сопки, валуны, вечную мерзлоту, за миллион лет не подтаявшую. Наше занятие здесь — коммуникацию обслуживать при любой погоде, которая такие наворотит препятствия, что приходится иногда, как на фронте, пробиваться. За такое потом можно даже и монументик сообразить.

Вот однажды эпопея получилась с котлом. Поставили его на полозья из двутавровых балок, запрягли в тягло шесть тракторов. Не тянут. А тут пурга клокочет, видимости никакой, со всех сторон продувает. Собрались мы у зажженной запаски погреться, подумать. Рассказываю я ребятам для подъема веселости духа про нашего одного слесаря-механика, женатого тут на поварихе. Про то, какой он хитроумный. Если жена вечером уходит, он ее сначала чеснок есть заставляет, не для витаминов, а для гарантии, на всякий случай, как Отелло все равно. Слушают серьезно. Понимаю, выдохлись, изнемогли, не до нормального смеха. Морозец небольшой — градусов двадцать пять, но при ветре все равно как из брандспойта насквозь пронимает. Но

я бригадир, мне вождить надо. Время терять нельзя, балки-полозья в грунт вмерзают, их взрывчаткой с места потом не сдвинешь. А подъем почему одолеть не можем — тракторы гусеницами всю шкуру с грунта соскребли до вечного льда, на нем и буксуем. Ну я и прикинул. Отпряг тракторы, они поодиночке на вершину сопки долезли, затем трос удлинил, запасные все счалил. Снова тракторы в одну упряжку сцепил, и как по склону вниз они поперли, так одной, можно сказать, своей тяжестью котел на подъем вздернули.

Это я к чему информирую. В трудную минуту можно организм обогреть и у горящей запаски, но чтобы мозги на морозе работали — веселость помогает.

Я почему разговорчивый: бывает, людей рядом нет, а в коробке передач, допустим, шестеренка полетела. Надо на холоду все голыми руками разобрать и снова собрать, а металл, он льда холоднее, рук своих не чувствую, так вот я даже могу со своими руками разговаривать для бодрости. Хуже нет, когда человек один, от людей соображение возникает. А говоришь, и получается, хоть ты один, а, выходит, не один. Хоть металл предмет неодушевленный, но все равно воодушевляешься, говоришь шестеренке: какой же сукин сын тебя обрабатывал, если в тебе оказалась трещина?.. Ну, думаешь про этого сукина сына, который неведомого ему человека подвел. На него сердишься, а злость, она тоже полезной бывает, чтобы не скиснуть, когда ты один в тундре и в машине смазка застывает, намертво ее как бы бетонирует. Человек должен при всех случаях жизни активно на все реагировать.

Вот, помню, на фронте тоже был случай: кидали фашисты в нас перед своей атакой с воздуха бомбы. Одна, двухсотпятидесятикилограммовая, прямо возле нас свалилась, и ничего — не то у ней взрыватель испорчен, не то замедленного действия. Приказал свое орудие несколько назад откатить. Пошли в атаку фашисты, мы свои снаряды по ним израсходовали. А тут на огневую их танк вылез, нас запросто давить. Так я дал команду не по танку гранаты противотанковые бросать, а по их бомбе неразорвавшейся. Ну и садануло танк. Даже нас самих малость контузило. Вот что значит соображение не терять, даже когда соображать перед смертью совсем некогда.

Обо всем этом Ползунков говорил с наслаждением от удовольствия, что его слушают.

Хитро сощурясь, сообщал:

— Если без ума человека выругать, обидится. Вот, к примеру, обзови его просто — дурак. Все, оскорбление личности. А скажи — дурак выдающийся, задумается. Даже спросит, почему выдающийся. Угощу закурить, не второпях объясняю. Горячиться, выходить из себя от допущенной другим глупости никогда не следует. Один раз выйдешь, потом не взойдешь в себя обратно, всегда будешь горячиться — значит, сам допускаешь себя на дурость.

Доброта — это вовсе не уступчивость. Доброта в том, чтобы в каждом человеке самого себя в чем-то видеть, люди хоть и все разные, но по существу, по переживаниям одинаковые. Что тебе в радость, то и другому; что тебе в обиду, то и другому. На такое и ориентируйся, на каждого, как на себя, смотри. Тут у нас был один, который сменял все свои духовные ценности на материальные. Словом, рвач. Если наряд выгодный, берет, не выгодный — отказывается. Его машину нагружают, сидит в кабине сутулый, ждет, мерзнет, а подсобить людям не желает, если не будет дополнительной оплаты за погрузку. Так мы что придумали: как получка, с каждого из бригады по гривеннику соберем и ему в шапке подносим, мол, собрали тебе на твою бедность. Слова до него не доходили. Слушает, как все равно глухонемой. Так мы его этим спектаклем воспитывали. Вот такими нашими гривенниками мы его и отучали от жадности к длинному рублю.

Заработки у нас, конечно, здесь высокие, но низким путем их не добудешь. Тут мы сейчас в балке на нарах, как в пещере, живем. А на этом самом месте вскорости будет завод и город при нем. И, может, наш балок на постамент в городе водрузят, как танки водружали в городах в честь тех, кто их отстоял. А мы в самом изначале города работаем, большую нам честь оказали быть тут на пустом месте первыми...

Нулевой цикл — это, конечно, не первый день сотворения мира. Там все на самотеке было. Без утверждения сроков и плана. А для нас они закон неукоснительный. Природа здесь в своих недрах такие богатства вечными льдами запаяла, что если их наружу извлечь,

запустить полностью в производство, получится на этих самых необжитых и неудобных местах если не главный центр мировой цивилизации, то, во всяком случае, все для того, чтобы его мощностями обеспечивать, энергетическими ресурсами и многим прочим на длинные времена на соответствующем уровне. Сама природа тут умная, строгая, очень свирепо сторожит свои ценности. Для кого, спрашивается, сторожит? Да для нас, для Советской власти. Пока достигнем таких возможностей, чтобы все тут аккуратно к рукам прибрать. Как мы против беспощадной эксплуатации трудового человека, то же самое и природа. Пользуйся ею с уважением, тогда — пожалуйста.

И мы пришли не как временные, а на работу, на прочное жительство. На обустройство со всеми удобствами, какие положены теперь каждому культурному населенному пункту. Сегодня здесь только база, завтра — поселок, послезавтра — районный центр, затем, это еще мы посмотрим, может, и областной центр с разветвленными дорожными коммуникациями, с твердым покрытием до точек добычи.

Дохода от тутошней промышленности страна будет получать, может, не менее в объеме, как все равно от какой-нибудь союзной республики. Вот это и есть наш размах, масштабы, дела, ясное намерение, коротко сказать, перспектива, уже задействованная.

А что касается нашей бригады, то у нас задача простая, как все равно у разведбата: прорваться за передний край, закрепиться на указанном рубеже. А попросту говоря, проехаться через несколько высоких широт и на указанной точке оборудовать с возможными удобствами теплую обитель для строителей.

Может, там буровые вышки будут ставить. Может, котлован под завод рыть или ствол для шахты, либо карьер копать для добычи открытым способом. Все надо, и все может быть.

Наша задача, повторяю, создать только первоудобства тем, кто первым прибудет по своему капитальному делу, чтобы они время свое рабочее на сооружение времянок не тратили! Все! Вопросы есть?

Так обычно Ползунков излагал перед новоприбывшими общую обстановку и конкретную задачу. Но при всей его благодушной и витиеватой манере высказы-

ваться коричневые зоркие глаза его с белыми морщинами в углах строго, пристально, бесцеремонно и не очень-то доверчиво следили за выражением лиц присутствующих, вызвавшихся работать под его началом. Возможно, многие из них были привлечены только увлекательным именованием: десант?..

Вообще-то Ползунков про себя, мысленно рассуждал так:

«Человек умным или глупым не рождается. Храбрым или трусом, жадным или великодушным, добрым или злым, сообразительным или хитрым — тем или другим он по обстоятельствам жизни становится. Это правильно. Но на обстоятельства тоже все сваливать нечего. С какими людьми он поведется, от таких и наберется. Эта формулировка точная, хотя считается только ходячей поговоркой. Человек при помощи людей выстраивается. Плохих у нас становится все меньше, а хороших больше, значит, на их стороне сила.

Ребята здесь собрались разные. Но одинаковых людей и не бывает. Главное что? Человек к человеку в работе прилаживается. И чем она тяжелее, тем скорее становится очевидно, какой он на самом деле по всем своим параметрам. На собеседовании не выяснишь, какая у кого натура. А вот на маршруте сразу его душевная и сознательная наличность обнаруживается. Маршрут всегда тяжелый. Кое-кого, может, и придется на вертолете обратно вернуть.

А про героизм и всякие трудности вещать — вроде как аванс выдавать или приписки за незаработанное.

Север есть Север, работа есть работа — в данном климате вполне обычная, нормальная, веди себя только правильно, по правилам коллектива. А без соблюдения правил и улицу поперек переходить жизнеопасно».

Все эти мысли Ползунков высказывал в разное время, в разной обстановке. Но никогда он при этом не утрачивал ни хорошего настроения, ни уверенности в том, что непреодолимое преодолеть можно.

То, что сейчас стоял долгий, негаснущий полярный день и солнце, дойдя до горизонта, беззакатно совершало обратный свой путь, в густом тумане, в бесконечном снегопаде, смешанном с дождем и градом, было

скрыто от людей сырой непроглядной пеленой, и в ней они выглядели как тени.

В мокрой вате тумана голоса доносились глухо, словно из подземелья. Но Ползунков знал: ничего приятного для себя он и не мог услышать. Он проницательно понимал: все недовольны его решением принять грузы на лед.

Основной заработок транспортной колонны исчислялся из тонно-километров. То есть чем больше вес доставленных грузов и километраж пути, тем больше получка. Команда судна должна была выгрузить грузы с судна на машины, а они — доставить в несколько ездок на объект, на что требовалось не меньше недели. Но судно не могло задерживаться в бухте больше двух суток.

Решающее слово было за Ползунковым. Он получатель. И Ползунков принял на себя ответственность, хотя мог ее и не принимать.

Тогда с судна на машины успели бы погрузить только часть грузов, а остальное отгрузили бы в ближайшем порту.

Часть грузов?! Значит, некомплект. А кому нужно на стройке некомплектное оборудование — никому не нужно: мертвый металл.

Ближайший порт за сотни километров. И еще под вопросом, позволит ли ледовая обстановка выгрузить там, если нет, тогда потянут дальше, за тысячу километров. Помножим их на рубли, получится колоссальная сумма. А на Севере время не просто деньги, а поступь страны, шагающей через высокие параллели по вечной мерзлоте буровыми вышками, опорными мачтами электромагистралей, несущими колоннами новостроек...

Конечно, Егор Ефимович не занимал министерской должности. Но здесь, в обледеневшей тундре, он принял решение, которое, пожалуй, должно и можно было принять и министру. Если б министру доложили об обстоятельствах, в которых оказались судно и приемщики грузов. На то и министр, чтобы мыслить, исходя из общегосударственных интересов.

Егор Ефимович принял свое решение, исходя из государственных интересов, и в отличие от министра должен был сам выполнить это решение, противореча-

щее материальным интересам его бригады и его собственным, выполнить самолично и воодушевить людей на его исполнение, не имея еще ясного представления, как удастся со льда поднять тяжелые грузы на платформы и прицепы машин. Но убрать их с припая надо без промедления, ибо ледяная крыша, на которой грузы стоят, ненадежна. Это вам не портовые причалы, не инженерное надежное сооружение, а всего только продукт низких температур, находящийся в зависимости от всяких погодных условий, которые на Севере меняются по прихоти циклонов и антициклонов с внезапной и ошеломляющей быстротой.

Возможно, Егор Ефимович Ползунков и превысил свои полномочия, чего не позволяют себе делать министры. Во всяком случае, не посоветовавшись с «верхом».

Но в данной обстановке Ползункову не с кем и некогда было советоваться. Был у него здесь только один авторитетный советчик — его жизненный опыт. И он ему помог.

Ползунков ходил, озабоченный, по береговому припаю, скорбно размышляя, дать или не дать согласие принять грузы на лед и что ему будет от начальства в случае чего. И вид у него при этом был такой, словно одновременно у него болела как верхняя челюсть, так и нижняя. Он страдальчески ежился, вздыхал. И уже определенным местом ощущал под собой жесткую скамью подсудимых. И как бы слышал грозное предложение судьи — сказать свое последнее слово. И мучительно искал, что может заявить в последнем слове в свое оправдание, но, кроме общих фраз о государственных интересах, ничего придумать конкретно в свое оправдание не мог. Факты были против него... Так и произойдет, если ему не удастся совершить погрузку. Ведь наступила оттепель, и лед под тяжестью грузов может начать рассекаться трещинами, и тогда грузы поплывут из бухты на льдинах, как на плотах, в море или просто провалятся на дно бухты. Вот ведь какими ужасами терзал свое воображение Ползунков.

И, может, оттого, что человеку в трагические минуты приходят воспоминания о еще более трагических минутах жизни, видя унылое ледяное пространство, вдыхая пресный студеный запах льда, Ползунков вдруг

вспомнил то, что пережил на фронте, находясь на самой короткой дистанции между жизнью и смертью. Как он полз, прижимаясь ко льду реки, с привязанным к ноге концом веревки и по нему, одинокому, фашисты били неспешно и экономно из ротного миномета, и осколки льда и стали шуршали рядом с ним. Промокнув, он застывал на ветру, обмундирование на нем обледенело, но он полз и полз, раскорячившись по льду. Когда он с головой рухнул в полынью почти у самого берега, его выволокли из полыньи и протащили метров двадцать, словно утопленника, а потом он поднялся и пошел, уже в рост, волоча веревку, привязанную к ноге, в лохмотьях обмундирования, и, когда он шел, с него осыпались ледяные обломки, и он уже не ощущал себя, а шел беспамятно, словно раненый из последних сил в атаку.

Было это в начале зимы сорок первого года. Река, которую они обороняли, покрылась ненадежным ледяным покровом, и встал вопрос, как получить боепитание с левобережья.

И тогда батарейцы, которыми командовал Ползунков, придумали. Пригнали к береговому урезу артиллерийский гусеничный тягач, подняли его домкратами на бревенчатую платформу так, что гусеницы тягача свободно повисли, не соприкасаясь с землей, вкопали впереди тягача связку бревен для упора. С длинной веревкой, к другому концу которой был привязан трос, Егор Ефимович Ползунков дополз до противоположного берега, там трос за веревку вытянули, конец закрепили за передки саней-розвальней, загрузили сани снарядами. В это время другой конец троса на правом берегу намотали на гусеницу тягача, как на барабан лебедки, включили скорости на тягаче, трос стал наматываться на гусеницу, и сани со снарядами поволоклись на правый берег.

Конечно, фашисты скоро обнаружили это транспортное средство и стали бить по нему из орудий и даже вызвали авиацию. Но батарейцы прятались в укрытие и если несли потери, то не в живой силе, а когда сани с боеприпасом уходили под разбитый лед. Тогда они в другом месте налаживали этот самодельный агрегат для транспортировки боепитания. И затем из стволов орудий их батареи снаряды летели на врага.

И вот, осененный этим видением, Ползунков уже бодрой поступью подошел к встревоженному первому помощнику капитана сухогруза. И объявил покровительственно и снисходительно:

— Ладно, валите, выгружайтесь на лед.— И добавил иронически: — Видать, вам тоже исчисляется оплата с тонна-километра. Поэтому и предлагаете наши грузы вам оставить, чтобы вы их до самой Чукотки доволокли. Не выйдет.

И хотя люди Ползункова знали, во что им обойдется такое решение бригадира, они не могли не одобрить того, с каким достоинством принял решение их начальник.

— Во! Подает себя,— заметил бульдозерист Фенькин в импортном на меху комбинезоне, который он надевал только для внешних сношений, обычно же ходил в лоснящейся мазутом стеганке, из прорех которой торчала вата. И за это заслужил прозвище Барон, на которое откликался без всякой обиды, зная, что в кабине его бульдозера в целлофановом мешке висит на крючке этот великолепный комбинезон со множеством молний и карманов, расположенных даже под коленями, а один, обширный,— на спине.

Отоспавшись после двух суток аврального труда, собрались на ужин в вагончике.

Этот вагончик на полозьях Ползунков величал кают-компанией. Здесь были кухня, столовая, стоял телевизор, размещались рация и даже душ в загородке величиной с будку телефона-автомата. Двухэтажные откидные полки использовались как спальные места.

Сам Ползунков по соображениям демократии обитал в балке, по существу, в ящике с двойными дощатыми стенами, внутри которых проложена теплоизоляция из шлаковаты. Внутри балка стояла цилиндрическая чугунная печь, отапливаемая брикетами, пропитанными мазутом. По стенам нары, с низкого потолка свисает лампа — «летучая мышь». По обеим сторонам под потолком натянута толстая проволока с крюками для одежды. Вокруг печи большой железный обруч, на него вывешивают сушить портянки, меховые и шерстяные чулки. В балке имелось два окна с двойными ра-

мами. Туалет и умывальник отсутствовали. В помещении только брились и чистили зубы. Что касается всего остального, то, как утверждал Ползунков, для закалки организма полезнее на лоне природы — освежает.

Вагончиком Ползунков очень гордился. Когда, набившись в вагончик, смотрели по телевизору передачу из космоса, Ползунков восклицал самодовольно:

— И у нас здесь все то же самое вполне. Аккуратно и тоже культурно.

Прием пищи в вагончике обставлялся обычно торжественно.

У торца стола восседал Ползунков, умытый, расчесанный, в свежевыстиранном полосатом рябчике и с гирляндой лука на шее. Он самолично разливал по мискам из большой кастрюли первое блюдо, затем со снайперской точностью делил каждому второе по порциям. Что касается лука, то с него начинался ритуал обеда, ужина и даже завтрака. Каждому Ползунков отрывал из гирлянды по луковице и властно произносил:

— Витамины! — Пояснял: — Действует уничтожающе против простуды и всех болезней.

Пока все, обливаясь слезами, не съедали по луковице, Ползунков не приступал к раздаче пищи.

Обязанности поварихи исполняла Алена Ивановна, вдова стропальщика Фомичева, погибшего от удара лопнувшего троса. Утром Алене Ивановне можно было дать не больше тридцати, а к вечеру — за пятьдесят. Это все оттого, что она взяла на себя заботу о личном составе бригады — стирать, чинить их рабочее снаряжение, прибирать спальные места. И успевала за ночь насушить и выгладить все, что брала в стирку. На конфузливые протесты отвечала сурово:

— Я женщина брезгливая, не желаю, чтобы вы тут завонялись, завшивели. Мой всегда уж до чего на работе азартный, а содержала я его чистенько, как младенчика,— и при этом подносила концы платка к глазам, небесно-голубым и кукольно выпуклым.

Егор Ефимович Ползунков весьма неохотно дал согласие включить в свою бригаду женский персонал в лице Алены Ивановны. Но не мог отказать, зная, как геройски погиб Фомичев, зачаливая тросами башенный кран, сорванный с тормозов внезапно разразившейся снежной бурей.

И каждый раз Ползунков мрачно и негодующе наблюдал: как только появлялась у стола с кастрюлей в руках Алена Ивановна, взоры всех членов его бригады внимательно, изучающе устремлялись на Алену Ивановну, а не на кастрюлю, которую она держала.

И когда Алена Ивановна удалялась, зарозовев, Ползунков говорил:

— На боевой корабль обычно женщин не допускают. Почему, спрашивается? Вовсе не потому, что это дурная примета, а потому, что расслабляет внимание к службе. Они существа сухопутные. Значит, что? Для моряка тогда корабль не дом, а временное помещение. На домашнюю на суше жизнь женщина его заманивает — вот что от них получается.

Но, сам того не замечая, Ползунков произносил такие слова столь восторженно, что сидящие за столом осторожно ухмылялись и лицемерно-ехидно соглашались:

— Это точно, производительность труда у холостого выше, чем у семейного. Холостой о чем думает? Только как план перевыполнить, все силы на это, а женатый обременен — должен супруге угодить.

— А ну отставить,— багровея, прерывал подобные высказывания Егор Ефимович и, грозно постучав ложкой, требовал: — Хлебайте и жуйте молча. Продукты, которые вам отпущены, должны нашими организмами полностью усваиваться. При большом сгорании на работе еда не только удовольствие, а серьезное, полезное дело.

И тогда из-за занавески раздавался приятный грудной голос Алены Ивановны:

— Вы это напрасно, Егор Ефимович, так рассуждаете. За столом, да чтобы без беседы — аппетита не будет. Тогда это не еда, а тоже работа.

Ползунков конфузился и лепетал для всех неожиданно:

— Я это из уважения к вашей стряпне в таком роде высказывался, чтобы кушали и прочувствовали.

И тогда, откинув занавеску, высовывалась Алена Ивановна и, сияя улыбкой, говорила Ползункову:

— Спасибо, Егор Ефимович, очень вами тронута. Я ведь от всей души готовлю. Чтобы вам всем, всем угодить и своей готовкой людям нравиться.

И лицо Алены Ивановны, разгоряченное возле печи, сияло такой победоносной лукавой обольстительной женственностью, что Ползунков вынужден был отрывать от гирлянды лука еще одну головку и с омерзением жевать ее, морщась и вытирая тыльной стороной ладони увлажнившиеся слезами глаза.

Сравнивая свою нынешнюю жизнь с минувшей фронтовой, Егор Ефимович Ползунков испытывал щемящую зависть тому, что мощной всевозможной техникой теперь запросто распоряжаются обыкновенные гражданские люди. Могучие трехосные грузовые многосильные, всюду проходящие машины, тракторы, равные по своей тягловой силе танкам, вездеходам, подобные бронетранспортерам. И все это дано не ради свершения великого священного подвига, как это было в годы войны, а для самого обычного и хорошо оплачиваемого труда.

Но, мысля по-военному, Ползунков соображал так: где происходит сосредоточение огромных масс техники, там и главное направление атакующего массированного удара — на прорыв. Значит, здесь, в северных широтах, что обозначено? Скопление сил на прорыв. Куда? В очень хорошее будущее этого огромного пространства планеты. На великую пользу всей страны.

Поэтому Ползунков, будучи преисполнен таким сознанием, впадал неизменно в торжественный тон, рассуждая о задачах, которые поставлены перед его транспортной бригадой.

— На фронте мы без вагончиков и балков и коммунальных услуг обходились,— сообщал Ползунков высокомерно.— В окопах и траншеях обживались, словом, в земле жили. И воевали без выходных и при всякой погоде, когда надо, круглосуточно, и вполне нормальным считали, что противник воздействует на нас из всех своих стволов разнокалиберными убойными средствами, с соответствующими для нас последствиями.

Но свою боевую технику — орудия и тягачи к ним — оберегали пуще своих жизней. В земле солдату спасение: чем глубже зароешься, тем тебе надежней. Но у нас такой порядок: сначала капониры для орудий и тягачей отрыть и только после этого себе щели копаем. Артиллерист как мыслит? Вся сила его в орудии. Это вам не из винтовки пулять, не из автомата брызгать.

Снаряд при попадании такое наворотит, что целой роте пехоты невмочь. Наш прицельный огонь для пехоты — прикрытие, огнем и путь ей проламываем, сокрушаем оборонительные сооружения. Так мы свои орудия обожали, словно они высшие существа, от которых мы все зависимые. У нас пушка имелась — с шестнадцатью звездами, столько танков из нее разбили. Ей срок вышел, положенный по числу посланных из нее снарядов, забрали эту пушку от нас в ремонт. А мы словно комбата потеряли, такое самочувствие у всех унылое, любили эту пушку за всю ее на нас службу.— Потупившись, Ползунков пояснял: — Я это к чему вспоминаю. Машиномощностей у нашей транспортной бригады, пожалуй, больше, чем у артиллерийского дивизиона во время войны было. А артдивизион крупного калибра силой считался. Знамя свое имел, и именование по сражениям ему присваивалось. После войны мы с гордостью писали полное именование артдивизиона, в котором служили, себе в характеристику. Вот мне и желательно, чтобы вы свою нынешнюю технику тоже уважали, хоть и не по-бойцовски, но хотя бы вроде службы мирного фронта. Ведь говорят же про нас строители, что мы им фронт работ обеспечиваем своевременной доставкой грузов. Фронт! Очень значительное это слово. Ко многому человеческую сознательность обязывает.

Фенькин, отличный механик с надменными карими глазами, прервав Ползункова, вызывающе осведомился:

— По-вашему выходит, с меня теперь причитается за то, что на войне не был, теперь, как оглашенному, нужно вкалывать?

— Зачем, я не к такому пониманию вовсе высказался,— с достоинством произнес Ползунков.— Ни воевать, ни работать так, как ты, налегке, неумно выразился, не в нашем это обычае. Как на фронте, так и теперь на работе человеку что светит — то, чего сейчас еще нет, но что будет. Нам, фронтовикам, фашистский рейхстаг со знаменем нашей победы стал рубежом, а вам, свежему поколению, которое здесь, на высоких широтах, работает, тут полный разворот — преображение большого куска планеты в огромную промышленную страну, можно сказать, в новое государство со всеми удобствами жизни. Вот за это я и считаю тебя фронтовиком строительства. Только мы освобождали

от фашистов разные государства, а ты здесь строишь свое государство на пустом месте. Если такое до тебя доходит, пружинка рабочая в тебе будет туго закручена. И отдача от тебя будет соответствовать делу.

Но как бы авторитетно, убедительно и душевно ни рассуждал Ползунков, водители транспортной колонны уважали его не за эту риторику, а за его личное рабочее усердие, которое он проявлял при любых работах, будь то ремонт машины, погрузка, разгрузка. Он всегда вел головную машину и сам отправлялся на разведку новой трассы. И если какая-нибудь машина в пути выходила из строя, Ползунков, облекшись в доху, оставался в одиночестве сторожить ее, пока не придет ремонтная летучка. Утверждал, что побыть одному даже полезно для всяких мыслей про свою собственную жизнь, более чем наполовину уже прожитую.

То, что Алена Ивановна каждый раз как бы светилась, завидя Ползункова, он относил к ее чувствительности и благодарности за то, что он дал согласие зачислить Алену Ивановну в свою колонну, но не более.

Труд водителя в Заполярье тяжелый, нервный, вести машину по зимнику все равно, как в штормовую погоду выходить моряку в море, кротким, смирным и слабосильным — не по духу. Так что народ в его колонне был дерзкий, самолюбивый, строптивый, самоуверенный, дефицитный по своим специальностям, командовать им было очень не просто.

Но вот если обстановка на маршруте складывалась особо трудной, обычно благодушный к людям Ползунков обретал такую железную властность и так повелительно отдавал приказания, что не нужно было обладать особым воображением, чтобы представить себе, как он вел себя в бою на огневой позиции, и что бойцы побаивались его так же, как теперь водители. Лицо у Ползункова в эти моменты приобретало недвижность каменного изваяния, взгляд становился нелюдимым, слова он произносил отрывисто и, будто не узнавая своих водителей, обращался к ним строго и отчужденно, на «вы».

И даже самые задиристые, такие, как Феликс Фенькин, покорялись безропотно всевластной воле, исходившей от Ползункова, становившегося как бы на голо-

ву выше оттого, что он ходил вдоль машин строевым шагом и, отдавая приказание, принимал стойку смирно, держа руки по швам, и весь вытягивался.

Но когда потом Егору Ефимовичу водители рассказывали, как он их по-фронтовому приструнивал, Ползунков недоверчиво улыбался и говорил извиняющимся тоном:

— Да ну! Это почему же по-генеральски. Генералы к рядовым всегда у нас вежливыми были. И на огневой я людей уважал и на них не раздражался, чтобы на «вы» обзывать. Да и вообще на гражданской службе командовать не положено. Указывать надо, это точно. А еще лучше — советовать. Вот я, выходит, и советовал. А между командой и советом разница. Команда — исполняй безоговорочно. А когда старший советует, можно и от себя чего-нибудь сообразить по ходу дела.— И добавлял: — Но, конечно, без промедления соображать надо. А если не получается с собственным соображением, без команды не обойтись и на гражданке тоже.

На сей раз ужин в вагончике проходил в мрачном молчании. Водители молчали, потому что не хотели выдавать своего беспокойства о том, как удастся поднять грузы со льда на машины. Они считали решение Ползункова — принять грузы на лед — правильным для стройки, но неправильным для колонны: она не только потеряет на этом в заработке, но водители вынуждены заниматься не положенным им делом, за двое суток они измаялись на разгрузке, а погрузка со льда потребует бо́льшего и неимоверно тяжкого труда.

Ползунков молчал, охваченный размышлениями, как удастся ему здесь применить фронтовой метод его батарейцев. Одно дело — волочить по льду на тросе сани с боеприпасом, другое — поднять грузы на машины. Для этого нужна эстакада. А из чего ее соорудить? Может, приспособить для этого бревенчатые полозья балков? Но будут ли они устойчивы и какой будет крутизна склона? Чем больше крутизна, тем больше усилия на тросы, выдержат ли? Нужны бревна и на мертвяк, чтобы упор был для трактора. А где их взять?

Среди присутствующих только один Феликс Фенькин, видимо, чувствовал себя не обремененным общи-

ми заботами, так как вызывающе вдруг объявил Ползункову:

— Завтра я себе беру отгул на хоккей. Наши с чехами.

— Ты что — ненормальный? — спросил Ползунков.

— Болею за своих,— сказал Фенькин,— становлюсь невменяемым.

— А если движок выключим?

— Без телевизора транзистором обойдусь, со слов Озерова и своим воображением. Подумаешь, прижали!

— Так это будет чистый прогул!

Фенькин пожал плечами: считайте как хотите, но тут я скала.

— Ладно,— вдруг согласился Ползунков.— Подвесь транзистор себе на шею и валяй с ним на погрузку.

— Это то есть как? — удивился Фенькин.— С транзистором на шее работать?

— Именно с транзистором,— сказал Ползунков.— Комплексно: и хоккей будешь слушать и грузы грузить.

— Ловко придумали! — обидчиво заявил Фенькин.

— Голова есть — соображаю,— сказал Ползунков.

— Вы бы ее лучше использовали на то, чтобы подумать, как грузы грузить,— зло заявил Фенькин.— На одном самодельном паре их не сдвинуть.

— Сдвинем,— мрачно произнес Ползунков.— Уж как-нибудь.

Егор Ефимович не ожидал такого грубого выпада со стороны Фенькина. Он чувствовал симпатию к этому парню.

Фамилию Фенькин Феликс обрел на фронте, где его подобрали солдаты, одичавшего, полуживого, с пепелища сожженной фашистами деревни. И отправили в банно-прачечный отряд, где работали в большинстве женщины. Там старшина Феня Сорокина выходила его. А потом, когда Сорокина погибла во время налета авиации, мальчика направили в детдом, где на вопрос, как его фамилия, он ответил: «Я фенькин». Так он стал Фенькиным. По окончании школы он работал в лесхозе, выучился на дизелиста. Затем по комсомольской путевке уехал на Север.

Сухой, плечистый, жилистый, плоский, отличавший-

ся необычайной силой и, главное, выносливостью, Феликс Фенькин быстро обрел здесь известность одного из лучших механиков-водителей самой разнообразной техники. Ему предлагали должность замначальника автобазы, начальника авторемонтных мастерских, но он отказывался. На трудных новых маршрутах ему было работать интересней, увлекательней, каждый такой маршрут был путем в неизведанное по неизведанному.

На поселковой базе строителей он выделялся тем, что ходил в стужу в элегантном коротком плаще на суконной подкладке, в фетровой шляпе и туфлях-мокасинах. На танцплощадке он никого никогда не приглашал, приглашали его. Танцевал он умело, самое современное. Но, проводив партнершу на место, лишь молча кланялся. И если девушка снова робко приглашала его, произносил высокомерно:

— Но мы с вами — уже́,— и глядел на нее с выражением скуки.

Он сам не думал, что так и не заживет в его памяти образ усыновившей его Фени Сорокиной. Ей было тогда всего лет семнадцать-восемнадцать. Он помнил ее мягкие, опухшие в стирке, с воспаленной кожей руки, ее ко всем жалость. Когда получали из санбата окровавленное, изодранное осколками, пробитое пулями белье, она рыдала над ним, словно те, кто в нем был,— ее близкие, родные.

Стирка производилась в самых разнообразных помещениях. Женщины стояли у баков и корыт в лифчиках, в мужских, обрезанных по колено кальсонах. Работали иногда круглосуточно.

От Фени всегда пахло мылом и по́том, когда она подходила к нему, спящему, по этому милому ему запаху он узнавал, что пришла Феня и он уже не один на свете, а с ним Феня-мама.

Она говорила, расчесывая его волосы своим гребнем:

— Расколотим фашистов, сядем с тобой на поезд и найдем твою маму и батьку, и я тебя им сдам исправненького.

Мальчик видел, как спихивали в колодец трупы сельчан и с ними его отца и мать. Но, чтобы не расстраивать Феню-маму, он мужественно говорил:

— И тогда ты с нами навсегда жить будешь, я тебя никуда не пущу.

Феня вздыхала и произносила шепотом:

— Я, знаешь, если б не ты тут у меня, в снайперы напросилась бы. У меня глаз верный. Давали мне винтовку, так я с сосны шишки сшибала, а они малюсенькие. Говорят — талант. А у меня вовсе не талант, а злость! Я ведь тоже одна осталась. Отец на фронте погиб, мать и сестру в Германию угнали. И за тебя у меня на них тоже ненависть ужасная.

— А ты бы поговорила с начальником, чтобы меня в сыны полка зачислили,— просил Феликс.

— До сына полка ты еще возрастом не вышел, вот через год-два.

— Так войны тогда не будет.

— Будет, еще будет,— шептала Феня.— И карабинчик тебе тогда выхлопочу, и в портняжной обмундирование. Только если ты сыном полка будешь, как же тогда я? За весь полк замуж не выходят,— улыбалась Феня.— Тогда я тебе уже не Феня-мама, а так, тетя.

Феликс прижимался к ее груди и, вдыхая запах мыла и пота, говорил жалобно:

— Тогда не хочу. Хочу, чтобы ты всегда была Феней-мамой, и, когда я вырасту, я тебе все куплю настоящее женское вместо твоего солдатского.

— Ладно,— соглашалась Феня.— Желаешь, чтобы я красивой была, буду. Но тогда меня мужики сватать начнут.

— Нет, отчима нам не надо,— решал Феликс.— Мы кого-нибудь найдем, чтобы вольнонаемно при тебе жил.

— На такое я не согласна,— серьезно заявляла Феня.— Уж лучше в старых девах ходить.

— Ты никогда старой не будешь,— протестовал мальчик.— Ты всегда такая будешь, как ты есть, навсегда.

После того, как «юнкерсы» обрушили бомбы на банно-прачечный отряд и взрывами разметало ригу, где разместилась прачечная, Феликс нашел Феню возле смятого, пробитого осколками бака. Она лежала мокрая, ошпаренная, в красной луже, широко разметав руки, и из разинутой раны на животе вздувалось что-то гладкое, фиолетово-сизое. Она с усилием накрыла рукой рану, чтобы мальчик не видел. Потом пошевелила синими губами и сказала, теряя на этих словах сознание:

— Пошел, пошел отсюда, не смотри на меня такую!..

Вот и все, больше не стало его Фени-мамы.

Единственная странность, которая осталась у Фенькина с тех пор,— он не умел смеяться. И никогда не смеялся, и не потому, что его жесткое, худое, с туго натянутой кожей лицо не было приспособлено для улыбки. Характер его вовсе не был нелюдимым. Просто не умел — и все.

Может, не хотел? Все может быть. Но только лицо у него было словно протезное. Поэтому и казалось надменным, строптивым, самоуверенным. Хотя, конечно, эти качества в какой-то мере и были присущи Фенькину.

Но все уважали его. Он не жалел себя в деле, в работе. До изнеможения отбрасывал снег, прокладывая в его толще многометровые широкие траншеи, чтобы прошла машина. Мог снять в стужу верхнюю одежду и бросить под скаты, если машина буксовала. И главное, под скаты не своей машины, а товарища.

Появление Алены Ивановны в транспортной колонне произвело на Фенькина впечатление. Он, брезгливый к кухне, стал появляться там, оказывая помощь Алене Ивановне в мытье посуды, в растопке печки, приносил издалека стерильно белый снег, чтобы растопить его в баке на воду.

Сначала он не отдавал отчета, чем притягивает его к себе Алена Ивановна. Не первой молодости, пухлая, но с округлым добрым лицом, с голубыми глазами несколько навыкате и приятным грудным голосом, она вполне могла вызывать к себе мужское внимание, но нечто иное, еще невнятное для себя испытывал к ней Феликс Фенькин.

Может, оттого, что от нее, как от Фени Сорокиной, пахло всегда мылом и пóтом и она была жалостлива ко всем. И, пережив горе потери мужа, беспокоилась о каждом, чтобы с кем-нибудь чего-нибудь не случилось. Испытав свое несчастье, теперь она пугалась за других. И когда Феликс помогал ей на кухне, она упрекала его за то, что он ходит налегке, когда погода промозглая. Осмотрев внимательно его шкиперскую бороду, сердито заметила:

— Зачем шерстью оброс, у тебя лицо правильное, приятное, некорявое.— И дотронувшись до его растительности, потребовала: — Остригись!

— Для вас готов и голову наголо обрить,— маши-

нально произнес Фенькин, считая, что иначе с женщинами разговаривать нельзя.

— Зачем голову — простудишься. А лицо твое я полностью видеть хотела бы. На приятное всегда смотреть приятно.

И Фенькин сбрил бороду.

Алена Ивановна, словно не доверяя глазам, провела ладонью по его щекам и объявила:

— Совсем другой человек стал. Как все равно посторонний. Я привыкла при тебе не стесняться, а теперь даже стесняюсь,— и стала поспешно застегивать пуговички на кофте.

Эта чисто женская защита ошеломила Фенькина, и он понял, что нечто иное, что тянуло его к Алене Ивановне, уступило совсем новому в нем чувству.

И теперь он уже ревниво наблюдал, как Алена Ивановна вся светилась, когда появлялся Егор Ефимович Ползунков, стал часто дерзить Ползункову и едко над ним насмешничать.

Как, например, сейчас с хоккеем. Ползунков не знал, что матч хоккейный нашей команды с чешской уже состоялся. А если б и знал, то сказал бы рассеянно: «Наши с нашими. Кто ни проиграет, за тех и обидно. Вот когда с капиталистическими, тут я сам переживаю, как все равно...— и, подумав, добавил бы словами Фенькина: — Как все равно невменяемый».

После разговора о хоккее и столкновения с Ползунковым Фенькин направился на кухню и стал говорить Алене Ивановне о своем чувстве к ней.

— Ты что? — возмутилась Алена Ивановна.— Я старая, ты насколько моложе... А ко мне со словами лезешь. Очухайся. Разве можно. Что значит я хорошая? Добрая? Доброта моя вовсе не к этому. Я, конечно, не снежная баба. А самая обыкновенная, живая. Ну, думаю, скучает от неуютной жизни. Ходит на кухню. Может, обучается, как будущей своей жене помогать по домашнему делу. А ты вот куда закидываешься. Нехорошо это, неправильно. Я, конечно, ласковая к людям. И к тебе тоже, но без всякой мысли.

— Значит, Ползунков вам лучше меня?

— При чем здесь Егор Ефимович? Он запущенный холостяк. Какой из него муж. Его же переучивать во всем надо и, возможно, не переучить.

— Так вы же мне нравитесь,— уныло настаивал Фенькин.— Вы вся такая хорошая.

— Ты вот что, Феликс,— строго сказала Алена Ивановна.— Пойми меня правильно. Может, ты мне иногда и снился. Но просыпалась я в стыде за себя. Видишь, какая я правдивая. Говорю, и самой совестно, что такое тебе говорю. А раз такое сказала, значит, решилась сказать. И после этого, если ты меня сколько-нибудь уважаешь, забудь, что я сказала. Никому такое не говорила, а тебе сказала, да, снился, потому что я женщина. Но мы люди. И по-людски надо себя понимать по всей правде. Есть любовь, которая просто так. А есть для всей жизни. Раз промахнешься, два промахнешься, и получится из человека сирота на всю жизнь, нечем ему ее радостно помнить. А любовь — это радость. Понял? Радость. А вовсе не удовольствие. Радость служить другому человеку, быть ему верным и считать — он тебе самый главный в жизни. Поскользнуться, конечно, легко на чувстве. Да после не выпрямишься, будешь потом перед собой виноватый. А я гордая. И из гордости так тебе говорю прямо в глаза. Не надо, не приходи на кухню больше. Ты же тоже гордый — не приходи.

И Феликс ушел понурый, как бы униженный такими скорбно-сочувственными к нему словами. И вместе с тем взволнованный признанием Алены Ивановны, что он ей снился и просыпалась она от этого в стыде. Как же, выходит, он ей снился? Но это было признание Алены Ивановны не в слабости, а в силе ее — в таком признаться. И это еще больше всего удручало Фенькина.

Вот в какой сложный переплет попал Феликс Фенькин, не подозревая о том, что память, существующая в нем, действует помимо его воли на чувства самым прихотливым образом.

Замечал ли Егор Ефимович Ползунков добровольное тяготение Феликса Фенькина к труду на кухне? Да, замечал. И по взволнованным лицам Алены Ивановны и Феликса догадывался, что там они заняты не только мытьем посуды, и, слыша их приглушенный разговор, тоже волновался.

То, что Алена Ивановна вся словно светилась при Егоре Ефимовиче, он сам, конечно, видел, как и все, и надо прямо сказать, испытывал от этого приятное чувство. Неопределенное, но приятное, вызывающее всякие

мысли, что в жизни все возможно. А вдруг. И наполнялся мечтами о несбыточном, но что могло и сбыться. И, зная покойного супруга Алены Ивановны и очень уважая его и ценя как лучшего стропальщика, высокого мастера своего дела, он полагал, что и супруга такого человека должна обладать многими достоинствами, которые были присущи ее мужу. Именно с такой женщиной он мог обрести полное счастье, которого был лишен и которое найти давно не надеялся. Смеющиеся глаза Алены Ивановны, на него устремленные, все-таки вселяли такую надежду.

И, может быть, ободренный ее взглядами, воспламененный новой перспективой своей жизни, Ползунков так самоуверенно в своих силах и соображении и дал согласие на выгрузку грузов на лед, не сообщив водителям, какие мыслишки пришли ему в голову, а именно: втянуть грузы на машины, используя трактор по-фронтовому, как лебедку.

К вечеру, а может, к утру, — ведь долгий полярный день красит утро и вечер в один цвет, в светло-сиреневый, когда на горизонте лежит тучное прохладное солнце, тускло-красное, как морской буй, и потом, не исчезнув, оно медленно всплывает, круглосуточно обслуживая Заполярье,— словом, после ужина погода стала меняться. Задул протяжный, жесткий, студеный норд, он высушил небо и землю, заледенив ее в твердый, как камень, ледяной панцирь. Блистали торосы, как пучки прозрачных гигантских кристаллов хрусталя. Сверкали обледеневшие прибрежные скалы, словно глыбы полированной стали.

А о кромку берегового припая с силой бились, вздуваясь грядами сизых сопок, волны, их сочные, могучие удары вышвыривали сугробы пены, и водяная пыль клубилась над ледяной кромкой, словно дым горящей торфяной толщи.

А дальше, мористей, колыхался складчатый самосветящийся занавес северного сияния.

Он то ширился, то извивался, скручиваясь в бесшумные световые смерчи, то опадал струями света. Он жил своей странной жизнью в небесном пространстве, как исполинское существо, источающее из своего прозрач-

ного, как у медузы, тела потоки света, и световые плавучие движения его были грациозны — это был свет во плоти света, и он жил в океане неба над окаменевшим льдами теменем планеты Земля, украшая ее своей гигантской короной света за то, что она во всех окрестностях Солнечной системы является, может, единственным достижением Вселенной, самым высшим ее достижением, ибо на ней люди. Самые удивительные и всесильные существа из всех творений Вселенной.

Феликс Фенькин бродил вдалеке от вагончика, удрученно потупившись, не глядя на световые ливни северного сияния, не замечая красоты его, не думая о том, что́ является источником его величественного излучения. Он был весь во власти кроткой, ласковой, взволнованной откровенности Алены Ивановны, которая и сблизила его с ней и оттолкнула, возможно, навсегда. Он чувствовал, что тянуло его к ней не только мужское, а и тоскливая, нежная память о Фене́-маме, наполнявшая все его существо пожизненной привязанностью к неизбывной человеческой доброте, отданной ему Феней-мамой бездумно, но полностью, как самому родному ей существу. И чем больше он понимал это, тем сильнее жгло его негодующее сознание, что он посмел к другой женщине ощутить в себе то, что он испытывал в себе, возвращаясь памятью к Фене-маме. Словно пытаясь найти ей замену в иной совсем женщине, но чем-то схожей с ней своей добротой, отзывчивостью, заботой о другом, превышающей заботу о самой себе.

Лицо Феликса Фенькина было мрачно, угрюмо, он терзался, словно совершил подлость перед самым священным и светлым в его жизни, пытаясь утолить свое щемящее чувство сиротства после утраты Фени другой женщиной только потому, что она чем-то смутно напоминала ему Феню.

Увидев заплаканное, с припухшими ве́ками лицо Алены Ивановны, выражавшее смятение, скорбь, смущение, Ползунков, тоже смутясь, произнес:

— Жизнь, она, знаете ли, пестрая, полосатая...— вздохнув, поискал шапку и вышел наружу налегке, без полушубка.

Северное сияние, изливавшее себя в небо потоками

трепещущего живого света, не произвело на него никакого впечатления, как и ледяные остроконечные здания утесов, кристаллы торосов, источающие алмазное сверкание. Глухие взрывные удары волны о береговой припай — вот что сейчас забеспокоило его. И он пошел на лед, не ощущая от охватившего его беспокойства хлестких ледяных потоков жесткого норда. Но здесь он наткнулся на Феликса Фенькина, сидевшего на обледеневшем валуне в позе изваяния мыслителя — есть такая всемирно известная скульптура. Феликс курил и сплевывал, потому что табак не утолял его горести, а только своей горечью растравлял гортань.

Ползунков остановился, спросил:

— Любуешься? — и кивнул на северное сияние, подвернувшееся ему к слову, поскольку сейчас он вовсе не был расположен встречаться с Фенькиным и беседовать с ним.

— Ничего — светит,— сказал Фенькин и, оглядев неприветливую физиономию Ползункова, произнес вызывающе: — Вы, Егор Ефимович, на меня не коситесь. Я сейчас все равно как в свои ворота шайбу загнал. Виноватый.— Смял окурок в кулаке и объяснил: — Так что считайте меня отсутствующим.

— Это что, филонить будешь? — возмутился Ползунков.

— Я про другое вас информирую, а про что, сами знаете, делаю себе отставку. Ясно?

— А меня, что ты там на кухне делаешь, не интересует,— сердито буркнул Ползунков, ежась при этом от стыда, оттого что Фенькин будто делает ему снисхождение, вроде как высокомерно уступает из жалости к нему, что ли. И Ползунков сухо сказал:

— Чего твой организм по молодости требует, мне разгадывать не к чему, можешь не докладывать. Тут я тебе не советчик и ей тоже. Значит, такой разговор со мной отставить.— Вздернул нижнюю челюсть, поправил шапку и строевым шагом пошел на лед не оглядываясь.

Испытывая при этом и обиду, что с ним так позволил себе говорить Фенькин, и досаду на самого себя, что смутился и даже струсил такого разговора, словно испугавшись того, что было в нем самом по отношению к Алене Ивановне и сейчас с болью погасло, погасло

чадно, нехорошо, потому что у него не хватило ни ума, ни воли с достоинством, откровенно, правдиво сказать Фенькину, в каком он сам смутном, трудном для себя состоянии находился и как его волновало пребывание на кухне Фенькина наедине с Аленой Ивановной, по отношению к которой у него самого теплилась своя слабая, но светлая надежда.

Феликс Фенькин еще некоторое время посидел на обледеневшем валуне, потом, волоча ноги, побрел к машинам, решив завести двигатель бульдозера, чтобы за ночь, которая была вовсе не ночью, а частью долгого полярного дня, в двигателе намертво не застыла смазка.

Конечно, его оскорбила отчужденность Егора Ефимовича, с которым он вначале захотел объясниться начистоту — ведь он очень почитал Ползункова как человека — и даже, может быть, сказать всю правду, почему и как его потянуло к Алене Ивановне, чтобы вроде очиститься в такой откровенности. Ведь Ползунков фронтовик и, наверное, встречал на фронте осиротевших ребят, подобных Фенькину, которых солдаты подбирали, выхаживали, давали им приют и неохотно потом с ними расставались, будто с собственными родными детьми, попавшими в беду. Он мог понять чувства Фенькина, его неиссякающую тоску о Фене, одновременно ставшей ему матерью и как бы высшим существом, воплотившим в себе всю бескорыстную, добрую, нежную женственность, теплую тень которой он и почувствовал в Алене Ивановне. Но не получилось, и не надо. И, может, так лучше, был один и буду один, решил, ожесточаясь в себе, Феликс Фенькин.

Егор Ефимович Ползунков шел по береговому припаю согбенно навстречу сильному ветру. В пути он подобрал жердь, чтобы промерить у кромки толщу льда, подмытого за время оттепели теплой водой реки, впадавшей в бухту. Кроме того, надо было убедиться, что тяжелый накат волны не расшатал береговой припай, не надломил его где-либо трещинами.

Подойдя к самому урезу, Ползунков проверил толщину льда шестом, и его обдало пеной и водяной пылью. Он двинулся вдоль неровного, щербатого края и вдруг оступился и, теряя из рук шест, рухнул в воду.

Береговой припай возвышался над водой почти метровым порогом, и Ползункова било об этот порог вол-

нами. Пытаясь ухватиться за лед, он кровянил руки в снежной, липкой каше, но волны стаскивали его.

Он все-таки нашел в себе силы продвигаться вдоль ледового уреза, надеясь обнаружить место, где толща льда меньше, чтоб выбраться там на него. Приподнятый волной, он увидел узкий клиновидный глубокий надлом и влез в него, опираясь на стены локтями. Но что это давало ему? Только оттяжку от верной гибели, телесную муку, когда он заклинил себя в лед и стал вмерзать в него.

Но без сопротивления поддаться гибели Ползунков не хотел, он инстинктивно боролся за свою жизнь, отстаивая ее в мучениях, отдавая себе отчет, что это, пожалуй, вовсе не инстинкт, а то, что жило в нем прочно с войны: не для того четыре года смотрел он в глаза смерти, чтобы запросто принять ее покорно от собственной своей оплошности, оттого, что, занятый промеркой льда и думая в это время совсем об ином — досадуя, что оказался слабаком перед Фенькиным и вместо того чтобы мужественно поговорить с ним по-человечески, трусливо-обидчиво уклонился от такого правдивого разговора,— он утратил внимательность и оступился со льда, как все равно корова, высаженная с судна на материк.

Заклинившись в ледяную расселину, Егор Ефимович застывал, испытывая все муки медленной смерти, но не желая принять иной, более легкой, все-таки он фронтовик, и найдут его, как фронтовика, вмерзшего в лед и выдержавшего такую казнь, но не утопленника, что он считал для себя недостойным, стыдным.

Колыхалось в небесном пространстве светоносное северное сияние, исполненное своей мощной светоносной жизни. Оно шевелилось, собиралось в складки, зыбилось, совершало плавучие движения, сжималось в сгустки света и вдруг распространялось во всю ширь сверкающим белым пожаром. Оно жило, оно светило.

А человек умирал, вмерзая в ледяную расселину.

Скалы торчали, как гигантские надолбы, и торосы были подобны противотанковым ежам, сооруженным из остроконечных кристаллов.

От взрывных ударов волн о кромку уреза над припаем роилась, смерзаясь в снежинки, водяная пыль. Гул этих волн был подобен отдаленному орудийному.

Но картины боя не возникали в меркнувшем сознании Ползункова, он просто вмерзал в лед, и, понимая, что смертельно вмерзает в лед, он понимал еще, что добился этого в мучительной борьбе, чтобы не утонуть, а вмерзнуть, чтобы уцелеть во льду мертвым, но непобежденным.

Вот, значит, какие властительные над собой существа обитают на планете Земля, коронованной светоносным сиянием, которое они считают только явлением природы, а вовсе не чем-то исключительным, предназначенным светить человечеству в честь человека.

На случай пурги по указанию Ползункова машины поставили в выкопанных бульдозером в снежной толще капонирах.

Феликс Фенькин прогрел и оставил работать на малых оборотах свой бульдозер и то же самое проделал с мощным гусеничным трактором — не в угоду его водителю, а по соображениям, которые у него уже давно возникли.

В лесхозе ему доводилось работать на трелевочной лебедке — волочить пакеты хлыстов на крутые прибрежные увалы, откуда самоходом сваливали их к берегу реки для сплава. И если лебедка выходила из строя, вместо нее использовали гусеничный трактор, подняв его на бревенчатый настил, так что гусеницы провисали и на них можно было наматывать трос, как на барабан лебедки.

Но, чтобы втащить грузы на машины, нужна была эстакада. Фенькин решил нагрести ее бульдозером, упрессовать и для прочности вдавить в нее бревна полозьев, на которых стояли балки. Конечно, он хотел обрадовать Ползункова взлелеянной им мыслишкой. Именно так он и собирался небрежно сказать Ползункову — мол, взлелеял кое-какую мыслишку, и получить затем от него восторженную похвалу. Но поскольку между ним и Ползунковым возникло враждебное отчуждение, Фенькин не захотел информировать Егора Ефимовича о возникшей у него идее и, чтобы не терять времени, решил самолично приступить к сооружению горки для подъема на нее грузов до уровня платформ машин. И, забравшись в кабину бульдозера, выехал на

припай, чтобы нагрести и утоптать подъемную снежную горку.

Зная, что на припай ушел Ползунков, и там он его увидит и, увидев, наверняка спросит: «В чем дело, зачем вывел трактор?» — Фенькин размышлял: сказать, зачем, получится, он вроде этим ищет к себе симпатию, прощение у Ползункова. Не сказать, ответить нахально, мол, машину прокатываю? Но почему не по суше, а по льду, выходит, из дурости? Тоже нехорошо. Можно ответить половинчато — большегрузные контейнеры решил с места сдвинуть, чтобы сильно не примерзли. Тоже инициатива, но про главную мысль промолчать. Чтобы потом при всех в вагончике, когда Егор Ефимович начнет летучку и никто ничего путного не предложит, как ловчее поднять грузы на машины, так, будто между прочим, глядя не на Ползункова, а в окошко, заявить небрежно: мол, так и так, чего проще. Даже смешно, что сам начальник додуматься за нас не мог.

Но, выехав на береговой припай, Феликс Фенькин не увидел Егора Ефимовича, ледяное пространство было пусто. И только о кромку припая мрачно и шумно колотились волны.

Фенькин забеспокоился, затосковал вдруг от своих самолюбивых раздраженных ухищрений, направленных на то, чтобы только подать себя и ущемить этим авторитет Ползункова. Когда Ползунков, как и сам Фенькин, сейчас не в себе от тягостных переживаний. Егор Ефимович ведь больше одинок, чем он, Фенькин, ему самому еще, может, что и подвернется в жизни, а Егор Ефимович в личной жизни все равно как контуженный после первой своей неудачи и в удачу не верит. И он вспомнил, как Егор Ефимович говорил задушевно, что считает себя дважды рожденным, как все люди, которые воевали и остались живы после войны. И поэтому работать он должен за двоих. И действительно, Ползунков никогда не знал для себя покоя, спокойствия и, не щадя себя, брался всегда сам менять скаты, делать ремонт на стуже, в буран, выкапывать путь машинам в сугробах — в этом он всегда был первым и самым главным.

И томящая пустота, бесчеловечность ледяного покрова, освещаемого сполохами северного сияния, гигантскими всплесками света, вызвала у Фенькина

ощущение, что его раздраженность, обида против Егора Ефимовича, в сущности хорошего, человечного человека, мизерны, и не стало для него сейчас сильнее желания, как только увидеть Егора Ефимовича на этом обесчеловеченном пространстве, где властвовали только льды и трепещущие сполохи северного сияния, изливающего свой космический свет цвета льда на лед.

Став на подножку бульдозера, Фенькин оглядывал кромку льда и увидел лежащую на нем у самого уреза обледеневшую жердь. И бросился к этой жерди, еще не сознавая того, какое ужаснувшее его подозрение вызвала эта обледеневшая жердь, лежащая у кромки льда, о которую колотились волны буграми асфальтового цвета.

Фенькин нашел Ползункова, вмерзшего в ледяную расселину. И приволок его, обледеневшего, тяжелого, как глыба, к вагончику, и сам, мокрый, обледеневший, обессиленный, повалившись возле вагончика, не сразу нашел в себе силы, чтобы подняться, но поднялся и вошел в вагончик и там снова упал гулко на пол, своим падением разбудив спящих на полках людей. Поведя глазами в смерзшихся расницах, он просипел:

— Егора затаскивайте, он снаружи лежит...

И люди в исподнем выскочили наружу и втащили в вагончик тяжелого в глыбе ледяного чехла Ползункова. Алена Ивановна металась полураздетая, и никто не замечал, что она полураздетая, и Ползункова раздевали, вернее, выламывали его из обледеневшей одежды. И оттирали его спиртом, а Алена Ивановна разожгла колонку, чтобы кипятить воду.

Все были заняты только Ползунковым. Фенькин же, забравшийся на нары и в ознобе стучавший зубами, натянув на себя все, что под руками, был словно забыт в суматохе, может, потому, что в нем оставалось больше жизни, чем в Егоре Ефимовиче.

Очнулся Фенькин оттого, что его волокли на кухню, здесь раздели его догола, посадили в корыто с горячей водой и накрыли с головой брезентом, шубами. Затем Алена Ивановна вытирала его насухо, и при этом кто-то поил его из алюминиевой кружки спиртом, и потом, надев на него его собственный комбинезон на меху, уложили на полку, завалив сверху полушубками.

Наверное, тем же самым процедурам был подвергнут и Ползунков. Но лежа в меховом комбинезоне под шубами, в хмелю, Фенькин переживал это купание в корыте, прикосновение к себе рук Алены Ивановны, как то, что он испытывал в полевом прачечном отряде, когда Феня-мама купала его в тазу и при этом шептала упоенно и ласково: «Вот мы больше не вшивенькие, не грязненькие, а чистенькие, хорошенькие»,— и, вынув полукруглый гребень из своих волос, бережно расчесывала свалявшиеся в болезненный колтун густые его патлы. И вокруг задумчиво стояли солдаты и вольнонаемные женщины из полевого прачечного отряда и грустно-завистливо смотрели на Феню Сорокину, как она отмывает парнишку-сироту, и думали при этом, верно, о своих ребятах.

И он вспоминал, как женщины из банно-прачечного отряда после стирки белья из санбатов, рассматривая в нем прорехи, скорбно делились своими невеселыми мыслями: «Ведь это надо! Столько дырок, значит, столько в человека железа вонзилось, свинца! Раз из санбата, значит, он еще живой туда доставлен. Может, и дрался полуживым, а по нему все били и били?» И машинально вытирали свои слезы этим бельем.

И он словно слышал тоскующий голос Фени-мамы, когда она говорила, держа перед собой такую солдатскую исподнюю рубаху: «Ведь кто-то же ее из солдат после на себя наденет, чтобы снова воевать в ней. А ведь сохрани ее, покажи после всей войны людям, на нее как на святыню глазеть будут, а для службы снабжения она только БУ. Бывшее в употреблении, годное для новой носки. И если такой солдат выживет после госпиталя, он снова воевать будет, и снова по нему бить будут, и пока он живой, он со своей стороны будет стараться побольше их уничтожить. Одно помня — отомстить нужно фашистам. За все-все наше горе, беды, за всю кровь, нами пролитую.— Помедлив, она ожесточенно произнесла: — Вот пленных фашистов нам пригнали дров напилить, наколоть и воды натаскать. Все смирные, покорные, вежливые, готовы стараться. А как мы зашумели? Вон! Рожи их видеть не желаем! Так и просидели они тут тихо на бревнах, пока мы сами кололи, пилили. Но к труду их не допустили. Пусть смотрят, как мы их презираем, пусть видят, как мы их даже за

людей не считаем! — И добавила гордо: — За все человечество я, конечно, не ручаюсь. Но для нас, советских, вот такая рваная солдатская исподняя рубаха — самая главная реликвия на все времена жизни и на все ее случаи, когда надобно людям выше самих себя стать ради людей».

Через некоторое время Феликс Фенькин выбрался из-под груды шуб и стал снаряжаться молча и тщательно.

— Ты что? — спросили его.— По нужде?

— Не по своей,— хмуро ответил Фенькин. И вышел наружу.

Обеспокоенные водители тоже оделись и вышли вслед за ним.

Фенькин оглядел повелительно водителей, спросил:

— А вы что, тоже, как я и Егор Ефимович, моржевали, в бухте искупались для здоровья и теперь за это считаете — вам отдых?

— Ну и подает себя! Ну и подает! — восхищенно оценили люди вызывающий вид Фенькина.— Парень лихой, брови до ушей, кровь горячая.

Но кое-кто усомнился:

— Может, захворал? Температуру бы смерил!

— Температура у меня нормальная,— сказал Фенькин.

И, потопав с силой ногами в унтах, словно испытывая на прочность планету, заявил:

— Давайте-ка снимайте полушубки, в работе жарко будет.— И, видя недоверчивые лица, добавил: — Егор Ефимович дал прямые мне указания по его плану работы безотлагательно начинать и в темпе. Лед он проверял, беспокоился о надежности. Так что затяните пупки поясами и пошли вкалывать, пока не кончим. Шабашить не будем, перекуров тоже. Все! Вопросы ни к чему. Без митинга обойдемся. Каждому скажу, чего как делать.— И, усмехнувшись, добавил: — Не весь, конечно, полярный многомесячный день будем работать. Из него, может, не так уж много времени понадобится.

— Если Егор Ефимович задумал на нашем горбу погрузку вести, так это невмочь никому, чтобы такие габариты на машины водрузить,— запротестовало несколько водителей.

— На своем горбу только в зависимых странах на

плантаторов работают,— сказал самоуверенно Фенькин.— А у нас механизация положена.

— А откуда ты ее взял здесь, механизацию?!

— Из одного особого места,— сказал Фенькин и многозначительно приложил ладонь ко лбу,— из этого самого, где всякие извилины. И серое вещество, которое человеку светит сильнее прожектора.

— Да ты не темни!

— Ладно! — благодушно согласился Феликс Фенькин.— Значит, освещаю и просвещаю, как можно универсально трактором пользоваться. Конечно, не так, как некоторые на нем за пол-литром по непроходимой местности до базы,— а для того, чтобы он подъемником стал: с одной стороны подпихивал груз, как бульдозер, на горку, с другой стороны — работал, как лебедка, затягивая грузы на горку, а затем на платформу машины. Вняли? Дошло? Просветились? Ну, теперь мелкие подробности, касающиеся, как, кому, что...

Но как бы Феликс Фенькин ни старался выглядеть боевито и бодро, он испытывал жар и озноб, хотя и хорохорился перед товарищами с излишком, и они понимали, почему он так хорохорится перед ними: не только, чтобы себя подать, но и потому, что хотел скрыть от них свое состояние. Но соболезновать ему было сейчас ни к чему. Без Фенькина не обойтись, пока не сделают все, что нужно для начала работ по погрузке.

Феликс часто совал обмерзшие ладони себе за пазуху, отогревая их так в горячем жару. Потом снова долбил ломом землю под мертвяк из пачки бревен, работал гаечным ключом, снимая балки с полозьев, а в промежутках бульдозером сгребал и уминал горку, предназначенную под эстакаду. И только когда работы были закончены и предстояло начать уже погрузку, на вопрос одного из водителей:

— Ну как ты?

Феликс ответил:

— Адаптировался.

— Чего?

— Ну, присобачился вполне, вам холодно, а мне жарко.— И, распахнув полушубок, глядя тускло, с поволокой, вдруг осведомился, оглядываясь на льющее свет небо: — Это отчего сегодня салют, не знаешь?

— Какой там салют, ты что, не в себе?

— Ну, салют им всем за все.— И, выбравшись из кабины бульдозера, шатаясь, Феликс побрел к краю берегового припая, подняв голову и уставясь взором ввысь.

Слабого и обвисшего на руках, его привели в вагончик и уложили на полку, снова накрыли шубами и снова напоили из алюминиевой кружки спиртом из аптечки, которой заведовала Алена Ивановна.

Алена Ивановна ухаживала то за Феликсом, то за Егором Ефимовичем, который не сразу ожил, но, ожив, имел нормальную температуру, не кашлял, не сморкался, и только от ударов о лед у него была не то вывихнута рука, не то сломана ключица и повреждена кожа на голове. Но он бодро переносил боль. На вопрос о самочувствии отвечал:

— Как после боя, в санбате. Из небытия вернулся в бытие, и, значит, теперь главная безотложная задача — вернуться к себе в часть.

Он лежал на спине, в прорехе рубахи виднелась седая шерсть на груди, на осунувшемся лице выступили сухие глубокие морщинки, глаза запали, губы тоже. И Алена Ивановна, видя эти старческие приметы, проникалась к нему жалостью, состраданием. Но лицо ее уже при этом не светилось загадочной женственной сдержанной улыбкой, как на популярном портрете Джоконды, а было озабоченным, хмурым, и хоть она и не упрекала Егора Ефимовича за допущенную рассеянность на льду, но упрек в чем-то ином еще читался на ее полном, но свежем лице.

Когда Алена Ивановна подходила к полке, где лежал Феликс Фенькин, она ощущала его взгляд, как прикосновение, отчего ее бросало в жар, однако Феликс столь отчужденно и враждебно отстранялся от ее забот о нем, что она холодела от горькой обиды, и ей хотелось плакать, и ее небесно-голубого цвета, в припухших веках глаза наполнялись слезами, и, всплакнув, она чувствовала себя несколько облегченнее.

После банок, поставленных Аленой Ивановной, Ползунков стал пятнистым, как пантера, и уверял, что он чувствует себя вполне нормально. Он рассказывал Алене Ивановне, что, когда он висел в воде, в ледяной расселине, вмерзая в нее, это было похоже на то, как

он полз с толовыми пакетами к фашистскому четырехамбразурному доту и его так контузило ударной взрывной волной от разорвавшегося совсем рядом снаряда, что он совсем потерял самочувствие и, как паралитик, уже не мог пошевелить ни ногой, ни рукой и лежал пластом, ожидая, что вот-вот приоткроется бронированная дверь дота и фашист наспех пристрелит его из автомата.

Но Алене Ивановне эта ассоциация не понравилась тем, что Егор Ефимович во фронтовом случае выглядел совсем непривлекательно, и она спросила обиженно:

— И все?

Егор Ефимович подумал, произнес со вздохом:

— Все ж таки, когда дверца открылась, я зашевелился, зашвырнул в нее пакет тола, значит, встрепенул их. Но самое главное переживание было не это удовольствие, а то, что лежал пластом, как паралитик, соображал, что к чему, а ни ногой, ни рукой,— как в страшном сне, и даже хуже.

И он снова виновато улыбнулся, и Алена Ивановна при этом увидела, что у него повыбиты об лед зубы и десны сочатся кровью.

Зубную боль она понимала хорошо и, всплеснув полными руками, воскликнула сокрушенно:

— Егор Ефимович, да как же вы терпите такую боль непереносимую и молчите!

На что Ползунков ответил:

— А я не молчу, я разговариваю, а разговоры всегда боль оттягивают.

Несколько раз Ползунков подходил к полке, на которой лежал Феликс, с головой прикрытый шубами, вздыхал и плелся обратно.

На вопрос к Алене Ивановне: «Куда девались все люди?» — Ползунков услышал: «Работают».

— Чего работают?

— Чего, чего — грузы грузят.

— Это каким же манером?

— А таким, грузят и все.

Ползунков очень взволновался, но, скрывая свое волнение, произнес равнодушно:

— Значит, порядок.

— Какой же это порядок,— возмутилась Алена Ивановна,— когда не жрамши весь день!

— Полярный он длинный,— сказал Ползунков,— многомесячный, успеют поесть.

— А я по нормальному дню считаю,— строптиво ответила Алена Ивановна.— Мало ли что стихия природы здесь наворотит, у меня свой счет.— И, гремя ведрами, пошла набирать чистого снега для растопки его в кастрюлях на воду.

Ползунков, кряхтя и охая от боли, кое-как облачился и вышел из вагончика, опираясь на обломок рейки неповрежденной рукой. В глазах у него поначалу рябило, но от свежего, студеного, ветреного воздуха он как бы очнулся, набрался силы и вышел к побережью. И то, что он увидел, ошеломило его. И не столько радостью ошеломило, что идет дело, как им было придумано, а тем, что, выходит, он стал беспамятным от ушибов, потому что если б он кому-нибудь не сказал про свои замыслы, откуда бы тогда люди узнали, как действовать. Так что же это выходит, вроде инвалидность ума его постигла — выпадение памяти, так кому он тогда такой нужен.

А тут еще подошел водитель и оживленно объявил:

— Вот, Егор Ефимович, можете любоваться. Все идет по-вашему! А мы-то меж собой вас, извиняюсь, обзывали, что грузы на лед приняли, а как со льда поднять, один мрак и полная неясность.

— Значит, команда была правильная? — осторожно осведомился Ползунков.

— Феликс тут над нами потиранствовал вволю,— почему-то восторженно сказал водитель.— И сам себя не жалел, за все сам брался.— Добавил задумчиво: — Я-то думал, он — тип. А оказалось, парень с башкой, все толково запомнил, как вы велели.

— Фенькин хворает,— напомнил Ползунков.— Весь жаром пышет. Совсем слег.— И спросил встревоженно: — Значит, это его команда была?

— А как же. По всем линиям.

— А меня он поминал? Может, он сам сообразил?

— Откуда у него может быть подобная сообразиловка — водитель, как и все.

— А если я ему, допустим, ничего такого не присоветовал?

— Да вы что? — недоверчиво улыбнулся шофер.— Да и зачем вам его выше его самого возвышать, и без

этого мы Феликса зауважали. Парень надежный, с перспективой.

Ползунков кивнул, водитель удалился.

Чувствуя слабость и ноющую сильную боль в поврежденных местах, Ползунков поплелся обратно к вагончику. Войдя в вагончик, мельком взглянул на себя в зеркало.

Защетинившееся за ночь лицо его было худым, опавшим, и губы запали в беззубый рот, и взгляд унылый, старческий. Неужели оттого, что перепугался смерти? Он, столько раз на фронте от нее не отворачивавшийся. Так то на фронте...

Подойдя к полке, где лежал Фенькин, Ползунков осторожно присел у него в ногах, дождался, пока Фенькин пошевелился, и тогда произнес шепотом:

— Феликс, ты как — ничего?

Фенькин сдвинул с лица шубу и уставился на Ползункова воспаленными глазами.

Ползунков сказал виновато:

— Я, вот видишь, вполне, а ты из-за меня хвораешь, простудил я тебя.— И добавил сипло: — Своего спасителя.

Фенькин закашлялся, сплюнув, поправил:

— Не спасителя, а спасателя,— усмехнулся.— А простуда не проказа, детская болезнь, засопливел, и все. На фронте, небось, от простуды в санбат не брали!

— На фронте мы не простужались,— сказал Ползунков.— Когда весь на нервах, простуда не берет.

— Ну вот, а я простыл,— сказал обидчиво Фенькин.

— Феликс,— просительно произнес Егор Ефимович,— ты на меня больше не косись. Больно мне это, когда ты на меня косишься.

— Ладно,— сказал Фенькин,— не буду.

Ползунков понурился и сказал глухо, с упреком.

— Ты, Феликс, зря меня перед людьми выставлял. Я ведь тебе ничего не говорил, твоя придумка.

— Не моя, а леспромхозовская,— сказал равнодушно Фенькин,— в трелевке этот способ применяли, когда лебедка из строя выходила, а трактором хлысты по крутизне не уволочь. Это после трелевочные тракторы появились, они и с лебедкой и на себя с кормы покатой затаскивают пачки хлыстов, вот это машина, красота, а не машина...

— Значит, ты меня помянул водителям только для убедительности?

— А как же. Я им кто? Такой же водитель, как и они сами. А тут авторитет — начальство. Куда от него денешься. Никуда. Выполняй, и все.

Глядя на опухшее, воспаленное от жара, но исполненное спокойного достоинства лицо Феликса Фенькина, Егор Ефимович с грустью вспоминал: на фронте солдаты осведомлялись каждый о каждом — кем ты был? Это означало, кем ты был в мирной жизни. Пришибли фашистов, конец войне, и солдат солдата спрашивал: кем ты будешь? А в середине того, кем ты был и кем ты будешь, были дни и ночи, слившиеся воедино в боях, в тяжком фронтовом труде и добываемом в бою солдатском мастерстве, о котором не говорили меж собой даже после боя, потому что после боя каждый испытывал отвращение к тому, что он свершил в бою. Но право убивать они обрели, не отворачиваясь изо дня в день от грозящей смерти. И, убивая убийцу, этим только могли покончить с побоищем, охватившим огромное земное пространство.

Там, на фронте, они жили жизнью воинского товарищества, где каждый каждому становился роднее родни, потому что они переживали все вместе то, что приходится переносить сражающемуся солдату, и только они могли понимать друг друга в самом сокровенном, что чувствует человек в том состоянии, когда для него нет ответа на вопрос, кем ты будешь, потому что он вообще может не быть, в любое мгновение подвергаясь воздействию всевозможных убойных средств.

А вот теперь не спросишь, кем ты был? Кем ты будешь? Может, кто ты есть? Но на это не отвечают. Нужно самому понимать человека, самому догадываться, решать, кто он есть.

Конечно, у Егора Ефимовича было такое ощущение, что Феликс Фенькин обобрал его. То, что было его фронтовым достоянием, он как бы от себя лично через много лет передал бы, как солдатское наследство, водителям мехколонны. Это явилось бы для него счастливой возможностью напомнить здесь людям, что он и его батарейцы воевали с умом, с вдохновенным усердием, не утрачивая самосображения,— «шевелили мозгами», когда эти самые мозги могли быть ежесекундно

выбитыми из черепа тяжеловесным осколком мины или снаряда.

Но вряд ли можно было предполагать, что, если бы этот способ предложил как фронтовой лично сам Ползунков, люди работали бы с бóльшим рвением и воодушевлением, чем когда его предложил от имени Ползункова Фенькин в порядке механизации погрузки. Ибо люди сейчас считали свою миссию — доставить оборудование на стройку — ничуть не меньше фронтовой задачи. И стройка светила им такой же победой, как Ползункову, когда штурмом освобождали населенные пункты и в пределах Родины и за ее пределами. Солдаты освобождали, а здесь люди создают на пустынной земле населенные пункты — бастионы индустрии, мощью которых преобразуется тут все пространство, и во имя того, что будет, они такие, какие есть, и пожалуй, такие, какими были бы, если б были солдатами, и, возможно, таким должен быть человек всегда и во всем. И меркой их человеческого достоинства всегда служит неиссякаемый подвиг свершаемого, к которому они причастны.

Подобные мысли, но не облеченные в такие слова, возникали у Егора Ефимовича, когда он думал обо всем происходящем, испытывая одновременно и щемящее сожаление, что водителям неведомо, что они применили здесь фронтовой способ его батарейцев. Но вместе с тем Ползунков ощущал с душевной теплой радостью, как бы возвращаясь к прошлому и снова к сегодняшнему, что связь времен и связь наших людей, сражавшихся и ныне работающих, вот она, в лице хотя бы Феликса. И будь он таким, какой он сейчас, на фронте, именно он, Фенькин, предложил бы этот способ доставки боеприпаса по зыбкому льду с той же властной самоуверенностью, с какой он осуществил этот способ здесь, сейчас.

И Егор Ефимович вспоминал, как его волок за воротник шинели неизвестный ему солдат, когда он валялся парализованный возле подорванного четырехамбразурного дота, и, останавливаясь передохнуть, заслонял своим телом Ползункова, с деловым, озабоченным лицом выпускал очередь и затем снова волок Егора Ефимовича и, когда доставил его, сказал облегченно санинструктору: «Окостенел, как покойник, но живой,

только шоковый»,— и, прихрамывая, удалился обратно в бой.

Вот точно так же сказал о Ползункове Феликс Фенькин, когда приволок к вагончику: «Не утоп, а вмерз. Когда я его из льда выламывал, глазами шевелил, значит, живой»,— и рухнул при этом рядом.

Значит, справедливо будет считать инициативу за Феликсом, хоть она первоначально фронтовая. Значит, в наших людях заложено на все времена то, что делает их такими, какие они есть во всех обстоятельствах, такими, каким человек должен быть.

После длительного молчания Ползунков осторожно, шепотом осведомился:

— Спишь?

— Нет, только зажмурился.

— Я ведь уже совсем поношенный, глянул на себя в зеркало, вся рожа в седой щетине,— скорбно признался Ползунков.

— Бриться надо,— вяло произнес Фенькин.

— Бритьем себе от старости и седины не поможешь.

— С морщинами, а не в соплях, значит, организм прочный,— нехотя сказал Фенькин.

— Не привык я простужаться,— хмуро сказал Ползунков.— А вот возраст сейчас свой почуял.

— После такого купания вам только в моржи записываться,— усмехнулся Фенькин.— А я вот скис, вроде как бюллетеню.

— Желаешь, я тебе начистоту про себя доложу в смысле Алены Ивановны? — робко осведомился Ползунков.

— Не желаю,— сердито заявил Фенькин и отвернулся.

— А все-таки скажу,— настойчиво произнес Ползунков, закурил, закашлялся, побагровел.— Конечно, у кого нет своей фантазии, когда вдруг такая женщина одна среди всех. Смотрю, глядит на меня и при этом вся словно светится. Вроде как из-за меня. Я и вообразил. А на самом деле что? Да она просто из признательности за то, что я ее в штат зачислил. Только и всего.

— Меня это вовсе не касается,— с гневом сказал Фенькин.— Может, вы про меня тоже что вообразили по этой линии, так этот ваш прицел неверный.

— Ну, как знаешь,— вздохнул Ползунков.— Шел к тебе с мыслями, в словах они не получились.

Фенькин отвернулся к стене и сказал глухо-скорбно:

— Она мне другой показалась. Ну не такой, какая она, а какой другая была. А вы все подумали иное... Ну, словом, нет больше разговора. Все! — Фенькин тяжело дышал, от него несло жаром.

Ползунков смял окурок, помотал рукой, чтобы рассеять дым, помедлил, сказал горестно:

— Вот если б я тебе отец был, тогда бы, верно, вправе был бы такой разговор вести ото всей души, а так, может, и не вправе.

Выждал.

Фенькин молчал. Его знобило.

По масштабам полярного побережья, земной твердиной опоясывающего огромное пространство закованного льдами арктического океана, эта бухта выглядела как крохотная зазубринка в суше. А за пределами ее лежал гигантский материк сибирский, и на всей его безмерной обширности подвигом народа возводилось державное могущественное величие Сибири, которым будет обозначено начало летосчисления двадцать первого века, великое сотворение всевластного созидательного труда нашего народа, преобразующего сам лик планеты и жизнь на ней, творящего новую цивилизацию человечества.

А у крохотной этой зазубринки копошилось несколько десятков людей, усталых, обмороженных хлестким, жестким ветром с Арктики, настуженным вечными льдами на полярном темени нашей планеты.

Здесь, на пристывшем к побережью ледяном припае, люди громоздили на машины затаренные тяжкие глыбы грузов, возможно, равные по своему весу тем каменным базальтовым глыбам, из каких древние сооружали пирамиды с помощью гигантских воротов с рукоятями из цельных стволов пальм, в которые впрягались тысячи людей, чтобы сдвинуть, приподнять тесаные глыбы базальта, а тут обходились самопридуманной лебедкой, приводимой в движение двигателем внутреннего сгорания.

Но они работали на ледяной кровле, а под ней ше-

велились водные глубины, шатаемые все нарастающим прибоем, гулко колотящимся о кромку берегового припая.

И над ними трепетало свечение северного сияния, словно отсветы Вселенной, для которой наша Земля — лишь некая многомиллиардная частица, вращающаяся по законам небесной механики, сотворенная Вселенной, у которой нет предела.

Береговой припай не самое прочное сооружение природы, и его кровля накрывала сейчас разбушевавшуюся пучину. И поверх ее, на этой ледяной корке, работали люди. Азартно, прытко, с самозабвенным задором.

Егор Ефимович Ползунков, скособочившись от боли в руке и ключице, бродил среди работающих людей, испытывая к ним всем такое же чувство, какое он испытывал к бойцам своего орудийного расчета во время смертного боя, когда расчет работал у орудий в огне и пламени разрывов вражеских снарядов с той суровой, самозабвенной сосредоточенностью и увлеченностью своим солдатским делом, что величают героизмом.

Но то война. А почему здесь, на зыбком льду, который вот-вот может начать раскалываться, гражданские люди рискуют жизнью, не желая даже сами перед собой сознаться в грозящей опасности, пренебрегая этой опасностью, и, может, как это ни странно, воодушевленные этой опасностью?

Может, они так одержимо работают, чтобы во что бы то ни стало спасти ценные грузы. Ведь на таре обозначены названия многих предприятий страны, производящих продукцию, намеченную для того, чтобы в сборе она обрела свою творящую способность в корпусах новых заводов и предприятий страны, на новом назначенном ей месте в пространствах высоких сибирских широт.

Но мехколонна Ползункова всегда была занята перевозками подобных серьезных и ценных грузов, оборудования, материалов, которые шли на сооружение, как принято выражаться на собраниях, великой стройки века.

Конечно, в данный момент ими руководило и сознание многоценности и многоважности грузов, но и не только это.

Егор Ефимович Ползунков по своим прежним пере-

живаниям знал, что ощущение смертельной опасности вызывает кроме естественного для каждого человека страха смерти одновременно и страх утратить свое человеческое достоинство в томящем предчувствии опасности, и этот страх потерять достоинство человека от боязни смерти перед лицом своих товарищей по военной борьбе становился сильнее страха за свою жизнь. Люди боялись унизиться страхом смерти, и эта боязнь унижения делала их бесстрашными, переборов в себе страх смерти, они проникались гордостью, и эта сокровенно обретенная гордость обращалась в самозабвенную отвагу, одержимость и даже в лихость поведения в бою.

Именно нечто подобное он ощутил сейчас в рабочем настроении своих людей на зыбком льду и их облике, в рабочей хватке и их беспощадном к себе старании браться за самое трудное и опасное.

Тяжкие волны прибоя наваливались на ледовую кромку припая, обламывали ее и таранили ее отшибленными кусками льда. И все меньше становилась их рабочая площадка, и все больше возрастала грозящая опасность. На льду горел костер из обтирочной ветоши, облитой соляркой, порывы ветра с треском обрывали клочья пламени и уносили огненные трепещущие куски в сторону.

Люди подбегали к костру и поспешно совали к пламени окоченевшие руки.

— Ну как? — робко спрашивал Ползунков.

— Пока нам производственной площади хватает, будем вкалывать.

— Не порожняком же возвращаться с холостым прогоном.

— Флотские свалили груз и ушли, а мы, выходит, его утопим!

Так наспех отвечали Ползункову его люди, дорожа каждой минутой.

И когда с огнестрельным гулом лопался в отдалении береговой припай и расселина во льду прытко ползла своим неровным расколом к побережью, люди настороженно замирали, потом с облегчением произносили:

— Ну, эта мимо прошла! — И снова с ожесточенным азартом продолжали работу.

Они здесь, на Севере, были хорошо обучены преодолению всевозможных трудностей, и каждый маршрут их

был походом через непроходимое пространство сугробов, болот, трясины, скользкого гололеда. Но такой тяжкий труд они испытали впервые, и, пожалуй, если бы не сознание опасности этого труда на хлипкой ледяной кровле. сознание смертельной опасности, взывающее к человеческой гордости, у них не хватило бы сил, чтобы выполнить все то, что они выполнили.

Ведь увезти все грузы в одну ездку они не могли, а убрать их с припая было необходимо, и пришлось несколько раз грузить неподъемные ящики на машины, а потом, отъехав с припая на твердую землю, сгружать их.

Работа завершилась не то на следующий день, не то на следующее утро, а может, и на следующую ночь. У полярного долгого дня не существовало такого отсчета времени, да и сами люди утратили представление о времени, изнеможенные, обессилевшие от безмерно тяжкого своего труда.

Они вышли на сушу, еле волоча себя. И никто из них даже не оглянулся, когда их бывшая рабочая площадка с гулом и звоном начала разламываться, разъезжаясь на стороны своими огромными плоскими плитами, превращаясь в ледовые плавучие острова.

И мало у кого нашлось сил, чтобы усесться за накрытый Аленой Ивановной стол в вагончике. Не раздеваясь, они залезали на спальные откидные полки в вагончике и на нары в балках и, словно теряя сознание, засыпали в самых неловких позах.

Стоял долгий полярный день, скрипели колотые льдины, шатаясь на волнах и ударяясь друг о друга. И северное сияние продолжало изливать из себя потоки своего холодного свечения, но почему-то оно не выглядело сейчас столь высокомерно-торжественным, величественным, господствующим над Землей произведением Вселенной, которое должно внушать человеку, что его Земля лишь малая и ничтожная ее частица, сотворенная ею в непостижимом для человека и для нее самой беспредельном ее пространстве в непостижимое для нее самой время.

В этот долгий полярный день транспортная колонна Ползункова шла с первой партией груза в обратный путь. Он был гораздо труднее, этот путь, чем тот, что

они проделали сюда порожняком. Они преодолевали гололед вечной мерзлоты, вязли в трясине, пробивались сквозь рыхлые сугробы.

Несколько раз они встречали на своем пути в тундре запряженные цугом тягачи, которые волокли на новое место буровые вышки. Но ни у водителей колонны Ползункова, ни у водителей тягачей, перемещавших буровые вышки, не было времени, чтобы остановиться и вести разговоры — что? как? кто?

Ценность их грузов и ценность самого времени составляли для них нерасторжимое целое, они были заняты делом, которое — они знали — называют великой стройкой века.

И на коротких остановках, когда нужно было заправить машину горючим, сменить смазку, произвести осмотр ходовой части машины, во время поспешной еды все были сосредоточены только на своих водительских заботах, на предстоящем одолении дальнейшей труднопроходимой местности.

И из памяти их исчезло видение каменного распадка, меж скалистых стен которого лежала бухта — крохотная зазубринка в заполярном побережье, ее ледовый береговой припай, служивший им рабочей площадкой, откуда сейчас с теплым ветром с материка унесло битые льдины в море и где над чистой водой с воплем носились теперь чайки.

Все их мысли были сосредоточены на том, чтобы восстановить в памяти все трудности того остатка пути, который им предстояло проделать, и об этом они говорили.

В кабине головной машины по праву бригадира сидел Егор Ефимович Ползунков. Осунувшийся, похудевший, страдающий от боли в ключице и левой руке, он держал себя, как полагается начальству, бодро, властно, самоуверенно. И водитель, хмурый, недовольный тем, что Ползунков подает ему под руку советы, беспокойно ерзал все время на сиденье, говорил с упреком:

— Неугомонный вы человек, Егор Ефимович; вам бы по вашей солидности на буксире в вагончике находиться, и вы бы сами отдохнули, и я от вас тоже. Или чего лучше — пересели бы в машину к Фенькину. А то он на каждом переходе нас поносит за то, что мы объезды делаем с наезженного пути, мох, видите ли, жа-

леет, а машин ему не жалко. Говорит, мол, почвы этот мох от заболачивания охраняет и оленям кормом служит,— оленям сочувствует.

Егор Ефимович помолчал, закурил, покашлял и строго заявил:

— Феликс нас всех своим приспособлением выручил, он и в технике соображает, и в природе, и в людях тоже, парень с душой и с мыслями.

— А ведет машину под градусами,— обидчиво сказал шофер.

— Температура в нем нормальная,— возразил Ползунков.

— Да вы что, не знаете, как можно ловчить: вынул градусник из-под мышки, постучи о него ногтем, сколько захочешь, столько и скажет, а при желании поднять можно — потри о сукно градусник, он и даст цифру для бюллетеня. Ежели маршрут тяжелый, можно всегда так филонить...

— Значит, овладел медицинской техникой! — сказал Ползунков.

— Да вы что, нашего брата, водителей, не знаете? Сам себе выходной и организуешь таким манером.

— Знаю я вас,— сухо сказал Ползунков.— Все вы не ангелы с крылышками.

— А что? Люди как люди.— Водитель сердитым рывком переключил скорость, и из-под скатов машины вознеслись высоко черные фонтаны трясины, которую одолевала сейчас колонна.

Лицо водителя было озлобленно-скорбным, он переживал сейчас за свою машину, буксующую в трясине, радиатор парил от перегрева мотора.

Но Егору Ефимовичу его лицо казалось по-человечески прекрасным именно потому, что водитель так сильно переживал за свою машину.

И как в годы войны после тяжелого победного боя солдаты не желали вспоминать его подробности, свою отвагу, проявленную в бою, так же и эти гражданские люди уклонялись от подобных воспоминаний. Вот этот же водитель, когда лопнул трос, кровавя свои руки, вязал его концы, оставляя на стальных витках толстого троса клочки своей кожи, и сейчас вел машину в варежках, к которым изнутри присохли его ободранные, кровоточащие ладони.

Стоял долгий полярный день, который можно именовать и белой ночью, и полярное сияние над пространствами тундры казалось отсветом большого города.

Колонна все приближалась к назначенному ей пункту, где возводился новый город, еще не имеющий названия, еще не сверкающий своими собственными огнями. Но придет тот день, когда он засверкает огнями, и в полярной ночи он будет, как остров, возвышающийся домами, корпусами заводов. И сияние его будет видно из самой дальней дали, как великое новое земное созвездие, сотворенное подвигом труда. И ползунковской транспортной колонной тоже.

1978 г.

Валерий Поволяев

Таежный моряк

Он появился у нас под вечер, маленький, крепко сработанный, о таких говорят «клещистый», с прочной неспешной походкой, в затертой дошке, в кисах — легких, нарядных, сплошь в цветастых строчках, унтах, сшитых из оленных лапок — меха вековечной прочности, что никогда не вылазит, не тратится молью, не грязнится... И что самое потрясающее, от чего «прекрасные мира сего» — девчонки наши прямо-таки охнули — в пятидесятиградусный мороз да с ветерком (а это добавьте еще градусов десять) на голове у него гнездилась черная, поблекшая от морских приключений бескозырка с рыжевато-бронзовой гвардейской лентой, вдоль которой были тиснуты выцветшим от времени металлом буквы — название флота, где он служил. Вот так.

Правда, в руках пришелец держал малахай. Так что по морозу он шел не в бескозырке.

Лицо у пришельца было костистое, с крутым бугристым лбом, глаза — в постоянном прищуре, будто он все время двигался против ветра, на круглом, крепком, как репа, подбородке — раздвоина, а чуть сбоку — веретенцем, выщербиной застыл небольшой, но глубокий шрам. Словно птица сюда клюнула, вот след и остался.

Ввалившись в «диогенову бочку» — круглый и действительно похожий на бочку балок, этот домик на съемных полозьях,— и сделав руками несколько морских гребков, пришелец разогнал тугой, будто сработанный из резины морозный пар, с гудом ворвавшийся

следом в дверь, затем, ни слова не говоря, прошел к бачку с открытой крышкой, где находилась вода, зачерпнул немного кружкой, выпил, выдохнул, словно пил не воду, а хмельной взвар, и вдруг быстро-быстро заработал ладонью у рта, словно изгоняя что-то, и все услышали немного странное, птичье, от чего неожиданно пахнуло летом, духом разогретого луга и недалекой речки, в которой полощутся сытые голавли: «Чик-чик-чик-чик...» Отчикавшись, пришелец снял бескозырку.

— Генкой меня зовут. Фамилия — Морозов,— сказал он.— Для женщин сообщу год своего рождения. Двадцать два года мне, вот. Бывший моряк — поначалу торгового флота, а потом военного. Служил на гвардейском корабле...

— Моря-як с печки бряк, растянулся, как червя-як,— выпрямившись на стуле и вскинув руки так, что все на груди у нее обтянулось и мужики дружно зыркнули глазами в ее сторону, пропела Любка Витюкова, девка красивая, с вызовом и сверком в глазах, но недотрога, это знали все, потому особых надежд не питали. Вдобавок ко всему она еще и замужем была. Хоть и не жила с мужем, а все-таки...— Ну, что замолчал? Давай продолжай выкладывать свою анкету дальше. Образование? Партийность? Сколько классов кончил? Семейное положение? Был ли за границей? — Витюкова усмехнулась, увидев, что по лицу моряка поползла прозрачная тень растерянности, чего-то детского, неожиданно квелого, что никак не соответствовало бравому развороту его плеч, и в глазах будто гнездышко, домик какой свою дверку распахнул и из притеми выглянул золотистый кукушонок, клюв обиженно разинул.— И вообще, дорогой товарищ, когда входят в дом, прежде всего «здравствуйте» говорят.

Тяжелый кирпичный румянец наполз на Генкины щеки, кукушонок захлопнул за собой дверку уютного домика, свет в зрачках угас.

— Здравствуйте! — произнес Генка голосом человека, у которого болит голова.

— Здравствуйте,— поздоровалась Любка Витюкова церемонно, добавила, малость нагнув голову: жест такой, будто в ней королевская кровь текла,— товарищ Чик-Чик. Проходите, садитесь,— она повела рукой в сторону,— примите участие в нашей деревенской мота-

не. Можем научить песенки петь, рассказывать вечно юные сказки про Аладина и волшебную лампу, Али-Бабу и сорок разбойников, есть также две детские дразнилки, вода и компот, есть обязательный сухой закон, два бравых незамужних рыцаря,— она повела рукой еще шире,— командир бульдозеристов Виктор Иваныч Пащенко и мастер товарищ Лукинов Пе Пе, что в расшифровке означает Петр Петрович. Есть консервированные помидоры, привезенные с Большой земли, и гуляш «по-вечернему» приготовления местных мастеров кухни. Годится?

— Ишь ты! «Ей, оказывается, ничего не стоит плюнуть в душу рабочего подростка...» Цитата,— проговорил моряк и снял бескозырку. Волосы у него были длинные, путаные, будто он давно не расчесывался, с веселыми кудрявыми загибушками на концах.— К вашему гуляшу с помидорами да к дразнилкам могу добавить кое-чего из своих запасов,— освоившись, произнес он в тон,— из съедобного есть колбаса «ухо-горло-нос» по шестьдесят пять копеек килограмм...

— Это что еще такое?

— Ливерка. Колбаса есть такая, ясно? Два кругляша. Из несъедобного — «хрюндик» — хрипучий магнитофон «Ореанда» с обломанной крышкой и ваш покорный слуга,— моряк глухо пристукнул кисами друг о друга,— который всегда со всеми, когда плохо, и всегда один, когда ему хорошо. Прошу любить и жаловать за откровенность.

Честно говоря, он не ожидал такого приема, такого наскока, в котором можно и голову, и обувь, и шапку-малахай потерять. Хоть у него самого язык подвешен неплохо, но тут, оказывается, языки еще лучше работают. Он поглядел на Любку Витюкову, и вдруг что-то тревожное и одновременно легкое, словно сон перед пробуждением, кольнуло его в подгрудье с левой стороны, подумал, что, наверное, именно такая женщина бывает необходима моряку до слезного стона, до остановки дыхания, до круто шпарящей боли, до приступа, после которого сердце, это вечное «магнето», прекращает свою работу, до полного смятения, до угасающего вздоха... И он сразу погрустнел, будто в нем увяло биение крови. У Генки не было еще своего угла в жизни, крыши над головой, он — подкидыш, воспитанник дет-

ского дома. После детдома — школа-мореходка, где он получил специальность матроса, потом плавание в жарких краях, которые впоследствии ему часто снились, поражали своей беззаботностью, легкостью, а затем — военный флот... И все. И женщины любимой не было, и негде было притулить голову. И невозможно обмануть себя, забыться, лечь, как говорится, на дно.

Сейчас перед ним находились люди, с которыми ему предстояло вместе проработать последующие полторы-две недели, предстояло делить пополам хлеб и соль, костерный дым, тепло, мороз и пургу и даже воду — тоже пополам из одной кружки, потому что места здешние — гниль и болота, вода тут прелая, с ядом, трупная, ею отравиться можно. И надо же, где люди добро для себя нашли, нефть и газ,— и как они только в здешней бездони земляное маслице отыскали, уму непостижимо. Ан нет, выходит — постижимо, раз отыскали... А теперь вот дорогу на Север тянут, чтоб жизнь в места, ранее безжизненные, принести.

Кирпичная бурость окончательно стекла у него со щек, во взгляде появилась веселость, и любопытный кукушонок, спрятанный в зрачках, распахнул свою дверцу, выглянул наружу, вызвездил все вокруг бронзовым порохом — Генка-моряк посмотрел на Любку пристально, и подумалось ему: обязательно что-то должно с ним произойти, а вот что — он не знает. Не дано, неведомо. Он улыбнулся смущенно и, чтобы прикрыть свою смущенность, проговорил грубо и весело:

— Ну что? «Ухо-горло-нос» выставлять на стол? Иль попридержать?

— Горло и нос можешь выставлять, а ухо попридержи, завтра второе из него сготовим...

На это пришелец не нашелся что ответить. И даже про «чики» свои позабыл. Он вертел в руках бескозырку, растирая ее в блин, в плоскотье, в поддымник — лепешку, испеченную на дыму в поде деревенской печи; сковырина, гнездившаяся у него сбоку на репке-подбородке, неожиданно сделалась алой, как ягода брусника, что, судя по всему, было у Генки-моряка признаком наивысшего смущения. Он посмотрел на Любку Витюкову опять, и вдруг в смущенном сознании его, прорывая глухую мертвую тишь, невольно образовавшуюся после Любкиных слов, послышался далекий

звон колокольцев, серебряно-тонкий, словно бронзовой колотушечкой били в хрусталь-стекло, и чудилось ему, что где-то в снегах, в морозе, за тридевятью землями мчится ямщик с новостью, запечатанной в пакете, что скоро ямщик приедет (вон, уже голос колокольцев слышен!), и он, Геннадий Морозов, узнает, что же за новость его ждет, какие же события произойдут с ним и что будет завтра... Так что же будет завтра?

А назавтра снова был мороз.

Пришельцу отвели место по соседству с «диогеновой бочкой» — в так называемом офицерском балке, где жили командиры — четыре мастера смены. Но двое из четырех были в отпуске, на зимней охоте, поэтому Любка Витюкова, комендант балочного городка, застелила одну из свободных постелей чистым бельем, на ней и уложили спать Генку-моряка.

Ночью он скрежетал зубами и тихо, протяжно стонал, ему снилось море, суда, на которых он плавал, все недоброе, вызывающее знобкую дрожь, болью обжимающее затылок, все страшное, что было в его жизни, в его недолгие двадцать два года (двадцать два — это действительно очень немного, а страшное все-таки было). Дважды он тонул, и ему снилось, как он тонет. Первый раз — это когда их хрупкое, маленькое, как полускорлупка грецкого ореха, суденышко шло в караване сквозь льды и их «карапь» зажали огромные голубоватые глыбы. А потом был пиковый момент, когда два ледовых пласта, будто гигантские челюсти, стали выдавливать суденышко на скользкую холодную поверхность, гладкую, как поле катка. Скрипели, трещали и хряпали переборки, полускорлупка то ложилась на один бок, касаясь макушками мачт льда, то на бок другой, в корпусе уже было несколько проломов, и в них хлестала черная дымящаяся вода, винт тарахтел вхолостую, и машина масляно хлюпала клапанами, чихала сизым едким дымом, нагоняя в трюмы угар, а льды терлись о бока скорлупы, стараясь перепилить ее, перегрызть, пустить на дно. А где-то совсем рядом, спрятанная белым яблоневым дымом тумана, угадывалась суша, надежная земля, но не дано было добраться до нее, не дано. Один из матросов не выдержал,

спрыгнул с борта на лед, но промахнулся, угодил в черный пролом и ушел под судно. И долгий печальный крик, сопровождаемый частыми хриплыми вздо́хами пароходной сирены, повис над проливом, над длинной, растворяющейся в белой мгле цепочкой бедствующих судов.

Да, досталось тогда Генкиной полускорлупке — она уже почти полностью была выдавлена на лед, еще немного — и совсем бы опрокинулась, сбросила бы со своей спины в ледовый пролом людей, груз, все сгинуло бы в черной курящейся воде. И вот тогда ледокол, шедший в голове каравана, развернулся на сто восемьдесят градусов, пошел скорлупе на выручку, бросив остальные суда,— те еще могли держаться, а скорлупа уже нет. Обколол суденышко со всех сторон, а потом начал резать лед по косой и чуть было совсем беды не натворил — полускорлупка, словно детская игрушка, легкий пластмассовый кораблик, вылезла на поверхность и завалилась на бок, и когда с нее ушли в темное небо три прощальные красные ракеты, вдруг грохнул залп «катюш», долгий, хрипучий (именно таким бывает залп «катюш», Генка читал в литературе про войну: долгий и хрипучий), под днище полускорлупки стрельнула изгибистая, как молния, трещина, и суденышко беззвучно сползло в обнажившуюся воду, схожую в свете еще не угаснувших ракет с кровью.

Генке запомнилось, как страшно, задыхаясь и скрипя зубами, плакал тогда боцман — человек пожилой, повидавший жизнь и прошедший войну. Боцман ведал то, чего не ведали восемнадцати-двадцатилетние пареньки, матросы, шедшие на полускорлупке.

А второй раз Генка-моряк тонул, когда вез в Японию лес и их «пароходом» командовал сменный капитан (сменный — значит, не имеющий своего судна, работающий на подхвате), человек не молодой и не старый: он тогда стоял в рубке рядом с Генкой Морозовым, посапывал носом, грыз леденец. Сменного капитана мучила головная боль, поэтому был он в капелюхе — побитой временем волчьей шапке. Шапка не имела завязок, и одно ухо капелюха, затвердевшее от старости, смотрело вверх, словно огрызок трухлявого пня, другое, переломленное посередке, свешивалось вниз, и от этого вид у сменного капитана был сиротски-залихват-

ским, как у пирата, которому пора на покой, но у которого есть еще в море дела... В борт ударила крутая шипучая волна, палубу пробила дрожь, и судно вдруг тихо-тихо начало крениться на одну сторону. По полу рубки заскакали карандаши, резинки, циркуль — штурманское имущество. Незакрепленный лес, который был уложен на палубе, сполз на правый борт, еще больше добавив крена.

— С-сейчас потонем, с-сейчас потонем,— зашевелил белыми губами сменный капитан,— с-сейчас потонем... Г-господи, за что? С-сейчас потонем...

А Генка крутил штурвал, пытаясь подставить очередной волне уже не борт, а нос, стиснув зубы так, что в глазах стало темно и во мраке завспыхивали голубые звездочки, но судно, положенное набок, плохо слушалось руля и разворачивалось слишком медленно...

Бревна сгрудились у борта и никак не могли соскользнуть вниз, судно кренилось все больше и больше. «Почему они не соскальзывают, эти тяжелые мертвяки, почему? — вертелся в Генкином мозгу вопрос, сопровождаемый голубыми вспышками, сквозь которые совсем не было видно носа судна, шипучей морской воды и горба приближающейся волны.— Ну почему?» «Карапь» их был польской постройки, а польские лесовозы имеют раскрывающиеся борта — в случае, если груз, находящийся на палубе, сдвинется вбок, то борт под его тяжестью раскроется, и лес соскользнет в воду. «Ну почему не раскрывается борт, почему тяжелые мокрые мертвяки не ссыпаются вниз, почему не раскр-р-р...» — в это время борт с тяжелым скрипучим гудом все-таки провернулся вокруг своей оси, и от этого скрипа весь корпус судна будто током пробило, в длинном плавном прыжке мелькнуло одно бревно, за ним другое, третье, потом лес густо посыпался в воду, погружаясь в кипящую глубь и тут же выныривая на поверхность. «Карапь» начал медленно выпрямляться.

Сменный капитан, стянув с головы капелюх (он уже кажется, дважды или трижды похоронил себя), неверящими, от маеты и боли прозрачными, словно вода, глазами смотрел в оконце рубки на палубу, и густая сизая тень медленно ползла у него по лицу сверху вниз. А губы, сделавшиеся плоскими и дряблыми, продолжали что-то беззвучно нашептывать...

А вокруг, насколько захватывал глаз, расстилалось голубое безмятежное море, словно не было опасности, словно не пронеслась только что над ними черная беда.

И Генка-моряк стонал и ворочался во сне, ловя распахнутым обезвоженным ртом воздух, он словно воду пил и не мог напиться. Боль воспоминаний кипятком шпарила все внутри, он их редко видел, эти страшные сны из прошлого, а когда видел — переносил чрезвычайно тяжело. До крика, до слез, до судорог в груди — так тяжело переносил. И в этот раз тяжело: один из мастеров, живших в офицерском балке, четырежды просыпался и глядел сквозь тьму на задыхающегося во сне Генку, прикидывал — вызывать санитарный вертолет или не вызывать?

Но потом Генка затих, успокоился, зачмокал губами, ровно сосунок-козленок довольный, которому пустышку в рот сунули,— сменный капитан перестал пришептывать дряблыми губами, некоторое время перед глазами стояла ласковая бирюза моря, потом все это исчезло, и из ничего, из прозрачной невесомости вдруг всплыло очень милое насмешливое лицо, яркое, словно цветок, и волнующе нежное — от такой волнующей нежности в раздвоние ребер, в «поддыхе», обязательно вспыхивает что-то щемящее, сладкое, вызывающее хмельное счастливое чувство, боль не боль, а какой-то светлый печальный ожог. Генка улыбнулся во сне. Он видел Любку Витюкову. И еще он видел лето, теплую реку Зею, на которой родился, песчаные увалы, по обочинам которых в дождливую августовскую пору, в песенные ночи рождаются и растут крепкие, как капустные кочерыжки, грибы, видел фиолетовые, в прозрачном дыму сопки, похожие на хлебные краюшки, ровнехонько, одна впритык к другой, усаженные на землю, видел диких коз, гуртом и поодиночке выходящих на соленые гольцы — «посолониться», видел пади, полные духовитой зреющей голубики, темные речушки, в которых водятся усатые, с презрительно-крохотными глазками сомы, ленки — родственники хариуса, разбойные, до оторопи быстрые щуки, видел помидорные грядки чужого огорода, откуда он, голопузым пацаном, крал «бычьи сердца» — огромные, с толстой, кроваво-латунной кожей помидоры, видел сахарно-светлую пыльную дорогу, уходящую вдаль, к горизонту, и там, у этого

горизонта, резко обрывающуюся. Это была дорога Генкиного детства. Но главное — женщина, которую он видел сейчас во сне и которая вызвала у него приступ нежности. Любка, Люба, товарищ Витюкова, комендант балочного городка.

В жизни Генка-моряк относился к женщинам... ну как он относился к женщинам? Да, собственно, никак. В детстве он их не любил, потому что они были похожи на его мать. А мать бросила Генку. Вернее, не бросила, а оставила на попечение своего дальнего родственника, сивого одинокого деда. Однажды дед отправился в тайгу охотиться на коз — хотел мальца свежатиной угостить, да, видать, где-то подвела его древняя ржавая одностволка, либо еще что случилось,— не вернулся дедок из тайги. А дело уже по осени было, сентябрь на дворе стоял, снег выпал, не тот снег — снег новый, все следы позамел — в такую пору человека ни за что в тайге не отыщешь. Это труднее, чем иголку найти в скирде сена, вот ведь как. Остался Генка один, и пошел он ходить, что называется, по рукам — в одном доме обогреют, куском хлеба с сахаром угостят, в другом — половником супа, в третьем — кашей. Потом его в детдом определили. Школу детдомовскую окончил и оттуда уж в моряки двинулся.

Были у него, конечно, женщины случайные, как и у всякого моряка — в нескольких портах зарубки остались, а вот настоящей женщины не было ни одной. Не встретил он пока такую в жизни, не дано. Вся надежда на будущее.

Генка неожиданно сжался во сне, скорчился, обращаясь в старичка, он будто усох, он вдруг начал страшиться Любкиной красы, этой бездони глаз, нежной линии шеи и притеми в подскульях, всего радостного и яростного, что было сокрыто в ней, в ее жизни — он знал, чутьем понимал, что красы надо бояться, что сам он низкоросл и клещист, и холодная краса над ним посмеется, но перед этой красой, теплой, милой и близкой, он устоять не мог — так и тянуло к ней, так и хотелось вывернуться наизнанку, совершить что-то благородное, самоотверженное, достойное рыцаря-мужчины.

Генка-моряк почмокал во сне слежалыми губами, звук был бессильным.

Но он верил в то, что в конце концов прибьется к берегу, что плывет он в нужном направлении — не куда волна вынесет, а плывет сам, вот так. Он плывет к ней, к Любке Витюковой, он влюбился в нее, вот ведь какая история, расскажи детдомовским — ахнут. И что-то щекотное, печальное и светлое, что нельзя определить словами (на это талант Пушкина надо иметь), охватывало его, погружало в тревожную прохладу свою, и сердце начинало убыстрять бег и молотило так, что не остановить, не удержать его.

Утром он проснулся рано, когда ночь еще лила в оконце офицерского балка густую чернь, и долго лежал с открытыми глазами, думая о жизни своей, о людях, с которыми его свела судьба, и каждый раз — вот ведь лихомань какая! — мысли его, ускользая из-под контроля, делали зигзаг и возвращались к Любке Витюковой, статной комендантше с насмешливым взглядом, ни на кого не похожей. И глухая, далеко запрятанная тоска шевелилась в нем, и он понимал, в чем причина. В неизвестности, которой было, словно дымом, окутано будущее, в ощущении, что должно что-то произойти.

Наш отряд строил насыпь для будущей дороги, которую тянули на Север, Генка-моряк к нашей работе никакого отношения не имел, он приехал сюда по «газовым» делам — проверять здешний газовый шлейф — переплетение труб, железной сеткой опутавших землю. Очень часто трубы забивались пробками смерзшегося газа, тугими, будто из чугуна отлитыми тычками, работать с таким шлейфом — мука. Вот Генка должен был газовиков-операторов от этой муки и освободить.

Но пока не подъедет передвижная паровая установка (газовые пробки разогревают, разжижают паром, огнем нельзя — может рвануть), пока не подъедет напарник Алик, дел у Генки-моряка — нуль. Хочешь, по балочному городку слоняйся, хочешь, лежа в потолок слюной цыкай, либо считай, сколько в нем заклепок и сгустков краски, хочешь, на охоту лыжи востри. Дичи тут много, газовики, что здесь бывали до него, рассказывали. А на охоту, право слово, сходить Генке надо, он знает такой способ добычи боровых птиц, такой способ, что... В общем, он еще удивит местную публику.

В семь часов утра гулко, будто ревел слон, затараторил-захрипел «матюгальник» — динамик, подвешенный на столбе и включенный на полную мощность. Генка даже вздрогнул, когда динамик выдал на-гора первую порцию хрипа. Потом сквозь хрип прорезались какие-то частые, один за другим, почти без передышки удары — Генка определил: барабан — это для обитателей «диогеновых бочек» звучала, так сказать, бодрая вдохновенная музыка зарядки, под которую все должны были делать пресловутые физические упражнения, а заодно и испытывать свои нервы (выдержать этот хриплый «там-там» было непросто, но в балочном городке жили ребята крепкие и не такое переносили, кое-кто даже на хозяина тайги один на один выходил и со стаей волков лоб в лоб сталкивался). Потом барабанная дрызготня улеглась, и простуженный, какой-то дырявый, голос потребовал, чтобы товарищ Лукинов и товарищ Пащенко (прозвучало довольно официально) срочно явились в прорабский балок, а вместе с ними водитель машины-водовозки.

В оконце офицерского балка по-прежнему лилась беспросветная чернь — утро тут наступит не скоро, дай бог часов в одиннадцать-двенадцать, на два с половиной часа вызвездится день, и потом снова на здешнюю землю опустится ночь, стылая, с морозным щелканьем и далеким, придушенным сугробами голодным волчьим воем, фырканьем спящих под снегом птиц, едва ощутимым, вызывающим мурашки на коже движением в глубоком земляном мешке черной пахучей жижи — нефти, тяжелыми вздохами скапливающегося в горловине мешка газа.

Днем по зимнику доставили пароустановку, а к вечеру, уже в темноте, на вертолете прибыл напарник Алик — такой же, как и Генка, низкорослый, с плоским лицом, украшенным густыми и на удивленье длинными и пушистыми, как у Буденного, усами (и как он только умудрился их отрастить в двадцать с небольшим лет — одному богу известно), неразговорчивый. По устоявшейся армейской привычке (Алик всего три месяца как из армии) приложил руку к шапке, коротко доложил:

— Прибыл в твое распоряжение.

Генка усмехнулся.

— Что, гвардии ефрейтор, маминой-папиной лаской

воспитанный, на роду генералом быть нареченный, отстрелялся на старом месте?

— Так точно!

— Вчера где был? — спросил Генка-моряк, хотя знал, где Алик был,— спросил для строгости, для порядка, как начальник спрашивает своего подчиненного.

— В Урае.

— Урай — не рай, вещички собирай? Ага?

— Так точно!

— «Так точно, так точно»,— сморщился Генка, сдвинул рот по диагонали, передразнивая Алика,— ты хоть бы десяток других фраз выучил, какие-нибудь слова более человеческие, что ли.

— Слушаюсь!

— «Слушаюсь, слушаюсь...» Ну и старшина же у тебя в роте был. Он что, только такую речь и признавал?

— Никак нет.

— Тьфу! — сплюнул Генка, колупнул ногтем заковырину, гнездившуюся у него на подбородке.— Я те что, старшина иль комвзвода, чтоб со мной на таких сухих рысях изъясняться? («Ого, куда задвинул, какой поэтический образ придумал: «на сухих рысях»,— мелькнуло в голове у Генки удивленное, мелькнуло и тут же угасло.) Тут, в отряде, девчонки такие работают, что по вечерам надо фраки надевать и беседы вести самые что ни есть тонкие... М-м-м... «Шарман»,— вспомнил он трудное слово.— Ясно?

— Так точно!

— «Так точно, так точно...» Вот те, а? Поезд, идущий на восток... В шесть часов вечера после войны,— начал дергать плечами Генка, передразнивая Алика, хотя и понимал, что он не прав, но остановить себя не мог. Потом вдруг споткнулся, словно ему, как в боксе, нанесли удар в поддых,— он увидел Любку Витюкову. Та шла по тропке, проложенной между «диогеновыми бочками», перепрыгивая через мослы — гнутые коленчатые переплетения отопительных труб, которыми балки были соединены между собой (балок, отапливаемый печушкой-буржуйкой, холодный, трескучий, неудобный — он уже ушел в прошлое, ныне изготовляют «бочки», которым Диоген обязательно бы позавидовал, с центральным отоплением, с умывальниками). Любка

шла к ним — ближе и ближе, Генка похмыкал в кулак, разгреб ладонью воздух перед ртом: «чик-чик-чик-чик», вытянулся, стараясь казаться повыше, сравняться ростом с Любкой, да вот оказия — не получалось насчет «выше» у Генки. Если только к кисам десятисантиметровые каблуки прибить.

— Ну как живется новоприбывшим? — спросила Витюкова.— Не скучаете?

— Никак нет! — ответил Алик.

— Скучаем,— ответил Генка-моряк.

— Раз скучаете — приходите в гости, чай будем пить,— пригласила Любка, и у Генки-моряка что-то острое защемило в горле, будто хватил крутого морозного воздуха. Он чуть не закашлялся, но сдержался, стер со щеки слезку, улыбнулся: выходит, они с Аликом небезразличны ей, вот какая история, вот какое открытие... И словно бы таежным черемуховым цветом запахло, тягучим, прозрачным, горьким, от которого хорошо на душе становится. А в звонкие морозные охлесты, в щелканье стужи вдруг вплелись щелки и трели соловья, и весна вроде бы опустилась на землю, хотя время ее наступит еще очень не скоро. «Любка, Любка,— вдруг забормотал мысленно Генка-моряк,— что же это происходит, а?»

— Выше нос, товарищ Чик-Чик,— сказала ему Любка, и Генка встрепенулся, приходя в себя, будто воробей, на которого сыпанули водяным горохом. Любка усмехнулась и пошла по снежному стежку дальше, ловко перепрыгивая через мослы, а Генка-моряк задвигал кадыком, сглатывая тягучую, черемухового вкуса слюну, потом спросил у Алика:

— Видал?

— Так точно!

— Корабль высшего класса! Чик-чик-чик-чик... Крейсер новейшей постройки с атомным вооружением,— Генка споткнулся на полуфразе, понимая, что говорит нечто недостойное Любы, что все это пошло — сравнивать человека, тем более женщину, с кораблем, но такой характер был у Генки — вначале он произнесет слово и лишь потом обдумает его. Нет бы наоборот. Хотя сравнение с кораблем означало высшую похвалу у бывшего моряка Генки Морозова.

Алик с интересом посмотрел на своего начальника,

расправил обмахренные густым сверкучим инеем усы, окутался паром, словно локомотив перед отправкой в дальнюю дорогу.

— Ладно, двинули! — сказал ему Генка-моряк.— Нам с тобой два места в офицерском балке отвели. Хоромы такие — танцевать можно. Пошли! Времени у нас немного — на то лишь и хватит, чтобы твои усы нафабрить. А?

Алик не ответил. Генка первым двинулся в балок. Он понимал и не понимал, что с ним происходит. В нем рождалось, а вернее, прорезалось, словно зуб мудрости, что-то новое, до поры до времени, как оказалось, хитро замаскированное в нем самом же, и это новое было облачено в красивую одежду, приносило сладкую боль, думу о чем-то несбыточном и восторженном — и вот надо же! — нет бы этому новому проснуться где-нибудь в заморской стране, где есть все «условия» для любви, «атрибуты», что ли,— пальмы на песчаном белом берегу, по которому ползают прозрачные крабы, совсем рядом лижет мокрую кружевную кромку ласковая бирюзовая вода, воздух гудит от тепла, чернокожие кудрявые мальчишки торгуют кокосовыми орехами. За поясом у каждого мальчишки — нож, даешь пацаненку серебряную монетку, он ловким коротким движением сшибает макушку у кокосового стакана, протягивает его тебе — и ты пьешь молоко, прохладное, солоновато-сладкое, приятное. Да, тут уж сам бог велит дурману любви ударить в голову. А вот в тайге, в лютый мороз, когда все живое боится высунуть нос наружу — тут уж, как раньше считал Генка-моряк, любовь — вещь редкая, диковинная. Ее тут и вовсе быть не может: она в оледеневшем законсервированном состоянии находится. Придет тепло — кругом все оттает, тогда и наступит черед любви — Генка остановился, покрутил головой — что-то не то в голову лезет, какие-то детские выспренности, примитивные мысли: любовь же не картошка, которую хранят до поры до времени, а потом, по команде свыше или по собственному велению, перебирают на складах и отправляют в овощные палатки. Любовь — это... это морской шквал, что как влепит кораблю в скулу, у того трещат и хряпают переборки, все косточки на излом испытание проходят — едва на «ногах» «карапь» удерживается.

Генка-моряк снова усмехнулся — ну и чушь же!

И вместе с тем хорошо, что он попал сюда, в балочный городок, к ребятам, которые тянут на Север железнодорожную нитку. Он улыбнулся от прилива внутренней теплоты, но тут же — откуда только такая переменчивость взялась — в нем возник какой-то странный испуг — ведь все могло сложиться так, что он не попал бы в этот балочный городок, попал бы в другой, тут воля его величества случая: по разнарядке он мог проводить ревизию не на здешних шлейфах, а на других, и тогда все — не видать бы ему Любки Витюковой, как собственных ушей, извините за выражение. Бесприютное, тягостное чувство, дремавшее дотоле, свернувшись в клубок, распрямилось, выпростало из мякоти жесткие острые когти, впилось ими в обнаженную плоть, вот и возник в Генке-моряке испуг.

На чай у Любки Витюковой собралось народу довольно много, и это был действительно чай, без какой-либо выпивки,— самый что ни есть натуральный чай. В балочном городке был сухой закон, вино пили только по праздникам. Когда на прошлой неделе в городок приехало начальство из области, то у хозяев под рукою даже фронтовых ста граммов не оказалось, чтобы отогреть озябших приезжих. Пришлось посылать Пащенко на «гететешке» (гусеничном тягаче-быстроходе ГТТ) за шестьдесят километров по зимнику в старое рыбацкое село за коньяком.

Генка с Аликом вошли в предбанник «диогеновой бочки», потоптались, счищая с обуви намерзший снег, Генка выставил из-под шапки ухо, уловил за дверью шум, звуки музыки, приподнял свой «хрюндик», который цепко держал за пластмассовую дужку,— зачем он со своим самоваром в Тулу притащился, тут и так музыки много, потом махнул рукой — а-а, была не была! — толкнул дверь вперед, вваливаясь в хорошо прогретое нутро балка, потряс ладонью у рта: «чик-чик-чик-чик!»

— Забавно. Надо ж, а... Как воробей. А я думал, что все воробьи уже перемерзли,— взглянув на Генку, восхитился согнувшийся над электрической плиткой парень. Был он высок, белес, глаза имел холодные, цвета дождя в сентябрьскую пору, была сокрыта в них твердость, жесткая серьезность уверенного в себе человека, скулы — хорошо очерченные, щеки впалые, под-

бородок — ладно сработанный, крутой, до глянца выскобленный бритвой, движения — точные, короткие. Это был старший мастер Ростовцев, человек в здешних местах известный. На плитке шкворчала, плевалась лопающимися пузырями яичница.

— Еще минута терпения, и щетина превратится в золото,— сказал Ростовцев, подковырнул ножом яркий, одуванчикового цвета, отонок яичницы.

— Здравия желаю! — поздоровался Алик.

— В каком звании-то? — поинтересовался Ростовцев.

— Гвардии ефрейтор,— ответил Алик.

— Я — рядовой необученный,— сказал Ростовцев, и Генке-моряку почудилось в его голосе обидное превосходство, он даже не понял поначалу, откуда идет оно, это превосходство, а потом сообразил: Ростовцев намекал, что он, руководитель, самое низшее военное звание имеет, но это ничего не значит — ему подчиняются и майоры в отставке, и капитаны, и старлеи — старшие лейтенанты, не говоря уже о «мелочи» — сержантах и ефрейторах. Но Ростовцев продолжил просто, без какой бы там ни было рисовки: — В институте у нас, когда я на втором курсе учился, военную кафедру отменили... Вот и остались все мы рядовыми необученными. Готово! — объявил он, поднимая сковороду за длинную ручку.

В «диогеновой бочке» было довольно много народу — тут был и сменный мастер, которому Генка-моряк мешал сегодняшней ночью спать и фамилии которого не знал, были Лукинов («Лукинов Пе Пе»,— вспомнились слова Любки) и диспетчерша Аня, молчаливая, с крупными блестящими глазами, с тяжелой гривой волос, гибкая, как проросший по весне тростник, был тут и Пащенко, но он пока оставался где-то за пределами Генкиного сознания, жизнь его проходила мимо него, не задевая, не оставляя затесин, но Генка чувствовал, обостренным нутром чуял, что с бригадиром бульдозеристов ему вскоре обязательно придется иметь дело.

— Проходи, товарищ Чик-Чик,— сделала жест рукой Любка,— и гвардии ефрейтора приглашай. И нечего стесняться. Не на выданьи.

Генке захотелось скопировать Аликово: «Слушаюсь!», но он сдержался, молча кивнул, прошел к стенке, сел, поставил «хрюндик» себе на колени.

— Музыка от мороза не заржавела? — спросила Любка.

— Не должна,— ответил Генка,— она на минус шестьдесят испытание проходила,— нажал на клавишу, магнитофон выдавил из нутра что-то хриплое («хрюндик» есть «хрюндик»), потом прочистил голос, и возникла мелодия. Мелодия оказалась свежей, сильной, как лёт отдохнувшей птицы, Генкино лицо стало гордым и мечтательным.

Ростовцев пронес яичницу к столу, опустил сковороду на подставку. С Генкиного лица гордое и мечтательное выражение стерлось — он неожиданно увидел, как кротко, ласково, с каким-то потайным желанием посмотрела на Ростовцева Любка Витюкова, она словно бы оглохла враз, смешливость стаяла с ее лица. Сухая мосластая рука сдавила Генкино сердце, ему вдруг стало не по себе, он чуть не охнул, обида сдавила болью виски, вбила в горло резиновую пробку — ни вдохнуть, ни выдохнуть. И еще один взгляд перехватил он, зоркий человек Геннадий Морозов,— диспетчерши Ани, Аня тоже на Ростовцева глядела, отметил машинально, что глаза у нее редкостного цвета, сизого с чернотой, в них погружаешься, как во тьму, только с фонариком ходить, и то не всегда дорогу различишь. Сдавил дужку «хрюндика», притискивая его к коленям — вон ведь какая история получается. Влип ты, Гена. Заморгал часто, кручинясь.

К Генке-моряку подсел Пащенко, зажал в оплетенной толстыми узловатыми жилами руке подбородок.

— Ну что, служивый, обвыкаешься? — спросил он глухим промороженным голосом, вытянул длинную жилистую шею, глядя, что же за яичница там получилась.— Чего на Ростовцева окуляры нацелил? Красивый парень, да? — Генка кивнул, а Пащенко продолжил: — Москвич, столичная кость. Жена у него с ребенком имеется. В городе живет. Красивая. Только пухлая, как белый батон.— Покашлял в кулак, в простуженном нутре его захрипел, зачуфыркал старый усталый движок, потом раздался вздох, будто паровоз отработанные пары спустил.— И у Любки тоже своя семья есть... Муж вышкомонтажником у нефтяников работает. Только, похоже, не клеится у них что-то, обрыв ленты произошел. Заменят ленту в одном мес-

те — рвется в другом.— Пащенко оторвал руку от подбородка. Костлявый подбородок у него, странное дело, был конопатым — лицо чистое, а подбородок в коричневатых весенних брызгах.— Любка даже в город на воскресные дни не ездит — все норовит в балке остаться. Без выходных работает. Ударница,— проговорил он с тихим сочувствием.

Вокруг сковороды с яичницей возникла колготня, шум, каждый тянулся со своей вилкой, норовил подцепить кусок поаппетитнее.

— А ты, Пащенко, чего в стороне сидишь?

— Я в столовой был,— уклончиво ответил Пащенко, поскреб пальцем кадык,— во как напитался.

— Столовая столовой, а домашняя пища лучше.

— Тоже мне, домашняя пища — яишня!

— Что-то ты, дядя, брюзгой становишься,— заметил Ростовцев.— Возраст, что ли?

Вошел Лукинов, кругленький, в затуманенных с мороза очках.

— Товарищ Лукинов Пе Пе, вас приветствует яичница. К столу! — скомандовала Любка.

— С удовольствием, Любовь Сергеевна, с удовольствием,— Лукинов бодрым шариком подкатился к столу.

— А ты, Пащенко? В последний раз приглашаю.

— Не-е, мы с моряком сыты. Во как сыты,— окончательно отказался Пащенко, снова склонился к Генкиному уху.— Девять лет уже Ростовцев у нас в Сибири работает. Раньше он трубу тянул, сейчас на железную дорогу перешел. Однажды он такое сотворил — все газеты писали. С бригадой трассовиков в весеннюю слякоть сорок километров трубы выдал. У всех машины встали, в болото по самый пупок увязли, а у него — нет. Даже чужие машины, которые летовать до морозов остались,— и те вытащил. Не только свои не утопил, а и чужие спас. После этого у него сердечный приступ случился. От рабочего перегрева! Его на вертолете в больницу, в кровать уложили, а он через день оттуда сбежал.

Ростовцев тем временем веселил за столом компанию, и Любка смотрела на него влюбленными глазами, и диспетчерша Аня.

Генка, которого во время пащенковского рассказа

оставило было ознобное, щемяще одинокое чувство, снова почувствовал себя сирым, забытым и даже позавидовал Алику, который как ни в чем не бывало расправил свои легендарные усы, молча подсел к столу; Генка же, Генка так не мог, не умел — у него сразу бы задрожали руки, голос бы увял, ноги сделались чужими, негнущимися, будто огузки бревен — чураки метрового распила.

Он вслушался в звук «хрюндика», в печальную, как одинокий звездный свет, мелодию, вздохнул. Переключился на разговор, который вели за столом. Говорил Ростовцев. Как оказалось, рассказывал историю про Лукинова.

— Еду я на «жигуле» на юг, в отпуск. Ирина рядом сидит, беби — на заднем сиденье...— Генка-моряк понял, что Ирина — это жена Ростовцева, подумал, что Любка при упоминании этого имени должна бы сморщиться, увянуть, погасить свет в зрачках, а она хоть бы хны, даже бровь вверх не приподняла, не отвела взгляда.— Включил я радио, чтобы скучно не было... А то ведь дорога усыпляет... Слушаю, значит, что там на нашем глобусе творится. Очерк передают. И слова уж больно знакомые, будто песня, которую слышал по меньшей мере раз двести пятьдесят: «люди, обживающие суровый край», «дорога, принесшая в старое таежное село новую жизнь», «тундра, в которую пришло человеческое тепло» и так далее. Говорю Ирине: «Это, мать, по-моему, про нас...» А когда произнесли «серозеленый покров» — про ягель,— то тут совсем все стало понятно. И вдруг: «Вот люди, которые победили природу, протянули нитку железной дороги сквозь тайгу и болота». Слушаю дальше — ба-ба-ба! Про Лукинова речь тот диктор глаголит,— Ростовцев бросил взгляд на Лукинова, и тот, тихий, незаметный, налился краской, щеки заалели, будто маки,— про то глаголит, как мастер участка товарищ Лукинов железную дорогу на Север тянет, впереди всех идет и, представьте себе, молотком размахивает. Знаете, почему молотком размахивает? — спросил Ростовцев и, поскольку никто не ответил, продолжил: — Героизм проявляет. Волков этим молотком отгоняет. И словесный портрет товарища Лукинова дают — невысокий, в очках, с мужественным взглядом.

Все посмотрели на Лукинова. Генка почувствовал, как тот сжался, вдавил голову в плечи.

— Вернулись мы, значит, из отпуска, я вызываю к себе Лукинова. «Знаешь,— говорю,— тут про тебя по радио очерк передавали».— «Нет,— отвечает,— не слышал. А что передавали-то хоть?»

— Лев Николаич! — попросил Лукинов.

Но Ростовцев на эту просьбу ноль внимания.

— Да передавали, говорю, что Лукинов — маленький, суетливый, с запотевшими очками и мутным взглядом, неряшливый, пуговицы на пиджаке оторваны, воротник рубашки засаленный...

Все снова посмотрели на Лукинова — соответствует ли портрет истине?

Лукинов опять попросил Ростовцева:

— Лев Николаич!

— Понимаю, ты —начальство, ты — мастер участка, мой, значит, зам, а авторитет начальства ни в коем разе подрывать нельзя... Но мы ж тут все свои, все ИТР, так сказать,— инженерно-технические работники...

У Генки щеки почему-то набухли жаром: он же не ИТР. И напарник его, Алик,— тоже не ИТР. Но потом Генка подумал, что человек он здесь посторонний, временный, ИТР не ИТР — какая разница? У него свои заботы, у здешнего строительного отряда — свои. Объединяет их только одно: общая жилая площадка.

Только ли? А Любка Витюкова?

— Тут-то мой Лукинов и полез на стену,— продолжал Ростовцев,— зарычал, словно царь пустыни: да я этих корреспондентов! Месяц бушевал, а потом оттаял.

«Диогенова бочка» смеялась.

Лукинов напрягся, будто жидким свинцом налился, маленький, круглоголовый, с неожиданно стреляющим взглядом, чувствовалось, что он на пределе — вот-вот и скажет что-нибудь резкое, злое. Но Лукинов сдержался, а Ростовцев произнес:

— Смех и шутка, дорогой Лукинов, все равно что лекарство, которое в аптеке, прямо скажем, не достанешь. Жизнь, говорят, удлиняет. Не обижайся, ладно?

— Для того чтобы согреться, дорогой Лев Николаевич, вовсе не обязательно сжигать собственные корабли,— тихо, чуть ли не шепотом произнес Лукинов.— На них ведь еще и плавать можно.

В балок набился народ, гомона добавилось, много танцевали, потом пробовали затянуть песню, но общности не получилось, голоса были разнобойными, никак не собирались в единое целое, снова шаркали подошвами по линолеумному полу «диогеновой бочки».

Генка-моряк несколько раз станцевал с Любкой, ощущая рукой сквозь простенькую ткань платья шелковистую гладкость ее кожи, упругость мышц, и что-то хмельное било ему в голову, и губы начинали дрожать. Но он ловил насмешливый Любкин взгляд, и странная беспомощность проходила, будто в лицо ему брызгали холодной водой — от прежнего оставалось только то, что заковырина кожи на подбородке наливалась клюквенным соком, краснела, будто несорванная ягода на снегу, выдавая Генкино волнение.

В один из танцев он вдруг поймал острый и жесткий взгляд Ростовцева, похожий на укус, такой взгляд был больной, будто удар током. Почувствовал, как на шее выступил пот: Любка-то была на голову выше его. Успокаивая себя, подумал, что это не повод раскисать, и смущаться не надо — ну что из того, что выше?

— Рассказал бы что-нибудь, морячок,— Любкины глаза были подведены нежным голубым карандашиком, лицо ее стало от этого еще более привлекательным — никакой другой косметики, как заметил Генка, Любка Витюкова не употребляла. Нос тонкий, резковато очерченный, с трогательно приплюснутыми ноздрями, что выдавало какое-то детское удивление. Генке по вкусу, честно говоря, были лица более простые, без краски, обработанные ветром и солнцем, но Любкино лицо, надо отдать справедливость, было лучше лиц простых, которые Генка немало встречал в своей жизни.— Рассказал бы, как плавал, в каких морях-океанах, какие жаркие страны видел...

Любка Витюкова посмотрела в сторону, и Генка-моряк перехватил этот взгляд: к Ростовцеву подсела диспетчерша Аня, наклонилась, произнося что-то тихо, и в Любкиных зрачках забегали гневные солнечные зайчата, шустро перемещаясь с места на место. Горечь возникла у Генки во рту, он закашлялся, покрутил головой:

— Чик-чик-чик-чик... Воздуху глотнул не так. Не в то горло попало.

Любка дохнула в его лицо теплым, оживляя.

— Плохому танцору всегда что-нибудь мешает. Ну так как же насчет розовых стран и голубых морей?

— Почти никак,— сказал Генка.— Сегодня ночью я проснулся мокрый, как мышь. Видел во сне, как тонул.

— А тонул?

— Дважды.

— Понятно,— медленно произнесла Любка.

— А однажды у меня был случай, когда я ночью задыхаться начал. Не хватает воздуха — и все тут. Это я, оказывается, во сне нырнул глубоко — с маской нырнул, а когда поднимался наверх, то увидел, что там ходят три ската. И застрял на полпути. Проснулся оттого, что у меня в легких кончился воздух, и тоже был мокрый, как мышь. Во сне воздух этот кончился.

— Скаты — это страшно?

— Током сильно бьют и хвостами искромсать здорово могут. Хвосты у них костяные, острее ножа. Бьют хватко, ногу пополам перерубают запросто. А в океанской воде не только поруб, там даже царапина опасна — если у тебя пошла кровь, то тут же примчатся на запах акулы либо барракуды.

— Барракуда — серьезный зверь?

— В следующий раз я тебе в подарок челюсти барракуды привезу, у меня есть одни. Это пострашнее и покрепче, чем челюсти волка. Вот и суди — серьезный зверь или несерьезный.

— С маской когда нырял,— чего доставал?

— Разное. В основном ракушки.

— Расскажи.

Генка заметил, что Ростовцев не слушает диспетчершу Аню, он — весь внимание, и смотрит на них, и вроде бы даже участвует в их разговоре, напрягшись всем своим резковатым твердым лицом. А Аня говорит и говорит ему что-то на ухо, и волосы ее, тяжелые, черные, со смолистым блеском, плотным крылом легли с одной стороны на его плечо, а с другой — закрыли ее лицо.

— Расскажи,— снова обратилась к Генке-моряку Любка Витюкова, и голос ее был требовательным,

капризным, громким,— расскажи про свои экзотические ракушки.

— Самые красивые ракушки мы прозвали довольно грубо, не для женского уха,— Генка привычно зачичикал, прикидывая, не покоробит ли это Любкин слух. Потом подумал, что ей и не такое слышать приходится — она даже мат от разъяренных чем-нибудь трассовиков выслушивает.— Ну вот есть такая, например, ракушка, цветастая, рябая, на курицу похожая — свиным ухом называется. У меня имеется в заначке две штуки, одну я тебе вместе с челюстями барракуды могу подарить. Хочешь?

— Подари.

— Она блескучая, словно лаком покрытая. Добыть ее со дна несложно, сложно извлечь внутренности из раковины. Если выварить ее, как рапану, она блескучесть свою потеряет и перламутр тоже потеряет. Так мы исхитрялись и поступали так: клали ракушку на солнце посередь горячей палубы, клали в неудобном положении. Специально, чтобы она ногу показала. Когда ракушка выпрастывала свою пятку с ороговелой монеткой на конце, то ее поддевали крючком за эту монетку и подвешивали на тросе. За ночь она и вываливалась полностью из раковины. Вот и все, бери и ставь после этого костяшку в свою коллекцию.

— Интересно.

— Есть спиралеобразные ракушки... Их по науке еще витыми называют,— продолжал, увлекаясь, Генка, совсем не замечая, что музыка уже стихла, танцующие расселись по углам, и они одни находятся посреди «диогеновой бочки», перебирают ногами в танце, который уже отзвучал,— но мы науку по боку и звали их морковками. Добывают морковок так. Вернее, не самих морковок, а панцири. Вылавливают ракушку и ввинчивают штопор в мякоть. И потом в чайник с кипятком кладут. Сварят и штопором выдергивают мякоть. Как пробку из бутылки.

— Я в прошлом году на юге, в Сухуми, была, видела там, как рапан ловят. Интересно.

— Черноморские рапаны — это что-о... Мелочь пузатая. В микроскоп надо разглядывать. Вот нам попадались рапаны — ого! Величиной с суповую кастрюлю,— тут Генка осекся и замолчал, почувствовав внезапно,

что музыки нет, что он увлекся, и Любка Витюкова до сих пор не окоротила его.

— Бис! Браво!— захлопал в ладони Ростовцев.— Люб, ты что, в горячие страны, в Крокодилию, на море за ракушками собралась? Инструктаж получаешь?

— Ну и что? — тряхнула головой Любка Витюкова.— И получаю инструктаж! Ну и что? Можешь в свою очередь Ане дать инструктаж. Видишь, она ждет, сомлела даже...

Генка-моряк увидел, как дернулась Анина голова, и обиженной светлиной налились ее глаза, виски покраснели. Поразился Любкиным словам — резки они были. Подумал, что Аня обязательно должна ответить, но Аня смолчала.

Заговорил Ростовцев. Произнес задумчивым голосом:

— Добро, сделанное врагом, так же трудно забыть, как трудно запомнить добро, сделанное другом. За добро мы платим добром только врагу, за зло мстим и врагу и другу.— Покачал головой.— Это не я, это Ключевский Василий Осипович, великий историк, сказал.

Любка усмехнулась, вечерняя тень быстро проползла у нее по лицу, и Генке показалось, что это неспроста: что-то такое, о чем он не знает, связывает Ростовцева и Любку Витюкову. Но вот что? Ведь Любка-то — известная недотрога. И муж у нее есть... Он попробовал развивать предположения дальше и даже похолодел от однозначности мысли, промелькнувшей у него в голове, выругался про себя — как он смог, как сумел подумать о ней такое?

— Впрочем, все это ерунда, фраза, не больше,— услышал он голос Ростовцева.— Действительно, фраза. И все тут. Вернемся на круги своя и начнем по новой.— В последних словах Ростовцева Генке почудилось что-то недоброе и опасное для него, для его привязанности, которую он питал к Любке.

Раздался печальный высокий звук скрипки — это пауза в магнитофонной кассете кончилась, и снова пошла музыка, и снова пары двинулись из своих углов на середину «диогеновой бочки». Любка, не снимая рук с Генкиных плеч, переступила с места на место, сильным коротким движением заставила Генку-моряка

сдвинуться с точки, на которой он застыл, и начать новый танец.

— Тоже мне начальство,— шепотом, в себя, произнесла Любка,— пуп межпланетный, в десяти шагах не видно. Если б он дальше пошел, я бы мокрым полотенцем его отхлестала. Он мне не муж, и я ему не...— прикусила язык, увидев, как обузился лицом Генка. Спросила: — А ты что, никогда не был женат?

— Не был.

— И детей нет?

— Откуда ж они возьмутся, если жены нет?

— Ну, всякое бывает. Вон у Ростовцева, например, есть. И в своей семье и вне семьи.

— Меня это не интересует.

— Правильно, товарищ Чик-Чик.

— А у тебя правда муж есть?

— Есть. Только...— она издала губами тонкий секущий звук,— и есть и нет. В общем, кончится зима — уеду я отсюда ко всем шутам... на Большую землю уеду.

— Понятно. Мужа с корабля за борт смыло. А дети?

— Дочка у меня есть,— на Любкином лице проступило что-то мягкое, мечтательное.— На Большой земле живет. У бабушки.

— А муж?

— Что муж? — На мягкость наложилось раздражение.— Что муж? Объелся груш он, вот что. Работает вышкомонтажником в соседнем управлении, у нефтяников. На Украине мы с ним познакомились, приехала я за ним сюда, как нитка за иголкой, а жизни не получилось.

— Встречаешься с ним?

— Боюсь,— призналась Любка.— У нас каждую субботу вертолет людей в город возит, а я не летаю, сижу, как дура, в балке, ни шагу из тайги. Никуда не вылезаю — боюсь с мужем встретиться. У нас же жилплощадь одна на двоих. А комнат всего одна. В Шанхае, знаешь?

Генка знал окраину города, состоящую из наспех сколоченных домиков-засыпушек, прозванную Шанхаем. В этих домиках поначалу жили первопроходцы, потом они переселились в нормальные квартиры, их место заняли вновь прибывшие — они тоже получили

свое жилье, но и опять Шанхай заселило пополнение — квартир пока не хватало, поэтому еще рано было сносить засыпушки.

— Уеду я на Большую землю. Месяц май наступит — и уеду,— вдруг с щемящей, какой-то стойкой болью произнесла Любка Витюкова, поймав косой взгляд Ростовцева, сдавила руками Генкины плечи.— Нельзя так больше жить.

У Генки холодом подернуло скулы, он стиснул зубы так, что желваки вздулись двумя неровными буграми, подумал, что в этом наверняка Ростовцев виноват; судя по всему, он к Любке пристает... Надо с ним поговорить. Как мужик с мужиком. В крайнем случае сунуть кулак под нос — такой язык испокон веков был весьма убедительным и Генку ни разу не подвел.

— Не надо тебе уезжать на Большую землю,— сказал он рассудительно, помахал ладонью перед ртом,— тут, чик-чик-чик-чик, твое место. Тут, а не там.

Любка улыбнулась печально: ах ты, товарищ Чик-Чик, товарищ Чик-Чик. Покачала отрицательно головой.

— Нет, морячок.— Посмотрела на Ростовцева.— Ишь, Аня-то как за начальство держится. За руку, словно дите малое.

И опять щемящие глухие нотки прозвучали в ее голосе — тосковала Любка о чем-то. То ли о Ростовцеве, то ли о родине своей, о Большой земле, о цветущем мае, когда все яблони и вишни в белом дыму, то ли о своей дочке, находящейся в добрых трех тысячах километров отсюда.

Генка уловил эту тоску, и ему тоже сделалось печально.

Через час все разошлись. Последней, кого пошла проводить Любка Витюкова, была диспетчерша Аня.

В «диогеновой бочке» остались двое: Ростовцсв и Генка-моряк, оба, казалось, и не собирались уходить.

— Спортом занимаешься? — спросил Ростовцев.

— Занимался.

Генку обдало горьким травяным духом: словно этой морозной ночью начали расцветать чернобыльник и мягкая серебристая полынь, словно будни прошлого

потекли перед ним, наполненные живым запахом цветов, травы, воды, камней, прибоя, песка, пены, водорослей, злаков, птиц, одежды, дерева, рыб, хвои, железа, смолы, солнца, тумана, словно он начал жить по новой:

И ему снова предстояло пройти многое, что уже осталось позади.

— Мускулы как? — спросил Ростовцев, который каждое утро делал зарядку, по тридцать раз поднимал двухпудовую гирю.

— Ой вы, мускулы стальные, пальцы цепкие мои?

— Попробуем? — предложил Ростовцев, сгреб чайные чашки, стаканы в сторону, очистил угол стола, постучал пальцами по пластмассовой жесткой поверхности: не продавится ли? Водрузил свою руку на стол, посмотрел на Генку-моряка в упор.

— Ну!

Генка понял, что Ростовцев предлагает потягаться, кто кого, чья рука крепче. Подумал, что ему нелегко придется: руки у него не ахти какие сильные, да плюс ко всему правая у него сломана в детстве. Он тогда погнался за удравшим из клетки голубем, и тот забился в огромный склад лесин, в прогал между бревнами, и Генка, не задумываясь, нырнул следом. Бревна расползлись и придавили его. Рука — да что там за рука может быть у пацана, это нечто хрупкое, слабое — хряпнула, будто спичка. Болит с той поры.

Генка понимал и другое, понимал, что соревнование это неспроста. Сглотнул сухую слюну, застрявшую в горле, подумав немного, поставил руку на стол, вытянул, распрямил пальцы, поиграл, изгоняя из них застойную тяжесть. Что-то сострадающее, болезненно-жалостливое шевельнулось в нем: проиграет ведь он этот поединок.

— Ну! — нетерпеливо повторил Ростовцев.

Генка взялся за его ладонь. Ладонь у Ростовцева была сухой, крепкой, чуть подрагивающей от напряжения.

— Локти на одну линию, чтоб мухлежа не было,— проговорил Ростовцев, подбил Генкин локоть, сдвигая его влево, так что рука оказалась вогнутой, в неудобном положении.

— Так годится? — улыбаясь, спросил Ростовцев.

— Годится,— ответил Генка.

— Тогда под «раз-два-три» и поехали... Раз, два... Три! — выкрикнул Ростовцев на высокой ноте и с силой надавил на Генкину руку, беря ее на излом. У того в глазах даже стало темно, словно электрический свет весь вытек из «диогеновой бочки».

И опять он почувствовал горький дух чернобыльника, перемешанный с щекотным острым запахом корабельного дерева, настолько пропитанного морской водой, что в суп вместо соли запросто можно бросить кусок палубной доски, и суп будет что надо — в норме будет. Ростовцев гнул и гнул его руку, еще немного и совсем прижмет ее к столу. Пальцы у Ростовцева были железными, словно пассатижи, он намертво сдавил ими Генкину ладонь. Сквозь темноту, упавшую перед глазами, Генка едва-едва различил тусклый кругляш электрической лампочки, подвешенной низко над столом, чтобы было удобнее читать, сдавил зубы так, что у него в висках что-то захрустело, подумал, что если Ростовцев сейчас завалит его руку, то не видать ему, Геннадию Морозову, удачи, как собственных ушей. И Любки Витюковой, славной, красивой и печальной, тоже не видать — надломится у него нечто такое в душе, чему никак нельзя ломаться, обязательно надломится... Он всхрипнул, всасывая сквозь зубы воздух и, набирая силу, скривил свое налитое кирпичной краской лицо. «И-иэ-эа-а...»,— отжал руку Ростовцева на чуть-чуть, на самую малую малость. Эта крохотная, как птичий шажок, победа подбодрила его и словно бы новых сил добавила. «А-аха-а»,— ахнул он, добавил что-то бессвязное, сиплое, еще на чуть-чуть отжал руку Ростовцева.

Еще немного — и они выровняются. В ушах даже прозвучало знакомое ростовцевское, уже произнесенное: «Локти на одну линию, чтоб мухлежа не было». Не будет обмана, не будет... Он снова захватил воздух сухим ртом, будто пьяный, засипел, увидел прямо перед собой лицо Ростовцева, сизое, остроскулое, с выступившим вперед упрямым подбородком, понял, что хоть по утрам начальство и выжимает по тридцать раз двухпудовую гирю, однако до Ильи Муромца или Добрыни Никитича ему еще далековато. Напрягся, одолевая некую трудную среднюю черту, порог равновесия,

горный хребет, перевал,— и вот уже рука Ростовцева пошла вниз, и сам он, сизолицый от натуги, от того, что из пор вот-вот должна была выступить кровь, ощерил рот, обнажая мертво сомкнутые зубы, застонал бессильно, недобро, и Генка-моряк понял окончательно, что он выиграл этот бой.

И будто бы Любку Витюкову выиграл.

И свое прошлое, полное духа полыни, полевых цветов, моря, йода, мокрого песка, умирающих крабов, разогретого в тропиках железа, солнца, смолы, тумана, который гуще сметаны, камней, речных течений,— свое прошлое он тоже выиграл.

И право на сегодняшний вечер — как право первым приглашать на танец.

И даже право быть умнее. Ибо Генка-моряк знает, что именно Ключевский, которым два часа назад похвалялся Ростовцев, написал: «Предмет истории — в прошедшем, что не проходит, как наследство, урок, неоконченный процесс, как вечный закон. Изучая дедов, узнаем внуков, то есть изучая предков, узнаем самих себя. Без знания истории мы должны признать себя случайностями, не знающими, как и зачем мы пришли в мир, как и для чего в нем живем, как и к чему должны стремиться; механическими куклами, которые не родятся, а делаются, не умирают по законам природы, жизни, а ломаются по чьему-то детскому капризу». Генка-моряк это знает, а Ростовцев не знает. И вот ведь как — Генкино прошлое было крепче ростовцевского прошлого, сильнее, надежнее. И нечего похваляться Ключевским...

Он дожал руку Ростовцева до конца, притиснул ее к тепловатой гладкой поверхности стола и, не глядя больше на соперника по состязанию, встал, натянул на плечи свою старую облезлую дошку, купленную по случаю в общежитии нефтяников, быстро вышел на улицу.

Ночь была туманной и трескучей от мороза. Даже снег шевелился, ужимаясь от холода.

Любки не было.

Она, похоже, ушла спать к диспетчерше Ане. Подальше от греха. Генка, задыхаясь от слабости, от усталости, сделавшей его тело вялым, непослушным, ломким, побрел в офицерский балок.

Утром его разбудили хрипучие звуки «матюгальника», жестяной грохот барабана — передавали музыку для зарядки.

Генка-моряк потянулся сладко, взглянул в черное ночное оконце, в котором расплывчатым зернышком поблескивал огонек — электрическая лампочка на столбе перед балком, которой вчера не было, а сегодня ввернули.

— Что это? — спросил спросонок Алик, выставив из-под одеяла негнущиеся, будто из проволоки скрученные усы.

— Начало рабочего дня,— отвечал Генка-моряк, прислушался: вроде бы «матюгальник» знакомую фамилию произнес. И точно, его, Генкина, фамилия. Рывком поднялся, натянул на себя свитер, штаны. А «матюгальник» трескучим ржавым голосом повторял:

— Товарищ Морозов, немедленно зайдите в прорабскую!.. Товарищ Морозов, немедленно зайдите в прорабскую!..

Через пять минут он был в прорабской. Ворвался, окутанный клубом тугого удушливого пара, содрал пальцами ледяные наросты со щек, успевшие образоваться буквально за несколько минут, пока он шел по улице.

— Что случилось?

Сидевший за столом Ростовцев шевельнулся.

— Да ничего. Спать хватит, вот и разбудили.

— Ничего себе шуточки,— проговорил хрипло Генка.— А все-таки?

— Твое начальство радиограмму передало с просьбой оказывать тебе всяческое содействие. Техникой и, если потребуется, людьми. Когда к работе приступаешь?

— Сегодня.

— Люди, техника понадобятся?

— Люди, думаю, нет, а техника — та нужна будет.

— Только не зарывайся, проси минимум,— предупредил Ростовцев.— Много ведь не дам. Имей в виду.

— Бульдозер мне нужен будет,— сказал Генка-моряк,— у меня пароустановка на колесах. А по целине она на колесах не пройдет, надо бульдозером дорогу к шлейфу пробивать. Да и резина на машине лысая.

Ростовцев подвигал челюстью, будто на зуб ему попало что-то неприятное.

— Ладно, бульдозер я тебе дам,— наконец произнес он.— Только бульдозер. Можешь сказать об этом Пащенко. Он у нас по этой части главнокомандующий. Но больше ничего ты не получишь. Предупреждаю. Каждая единица техники у меня на счету. Понял?

— А мне больше и не надо,— сказал Генка-моряк.— Единица, значит... Так вот, этой самой единицы одной-единственной будет достаточно.

Ростовцев посмотрел на него вполуприщур, что-то соображая, прикидывая в уме, лицо Ростовцева, твердое, было отчего-то усталым, и у Генки шевельнулась в мозгу ревнивая, совсем не к месту, жгучая мысль: уж не провел ли он эту ночь у Любки Витюковой, ведь вон какие вчера косяки он кидал на Любку, ведь вон... Внутри у Генки будто что кипятком ошпарило — вот какой нервный стал; он дернулся, сжал кулаки — если это так, то берегись, товарищ Ростовцев, берегись! Но тут же окоротил себя: собственно, а какие права он имеет на Любку? Какие? Никаких. Она Ростовцеву не жена и не невеста, сказала же ведь это она вчера.

Генка молчал, и Ростовцев молчал — видать, тоже что-то почувствовал, увидев напряжение на Генкином лице, побелевшую, в пушке, кожу на скулах, сведенный в твердую линию рот, покрасневшую рану-козюлину на подбородке.

Наконец Ростовцев сказал:

— Ладно, иди. Тебя я больше не задерживаю.

Повернувшись по-матросски через плечо, на пятке мехового киса, Генка нырнул в темноватый предбанник прорабского балка, враз остывая в крапивно стрекочущем холоде, окутался паром с головы до ног, подумал о Любке Витюковой: не дай бог, произошло то, что у него промелькнуло в мозгу, когда он стоял перед Ростовцевым и глядел в его усталое, осунувшееся лицо, не дай бог... Вздохнул, вышел на улицу.

Генка-моряк решил, что шлейф он проверять начнет от СП — сепараторного пункта, где стоят мудрые машины по очистке газа, потом пойдет в глубину, в лес и тундру, костяные, схожие с гигантскими ледниками бо-

лота, будет проверять трубы и стояки скважин там. Вот такой его рабочий план на сегодня, на завтра, на послезавтра. И на послепослезавтра тоже...

Передвижная паровая установка — Генка морщился, когда слышал это название, очень уж громкое оно, прямо как некий морской корабль зовется, вон как торжественно и звонко, словно для рапорта — была поставлена на лафет старого грузовика ГАЗ-51, по-Генкиному «газона», и очень смахивала на большой котел, в котором домохозяйки вываривают белье, от котла, будто щупальцы доильного аппарата, тянулись присоски, трубки, прочая хреновина, которую, по мнению Генки-моряка, можно было бы упразднить, упростить, но тем не менее не упраздняли, держали про запас, и потому «газон» был действительно похож на ошмоток какого-то странного подводного агрегата. Резина у «газона» была лысая, съеденная — на таких колесах далеко не уедешь, в снегу чуть толще двух пальцев пароустановка обязательно застрянет. Потому и нужен Генке-моряку бульдозер. Водитель пароустановки Петр Никитич был человеком хмурым, страдающим желудком (какая-то хлябь у него там имелась, а медицина — их же городские врачи, доки в своем деле — не могла точно определить, что это за хворь) и таким большим «говоруном», что каждое слово у него надо было силой вытягивать — дай бог, чтобы он в день более трех фраз произносил...

Петр Никитич сидел в кабине «газона», разогревал мотор, тот хрюкал заспанно и обиженно оттого, что заставили проснуться в эту бешеную стужу, кашлял, плевался вонючими, противно сизыми клубками дыма, в общем, вел себя кое-как.

— Чего, Петр Никитич, капризничает бандура? Может, ее пора на списание отправить?

Петр Никитич промолчал.

— А то мы живо — чик-чик-чик-чик,— погрузился Генка в облако пара и, не видимый шоферу, попилил себя ладонью по горлу. Зная, что на ночь машины здесь оставляют с включенными моторами, Генка спросил: — Чего ж ты мотор вырубил, а? Не надо было на ночь выключать...

Петр Никитич опять промолчал. Такова была его натура, жизненный принцип: слово — золото, а золото

надо за семью замками держать, не давать ему хода.

— Ну будь,— сказал Генка-моряк,— будь готов к работе.— Двинулся в офицерский балок.

А в балке Любка Витюкова сидит и с Аликом разговаривает. У Генки сердце оборвало корешок, которым оно было скреплено с прочими жизненными органами, и, совершив стремительный короткий полет, упало в ноги (недаром же говорят: «Сердце в пятки ушло»), и Генка-моряк вмиг забыл про Ростовцева, которого он вчера положил на лопатки, когда боролись на руках, и который был сегодня сух с ним, как твердая копченая колбаса,— Любкино лицо излучало чистоту, свежесть, все самое доброе, что только существовало на свете. И Генке стало стыдно — как он смог подумать о ней такое, как он смел уличать ее?

— А-а, товарищ Чик-Чик,— протянула Любка, и от ее голоса в Генкиных глазах возник знакомый бронзовый кукушонок, приоткрыл дверку, высунулся из своего домика, полюбопытствовал, что же такое вокруг творится, рассыпал вокруг себя желтые радостные блестки. Генке же в этот момент казалось, что где-то неподалеку пела добрая чистоголосая птица. Любка предложила: — Чай будешь?

— Ух, хор-рошо,— сказал Генка, потер ладони одна о другую. Раздался электрический треск.— Хор-рошо чаю с мороза... Спасибо, Любонька-голубонька,— смутился этих слов, того, что внутри у него, под сердцем, зажегся сладкий огонек, опалил все щемящей истомой, и голос его сразу просел, оттаял, сделался влажным.

Любка Витюкова с интересом посмотрела на него.

— Ишь ты, как упарился на морозе. Иль Ростовцев стружку снимал?

— А кто он мне, Ростовцев? Начальник мой, что ль, чтоб стружку снимать? — неприязненно проговорил Генка-моряк.— Он для меня ноль без палочки, вот он кто,— добавил он, увидел, что у Любки от его слов глаза попрозрачнели, будто дорогие камни, глубокими сделались, подумал, что он сказал о Ростовцеве слишком грубо, задел, видимо, этим Любку Витюкову, смутился, улыбнулся слабо и робко, будто куренок, надеясь, что из Любкиных глаз исчезнет холодная прозрачность, зрачки окрасятся теплым, произнес:— Если что не так, не ругай меня.

— А-а,— Любка махнула рукой, но ее выдали горькие морщины, что, невесть откуда взявшись, легли по обочинам рта, у самых углов, протянулись к подбородку.— У тебя характер такой: ругай не ругай — все едино. Точно, Алик? — спросила она, не поворачивая головы, у Генкиного напарника.

Тот шевельнул усами, огладил их, произнес степенно:

— Никак нет.

— Вона, и защитника себе нашел,— усмехнулась Любка, оглядела Генку с головы до ног, увидела то, чего Генка не видел, а вернее, не замечал.— Карман у твоей дохи отрывается. Снимай, починю.

— Да ее, одежку эту, выбрасывать пора. И так сойдет.

— Снимай, кому сказала!

Генка-моряк покорно стянул с себя дошку, положил на скамейку рядом с Любкой.

— Может, не надо?

— Надо!

Откуда-то у Любки и иголка мгновенно возникла в руках и нитка, которую она ловко, послюнявив кончик, вогнала в узкий, едва видимый, если смотреть на свет, проем в иголке, и латунный, истыканный гвоздевыми вдавлинами наперсток; быстро и умело, будто всю жизнь только этим и занималась, она пришила карман, откусила нитку, произнесла назидательно:

— За одеждой надо следить,— с чем Генка-моряк был целиком согласен. Вдруг снова обездоленные морщины легли у ее рта, и было непонятно, в чем же причина этой вмиг появляющейся и вмиг исчезающей горести — возможно, виновата была неприкаянность человека, привыкшего нести домашние заботы и тяготы, следить за мужем, обихаживать его и вдруг оказавшегося вне этих приятных, воспитанных кем-то и когда-то и заложенных в крови женских забот? А может, вина крылась в чем-то другом? Любка покачала головою, порицая Генку за оторванный карман и думая о чем-то своем, загадочном, далеком и в ту же пору близком, родном только для нее. Так, во всяком случае, показалось Генке-моряку.

Не хотелось ему пить предложенный чай. Он подумал, что никогда эта женщина, дорогая и нужная ему,

до того нужная, что он даже готов был заплакать, никогда она не станет близкой, она далека, как, извините, звезда, до которой лететь сотни лет, далека и чужда. И не понять ему ее, нет.

Он зажался, взял себя в руки, ощутил жесткость в теле, в мышцах, произнес ровным, совсем лишенным цвета голосом:

— Спасибо, Люба, за карман, спасибо, Люба, за заботу, а нам с Аликом пора в поле, на шлейф. Собирайся, Алик!

— Но ведь еще темно,— Любка заглянула в оконце, ничего там, кроме света лампочки, не увидела, потому что морозный туман был плотным и густым, словно сметана. Тем не менее сказала: — Звезд еще на небе вон сколько... Как морошки в корзине. Со счету собьешься.

— Ничего, скоро развиднеется,— совсем неромантично уточнил Генка,— а так, если мы будем лишь на светлое время рассчитывать, то не только на масло, но и на хлеб не заработаем.

Часов в одиннадцать, когда уже было светло, но туман не стаял, а продолжал густо висеть над землей, неприятный и злой, сухой, как перхоть, Морозову поступило сообщение: в шлейфе — пробка. И это не редкость — в зимнюю пору пробки идут одна за другой — студь-то вон какая стоит.

Вместе с Аликом он двинулся вдоль нитки, крякая и выплевывая изо рта замерзающую слюну. Через час они нашли пробку — этот мерзкий тычок оледеневшего газа, плотной деревяшкой застрявший в трубе, с которым можно было совладать только двумя способами: либо подогнать сюда пароустановку и разогреть, разжижить его, либо просверлить трубу и закачать в нее промывку — метанол — едкую, вредную для здоровья жидкость: если попадет на руку — на руке вздуется пузырь — ожог, надышаться этой жидкостью тоже не сладко, месяц потом будешь чихать. С метанолом надо чуть ли не в противогазе работать.

Место, где они обнаружили пробку, забившую шлейф, было для работы не ахти какое пригожее — посреди пожухлого, со сгоревшей, деревянного цвета

хвоей, сосняка. Снег вокруг был густо истоптан птичьими лапами, он был словно посыпан крестиками следов.

— Тетерки ходят, их отпечатки,— определил Генка-моряк,— и еще куропатки. Этих тут вообще не счесть — целая дивизия.— Добавил: — Дивизия морской пехоты.

Хотя какая разница: морской пехоты или неморской. Добавил, наверное, потому, что почти вся сознательная жизнь Геннадия Морозова (до того, как он попал в тайгу) проходила под морским флагом.

— Та-ак,— проговорил он озабоченно,— пароустановку нам сюда не подогнать, для этого надо колеса на гусеницы сменить. Придется действовать старым дедовским способом — будем сверлить в трубе дырки и закачивать метанол. Другого тут не придумаешь,— попрыгал на месте, хлопая рукавицами одна о другую, пустил, будто Змей Горыныч, пар изо рта, крякнул: — А-ах, супцу бы я сейчас горячего съел. А на второе — жареных куропаток. Да времени нет,— с сожалением закончил он,— а то б наловил.— Приказал напарнику: — Доставай инструмент.

Под ноги, чтобы коленями не примерзнуть к снегу, бросили кусок старой телогрейки, из швов которой вылезали серые грязные куски ваты, зачистили малость трубу напильником, чтобы удобнее было сверлить, и начали работать. Крутишь вороток, к которому приварено сверло, а железные рогульки его к ладоням прямо сквозь рукавицы прикипают, и так больно, что даже кричать охота, и клянешь все на свете от досады, от ошпаривающей руки рези, от обиды на конструкторов, которые много умных вещей придумали, а вот такую простую штуку, как безопасное (чтоб не дай бог — искра) сверло, так и не придумали.

А тут еще досада: давление, как оказалось, нельзя в трубах сбросить, иначе шлейф полностью в какие-нибудь полчаса будет забит мертвым газом, и тогда все, туши огни, катастрофа, большие денежки в небо уйдут — тогда надо новый трубопровод прокладывать. Генка вывернул голову, щеки его были белыми от мороза, в инее, крылья носа — в ледяных наростах. Прохрипел:

— Алик, быстро мчись в балки, попроси у Любки ведро. Быстрей!

— Зачем? — не понял Алик, сбил ладонью иней с

усов, но не тут-то было — иней оледенел, он был твердым, как металл.

— Давление-то со шлейфа не снято. И не снять нам... Боюсь, сверло обломится и в голову угодит. Это ж как пуля — насквозь пробоина будет. А голова с течью ни тебе, ни мне не нужна. Дуй к Любке!

— Слушаюсь!

— А я пока погреюсь,— Генка поднялся, тяжело дыша и разгоняя ладонью звенящий пар, запрыгал на месте, глядя на вороток, к которому было приварено сверло-метчик и которое он не стал выдергивать из трубы. Вороток, как живой, ходил из стороны в сторону, трясся от натуги, от напряжения, с которым газ пытался пробить пробку внутри трубы.— Ведром вороток накрывать будем, чтоб беда не стряслась. Вот. Если сверло обломится, то донышко ведра оно не пробьет, останется.

Однажды у Генки-моряка уже был случай, когда пришлось сверлить дырку в трубопроводе под напряжением, тоже воротком сверлил (хоть и нарушал технику безопасности, которая газовикам, как и электрикам, запрещала работать под напряжением), так сверло, едва он проткнул тело трубы, со слабым хряпаньем обломилось и над самым ухом этак тоненько, безобидно — «фью-ють», будто рябчик свистнул. А через три секунды больным стоном отозвалась сосна, находившаяся метрах в пятнадцати от Генки. Он тогда внимания на стон не обратил, потому что из продырявленной трубы кипенно-снежным султаном начал бить газ, и надо было срочно закачивать в шлейф промывку, а потом, когда авария была задавлена, осмотрел сосну. Толстый, заплывший смолой ствол был пробит сверлом насквозь. Входное отверстие, как, собственно, и у пулевого пробоя, было крохотным, оправленным черной копотью, выходное же — большим, рваным, с остьями щепы — кулак в углубление свободно вмещался, вот с какой силой газ выбил сверло.

Перестав прыгать, разогреваться, Генка затих и еще довольно долго слышал, как звучно и чисто скрипел твердый мерзлый снег под ногами напарника, потом шаги истаяли, и он остался один на один с тишиной. Даже ветра не было, и снег почему-то не трещал, видно, туман придавил его — хоть и невесомый он, туман, а

все же придавил, вот какая физика получается. И жутко, не по себе сделалось Генке Морозову, будто к пустынному острову он причалил, где — ни жизни, ни биения чистой ключевой воды, ни шороха листвы, ни игры ветра — ничего живого нет. Даже мурашки по коже побежали. Но тут же отпустило — вдруг неподалеку раздалось тихое, словно шепот — фр-р-р, фр-р-р,— Генка понял: это оголодавшие куропатки выбрались из-под снега, теперь перелетают с места на место, пищу выискивают. Много куропаток тут, несметь. Даже строящаяся дорога не распугала их. И оттого, что рядом находилась живая — хоть и птичья, но все же живая — душа, Генке теплее стало.

Он снова запрыгал на месте, разогреваясь, давя кисами снег, разгоняя в себе охолодавшую застоявшуюся кровь, растер рукавицами щеки, которые сильно и больно кололо — это уж старания деда-мороза, никак не может уняться, старый хрыч,— потом сделал несколько пробежек, разогреваясь и страстно желая тепла, безоблачного юга, ласковой утренней зари и тихого летнего дождика, после которого грибы лезут из-под земли, как сумасшедшие, и нет силы, которая могла бы остановить их. В такую теплую пору хорошо в дальневосточных лесных озерах рыбу ловить — карась клюет так, будто всю жизнь только и мечтал о том, чтобы насадиться на крючок, выдернешь его из воды, а он висит, ленивый, неподвижно, жабры раздувает, а с хвоста у него рыбье сало капает, вот как. Чик-чик-чик-чик, пропади, видение, как сладко бы там ни было, не то на таком страшенном морозе запросто окаменеть можно, в белый мрамор обратиться...

А еще лучше — погреть косточки где-нибудь на гладко обработанной водой спине кораллового рифа, бездумно глядя в морскую глубь, в которой пасутся голубые и малиновые рыбешки, вольно разбрасывают свои лапы морские звезды, бочком-бочком, как-то воровато шастают крабы. И солнце припекает — хоть и круто, но ласково,— есть такая особенность у тамошнего солнца: сочетать крутой жар с нежностью, а набегающая с океана волна обдает спину прохладными брызгами. Вот куда неплохо бы после лютого сибирского мороза-трескотуна попасть... Ну где же там Алик застрял, где? Генка-моряк посмотрел на шевелящийся

вороток, представил себе силу загнанного в трубу газа — если вырвется из-под контроля, запросто пальцы, а то и руку оторвать может. Поморщился от опасного озноба, попрыгал снова, боясь впасть в сладкую, мягкими тканями опутывающую дрему, лишающую сил, разума, воли.

Он даже не слышал, как появился Алик — оглох от тишины и мороза, почувствовал только движение тумана, глянул, а Алик — вот он, вдоль трубопровода бежит, в просторной, не по размеру, одежде путается.

— Ну и долго же ты, парень,— скрипучим от холода голосом проговорил Генка.

— Никак нет! — бодро отозвался Алик.— Нигде не задерживался.

— Ладно, накрывай вороток, а то время уходит,— приказал Генка, опускаясь на телогрейку, поудобнее взялся за заиндевелые рожки воротка, больно зажмурился — крапивная стылость пробила его в один миг до костей, до самого позвоночника достала, до мозга. Генку передернуло так, что зубы застучали друг о друга, и он не смог удержать в себе эту дрожь, прохрипел только: — Накрывай! Чего медлишь!

Алик накрыл вороток вместе с Генкиными руками ведром. Он был весь белый — и конец чуба, выбившийся из-под шапки, и усы, сахарно-хрустящие, и брови, и кое-где не сбритые на подбородке и щеках волосы, и кожа на лице тоже была остывшая, прозрачная, белая.

Генке было неловко работать под ведром, он кривил лицо, сжимал глаза в щелочки-запятые, кряхтел надсадно, но работы не прекращал.

— Туго идет, падла,— хрипел он,— чик-чик-чик-чик... Очень туго.

— Может, поменяемся? — предложил Алик.

— Обойдусь,— растягивая слова, буквально пропихивая их сквозь обескровленные губы, проговорил Генка,— немного осталось,— приостановился на миг, переводя дух и окутываясь паром, потом крякнул, будто селезень, удирающий от охотника, надавил руками на вороток, сделал одно круговое движение, потом другое, еще и еще...

Вдруг под ведром что-то резко и гулко зашипело, словно разбудили злого джина, вороток начал вы-

ваться из Генкиных рук, но Генка-моряк продолжал удерживать его в течение недолгих секунд, шипение сделалось еще сильнее и резче, от него в ушах тонко, как-то опасливо зазвенело, ровно кто натянул балалаечную струну, потом на какой-то миг все смолкло, раздался сильный, глухой, будто из-под земли выхлестнувшийся удар, донце ведра выгнулось бесформенно как старая шляпа.

Генку вместе с воротком отшвырнуло в сторону, и он бойко покатился по промерзлой тверди, хватая ртом жгучий снег, само ведро выбило из рук Алика, и Алик закричал тонко, удивленно. Только вот что кричал он — не разобрать в шипении и грохоте. Ведро взметнулось в высоту и тут же скрылось в плотном тяжелом тумане. Лишь сквозь шипенье выхлестнувшего из трубы газа доносился звук, по которому можно было определить, как летело ведро, и что оно все-таки не улетело на Луну или какую-либо другую далекую планету... Вскоре раздался дребезжащий резкий вой, от которого хотелось заткнуть уши — будто на землю летела дырявая бочка,— ведро гулко врезалось в снег метрах в шести от Генки, насквозь пробив морозную твердь.

— Метанол! — прохрипел Генка, выплевывая снег изо рта и ловя глазами низенькую Аликову фигуру. Алик еще не смог опомниться от того, что произошло, размахивал беспомощно руками, словно ветряная мельница.

— Метанол! — разъярился Генка, хотел добавить крепкое словцо, да по непонятной причине не смог, затрясся в кашле, заработал ладонью у рта — чик-чик-чик-чик...

Перевернулся на живот, стараясь освободиться от боли удара, вывернул голову, увидел, что над трубой, в месте пробоя, вспух хрустящий, будто сделанный из засахаренной махры, гриб, окостенел буквально на глазах, хотя в корешке гриба еще продолжало что-то пузыриться, клокотать, шипеть, жалобно попискивать, чирикать — там шла какая-то работа. Прекратись она, тогда пробой снова просверливать придется, потому что на таком морозе вода, газ, дерево превращаются в сталь, сталь же, настоящая сталь — в непрочную, как хлебная корка, материю, в пересушенную фанеру, в гниль.

— К шлейфу!— скомандовал Генка, поднимаясь на колени и ощущая с неприязненным чувством, с холодной жалостью, как бессильно дрожат у него ноги, тело ломит, словно после тяжелой болезни, а из головы, из ушей никак не вытряхнется тонкий, похожий на осиное жужжание гуд. Он потряс головой, освобождаясь от этого гуда, от прилипчивого балалаечного звона, соскреб рукавицей лед со рта, сделал шаг к шлейфу, к отвердевшему грибу, краем глаза заметил, что Алик тоже подал признаки жизни, перестал стоять как истукан, тоже сделал шаг. «М-молод-дец, нап-пар-рник...» Проговорил:

— Метанол давай, Алик!

Отчего-то удивился, что в мыслях он заикается, а наяву, в живой речи — нет. Пнул ногой под корешок снежного гриба, где пузыренье, работа, какое-то странное, пороховое, будто сейчас должен был стебануть выстрел, шуршанье не прекращалось, отбил ногу и закричал, приходя в состояние необузданной ярой злости:

— Сво-оло-очь!

Даже туман разломился на лохмотья от этого крика, от Генкиного отчаяния, от всего недоброго, что таили в себе здешние темные силы...

В городок они вернулись поздно ночью, когда огни горели во всех балках, пора ужина уже прошла, в «диогеновой бочке» собирался народ на «вечернюю беседу». Оба они, и Генка Морозов, и Алик, были измотаны, измочалены донельзя, едва держались на ногах, ослабшие и обмерзшие. Они вытаяли из тумана, как два привидения, поддерживая друг дружку. Обеспокоенный Петр Никитич, на рысях бегавший вокруг балков в поисках ребят, уже взялся было за ружье, чтобы палить в воздух, подавать сигнал, на звук которого Генка-моряк и его напарник могли бы выйти, сориентироваться по выстрелам, да не успел нажать на курки. Туман разломился, и в щель протиснулись двое.

Петр Никитич кинулся к ним, размахивая на бегу «ижевкой», губы его приплясывали, жили сами по себе на обеспокоенном лице, но Петр Никитич по обыкновению молчал.

— Порядок морской,— остановил его Генка,— все в ажуре, Никитич... Помоги нам!

Тот повесил «ижевку» себе на шею, протиснулся между ребятами, худой, жилистый, высокий, подхватывая Генку и Алика под мышки, поволок их в офицерский балок.

— Порядок, чик-чик-чик-чик... Морской порядок,— как в бреду бормотал Генка,— пробили пробку, все о'кей... Все, дед.

Петр Никитич молча кряхтел.

— Инструмент только оставили там, на шлейфе. Сил не было тащить. Сгубить он нас мог. Завтра надо забрать. Все завтра,— бормотал, не выходя из бреда, Генка, но тут надвинулась на них темная коробка офицерского балка, чему моряк обрадовался несказанно, будто золотую рыбку поймал. Облизал мерзлые губы, словно огнем опалил ими язык, улыбнулся: — Дошли-таки... А?

— Морду бы тебе набить, чтоб без страховки не ходил,— Петр Никитич переборол свою немоту, смутился от собственных слов, толкнул унтом дверь офицерского балка, Алика прислонил к косяку — постой, мол, парень, охолонись немного, отдохни, Генку повел вовнутрь.

— Не злись, дед...— медленно, перебарывая себя, говорил Генка,— мы и не в таких морях бывали... не такие шторма видели. Чик-чик-чик-чик... Два человека... это вполне достаточно, чтоб одну пробку... ликвидировать. Но ты прав, Никитич... в сильные морозы с собой... надо третьего человека для страховки брать. Чтоб начальство наше... меньше пужалось... и не переживало за нас.

Петр Никитич молча сунул ему под нос кулак, усадил на койку.

Пошел за Аликом, тоже притащил в балок. Одного за другим разул, раздел, растер ноги. У Генки за пазухой он неожиданно нашел мятую гвардейскую бескозырку с оранжевыми ленточками. Хмуро посмотрел на нее, словно прикидывая, зачем же парень носит головной убор за пазухой, нахлобучил Генке на голову.

На следующий день, когда ребята проснулись, ящик с инструментом, прочие причиндалы, которые они оставили на шлейфе,— все это было уже в балке: Петр

Никитич по вчерашнему следу нашел место пробоя, забрал оставленное добро, принес в городок.

В этот день не работали — отдыхали после вчерашнего. Да и день-то был актированным — мороз за пятьдесят.

Утром Генка долго ничего не слышал вокруг, ни один звук не проникал в бездумную голубую цветь его сна, в тепло яркой, не знающей снега земли, где царило солнце, был ясный прозрачный день, чистое море с пенной канвой по берегу, отливающие радужными крапинами валуны, тихий, с металлическим звоном — тонким, в серебро,— шелест пальм, их судно, стоявшее на рейде, и ребята, по гибкому веревочному трапу спускающиеся в воду.

Генка лежал под одеялом, вытянувшись в струнку, задрав вверх подбородок, украшенный козюлькой-веретеном. Лицом он за прошедший день исхудал, щеки подобрались, скулы остро проступили, в глазницах — желтизна, будто разбавленным йодом помазали, нос облупленный, в черных застругах помороженной кожи. Любка Витюкова, когда вошла, чуть не охнула, но сдержала себя, боясь разбудить Генку-моряка, боясь и другого — вдруг в ней возьмет верх бабье, жалостливое, слезное, то самое, что не должно брать верх. Ведь не муж ей этот низкорослый морячок, никто он ей, случайный знакомый, гость их городка — прибило на несколько дней волной, и скоро та же волна унесет его в другое место. А в другом месте, может быть, своя Любка-комендантша есть, красавица почище ее.

Но глаза ее обволокло чем-то горячим, обидным, она даже не поверила: неужто так пробрало? С чего бы? Вспомнилось вдруг прошлое, песня, которую пели чисто, высоко ее лучшие товарки,— где они сейчас? Тоже, поди, замуж повыходили — и, дай бог, удачно, не как она. И чтоб детишки, поколение последующее, были послушными, добрыми. И будто бы мелодия родилась в ней самой, возвратясь из прошлого, нежная, как липовый цвет, и слова, которые она уже начала забывать, тоже будто бы возвернулись, и вместе с ними — щемящее торжество, радость обретения, белое кипенье садов и щекотный сладкий дух весны, проснувшихся

трав и злаков, дух цветения. И все, что происходило сейчас вокруг, было сотворено только для нее, для нее одной.

Хотя, собственно, ничего не происходило — были стоны и всхлипы мороза за стенками офицерского балка, бормот «матюгальника», тяжелое Генкино дыхание да детское, совсем детское, вызывающее сочувствие и жалость почмокивание Алика во сне.

Она прислушалась к хрипу большого дюралевого колокола, прибитого к шесту, узнала голос Ростовцева, вздохнула. Нет, все-таки не Генка-моряк ей нравился, маленький, клещистый, смешной, а Ростовцев, гибкий, как молодое дерево, с волевым ртом, круто обрубленными скулами — красивый мужик, этот Ростовцев, ничего не скажешь. Снова вздохнула тихо, в себя, вышла из офицерского балка.

И вот странное дело — Ростовцев в эту минуту тоже думал о Любке, и что-то тревожное, жесткое, подбористое, будто ком верблюжьей колючки, возникло в нем, какой-то странный злой огонек запалился внутри, вначале как-то мало, слабо, будто пламенем лампы-коптюшки, а потом все сильнее и сильнее, Ростовцев, словно враз опьянев, закрутил головой, пытаясь справиться с этим огнем. Потом потер виски досадливо.

Поднялся, вздохнул, решая что-то про себя, подумал: хорошо, что еще в прорабской никого нет, никто не видел, как он трясет, крутит головой, ровно одёр, отбивающийся от слепней, обузился лицом — досада, а потом и непонятная, сильно, почти неодолимо вспыхнувшая в нем ревность взяли свое. Он сощурил глаза, поглядел в обмахренное снеговыми морозными лапами оконце, ни шута там не увидел, хотел было подивиться хитрому рисунку мороза, испещрившему окнецо, да не подивился — то ли не дано было, то ли... А, не заслуживающая внимания мелочь все это! А рисунок хорош был — видать, природа сильно тосковала по лету, по теплу, по ласковым дождям, раз такими диковинными растениями, листами и ветками обиходила простенькое, ничем не приметное окнецо прорабской. Ростовцев зажал зубами мослак указательного пальца, надавил, отрезвел от боли, услышал вдруг тихий, странно далекий, будто из другого мира, со звезд пробившийся к нему смех, замер, соображая, что же это такое, сла-

бым уколом отозвавшееся в сердце, вызвавшее томленье. Ну что?

Генка тоже встрепенулся от этого звука, медленно растворил зрачки, еще не очищенные ото сна, с теплом виденного солнца и голубизной яркого моря, выпростал руку из-под одеяла. На руке у него, довольно высоко, у самого локтевого сгиба, был выколот махонький якорек, перетянутый строчкой каната,— все-таки высоко выколот, необычно как-то, ведь, как правило, мужики якоря выкалывают на боковой части кисти, у корня большого пальца. Через полминуты Генка окончательно пришел в себя, улыбнулся, остывая от сна, прикрыл ладонью рот. «Чик-чик-чик-чик». Сбросил с себя одеяло, спрыгнул на холодный, обжегший ступни пол — балок довольно сильно подморозило снизу, заахал, закрутил руками, словно мельница-ветряк, перепрыгнул на коврик. Аханье разбудило Алика, во сне его усы распушились, каждая волосинка побрела в свою сторону, и усы его теперь походили на два веника, скрепленные встык, один к другому ручками. Потянулся.

— Па-адъем! — скомандовал Генка.— Хватит потягушечками заниматься. Пора на завтрак.

— Слушаюсь!

— «Слушаюсь, слушаюсь»,— передразнил Генка.— Трескотун-то, а? День сегодня актированный — никто не работает, а зарплата за счет Деда Мороза все равно идет. А-ах!— присел Генка-моряк, делая зарядку.— И как мы с тобой вчера не замерзли? Я бы на месте Никитича нам бы обоим по фотокарточке надавал. И тебе, и мне, чтоб не рисковали.

Алик промолчал.

Генка прекратил приседания, ахи-охи, гимнастическую мельтешню руками, подумал о себе самом, пожалел: невеселое все-таки детство осталось у него в дали времени, за пределами видимого, радости мало было — хоть бы сейчас повезло, хоть бы сейчас радость выпала на его долю... Э-эх, черт! И сердце сразу заколотилось в горле, забив его пробкой и мешая дышать. Кровь туго прилила к вискам, заклокотала в жилах.

Облупленный нос болел, надо было его смазать чем-нибудь живительным. На мороз с таким носом нельзя показываться.

А кто может снабдить его снадобьями, целебными мазями? Конечно же Любка Витюкова, только она. А кто же еще? Дорого бы он отдал, чтобы Любка утратила свою обычную насмешливость, стала покорной, знала бы только его одного. У Генки от этой мысли даже мелкий пот на лбу проступил, сердце привычно подвинулось, перед глазами начали плавать прозрачные слабой фиалковой окраски кольца. Двигались они медленно, как дым в безветрие.

Мазью, конечно же, снабдила Любка Витюкова. Алик, который поморозился меньше, сбегал к ней, принес крупитчатую, приятно холодную смазку, похожую на тавот. Генка навощил тавотом нос, прилепил сверху клочок газеты, натянул на самые глаза малахай, снизу забаррикадировал дыхание шарфом, пошел в «диогенову бочку» — очень ему хотелось Любку увидеть, слово какое-нибудь услышать.

— Ну что, моряк с печки бряк? — с ходу отрезвила его Любка.

— Спасибо вам за солидол. Нос им так наштукатурили, что теперь никакого мороза не боюсь,— сказал Генка-моряк, лишь бы что-нибудь сказать.

— Что это ты меня, как графиню заморскую, на «вы» зовешь?

— А я сегодня сон заморский видел,— неожиданно сказал Генка.— С графиней в главной роли.

— Во сне — не наяву,— усмехнулась Любка.

— Наяву заморские графини хуже,— серьезным, не допускающим возражений тоном сказал Генка.— Я их видел наяву. Ничего особенного.

— Нос-то вон, тоже мне, граф. Посмотри, какой он у тебя. Словно огурец. Чистится.

— Ничего. Обчистится — новее будет,— бездумно ответил Генка.

— Э-э, Гена-а,— уловив эту бездумность, протянула Любка насмешливо, сощурила глаза.— Рот надо уметь не только открывать, но и закрывать, чтобы полова не вылетала. Что еще умного скажешь?

А что было говорить Генке? Он просто хотел увидеть Любку. И все. И никаких дел у него не было. Не рассказывать же ей бессмертную сказку про белого бычка и стишки «В лесу родилась елочка», не повторяться же про то, как он тонул, как верхом катался

на дельфинах, ловил рапан величиной с большую суповую кастрюлю, в каких щи на целую неделю готовят... А-а, вот еще что он ей не рассказал — как однажды под водой нос к носу столкнулся с тигровой акулой. Белым-пребелым он тогда в теплой бирюзовой воде сделался. Акула бросила ленивый взгляд на Генку — глаза у нее были махонькими, сонными, круглыми, как пуговки, ничего, кроме лени, не выражали,— шевельнула хвостом и скрылась в бирюзовой густоте. У Генки от сердца отлегло — не дай бог, когда такой вот паровоз в дурном настроении, либо плохо пообедавши... Хотя он мог и не пугаться — акула, когда хочет напасть, обязательно переворачивается вверх брюхом и плывет в таком перевернутом положении — пасть-то у нее сдвинута вниз, к «шее»... Не очень-то удобно брать такой пастью добычу. Зубы у акулы из корунда, так сказать, сделаны, сверхтвердые они, запросто стальной канат перекусывают. И, говорят, никогда не болят. В общем, той акуле не было дела до Генки, и напрасно он ее испугался...

Не рассказывать же про такую, ничем не примечательную, серую встречу Любке Витюковой. Тут, в Сибири, на Севере, страхов куда больше, чем в океане.

И вообще — не нужно быть умным, не нужно стараться это делать, надо быть самим собой. А то от одного только хотения сделаться умным запросто можно стать, простите, дураком. Вот ведь как.

— Ты в Москве когда-нибудь была? — почему-то шепотом спросил Генка-моряк.

— Нет.

— А я был. Один раз. В аэропорту нанял большую пятнистую лошадь и поехал город смотреть.

— Что за большая пятнистая лошадь? — спросила Любка заинтересованно, попадаясь на Генкину удочку.

— Такси. Оно же пятнистое, шашечками разрисовано, цвета салата со сметаной и с зеленым кошачьим огоньком на ветровом стекле. Чик-чик-чик-чик. Хорошо в Москве. Ленинские горы видел, Лужники, Большой театр и Сандуновские бани. Еще я на елочном базаре был.

— Где-где? — не поняла Любка.

— На елочном базаре, потому что тогда Новый год был на носу. Там же не тайга, там культура, елки

из леса привозят. Так один мужик продал другому елку за пятерку, сказал — подожди, я тебе веревку сейчас притащу, чтоб удобнее было нести,— и ушел. И не возвращается. Пять минут не возвращается, десять... Тогда покупатель решил транспортировать елку домой без веревки. Подергал ее, а она не поддается. Оказывается, он живую елку купил, в земле она росла.

— Врешь, Генка,— рассмеялась Любка Витюкова.

— Конечно, вру,— охотно согласился Генка. Вот сейчас наступил момент, когда он был готов говорить что угодно, рассказывать небыли и анекдоты (хотя анекдоты рассказывать, как заявил в прошлый раз Ростовцев,— «плохой моветон», это юмор, взятый напрокат), готов был научить Любку моргать полтора раза, держать на носу березовый прутик, варить флотские щи из корабельного каната, готовить чай из топора, раскрашивать пасхальные яйца с помощью двух цветных ниток, превращать волков в овечек, а лесного хозяина мишку косолапого — в добродушного мужика, любителя погутарить всласть и выпить домашнего хлебного кваску.

— Еще что-нибудь соври. Только без половы, интересно чтоб.

— Курить тут можно?

— Можно.

Генка-моряк достал из кармана пачку «Опала», выдернул одну сигарету, погремел задумчиво спичками, посмотрел на Любку, в глазах у него замерцала электрическая пороша, зимние сверкушки, и Любка Витюкова снова, в который уже раз, увидела в них маленькую, величиной со спичечную головку дверцу, квадратную, обитую чем-то дорогим, красивым. Дверца распахнулась— и из нее высунулся крохотный желтоклювый кукушонок, огляделся любопытно, и от этого Генкины глаза еще более потеплели. Генка положил сигарету на два пальца левой руки, указательный и средний, потом пальцами правой ударил по мослакам, где была зажата сигарета, в воздухе блеснула белая молния, и Любка вдруг увидела, что сигарета у Генки уже во рту сидит. Захлопала в ладоши.

— Браво! Олег Попов! Тебе только в цирке работать. Повтори!

Генка повторил. Любка засмеялась еще сильнее.

— Повтори!

Генка опять повторил.

— Дай, теперь я попробую! — Любка попробовала, но сигарета пролетела у нее около уха, во второй раз воткнулась в щеку, а в третий — просто улетела в другую сторону, упала на пол.

— Ловкость рук и никакого мошенства,— солидно сказал Генка, доставая из пачки другую сигарету. Помял пальцами мундштук, мягкий, из пористого материала, обрамленный тонкой желтоватой бумажкой.— А хочешь, я этим мундштуком спичечную коробку пополам разрежу, а?

— Не разрежешь,— усомнилась Любка,— он же из ваты.

— Спорим?

— На что?

— Ни на что. На что́ спорят только... Ну, эти самые...— Генка хотел было выругаться, но споткнулся.— Мягко говоря, нехорошие люди, ясно? — проговорил он.— Мы с тобой — из другой категории. Смотри! — Генка чиркнул спичкой, запалил ее, подставил под мундштук. Торец сигареты зашипел сыро и громко, будто ветка, принесенная с мороза и неотогретой засунутая в печку, начал ежиться, из него закапала какая-то жижка. Генка дунул на спичку, послюнявил пальцы и с силой сжал конец мундштука. Тот сплющился и тут же застыл — оказывается, пористое волокно было химическим, с пластмассовой нитью.— Видишь? — сказал Генка,— как нож острый получилась грань-то.— Провел пальцем по сплющенному концу, по ребру мундштука, пробуя.— Я им не только спичечную коробку, а и буханку хлеба разрежу.

Поскреб коробку со всех сторон, и та развалилась на две части.

— Как же вы такую гадость курите?

— Не знаю. Все курят, и я курю. Но надо призадуматься. Говорят, на сигаретах Знак качества перестали печатать. И надпись сделали насчет того, что два грамма никотина лошадь убивают. Или что-то в этом духе. Я пока не видел. Какой еще тебе фокус показать?

— Какой хочешь.

— Знаешь, у меня немного нос отойдет, чтоб на

мороз можно было высовываться, я тебе куропаток наловлю. Хочешь?

— Конечно. А как?

— Чнк-чнк-чнк-чик, это дниковнный способ. Ннкто в этнх краях такого не знает. Я его с Дальнего Востока прнвез.

— Что же это за способ?

— Увидишь.

Любка Внтякова подумала вдруг, что сделает этот человек свое дело, уедет назад, и без него наверняка будет пусто, без этого доброго, потешного морячка, без Чик-Чика,— будет скучать, наверное, весь их отряд. Такне люди, как Генка, нужны позарез, особо в тайге, там, где тяжело, они поднимают людям настроение, по́могают выстоять. И это очень важно. Задумчнвая улыбка возннкла у нее на губах, н показалось Генке, что она предназначена лишь для него одного, н трогательна она, как редкнй цветок. Хорошо стало Генке. И не существовало мороза за стеклами «дногеновой бочкн», всего трудного н недоброго, что было вчера и, вполне возможно, повторится завтра н послезавтра, не существовало бездумного прошлого, а было будущее, и маннло оно Генку, н сухо становнлось от этого во рту.

Мороз не отпустил н на следующнй день, н на третнй трескотун снова вызвезднлся такой знатный, что просто спасу от него не было. И туман стоял такой густой, что солнца не вндно — та-ак, висела какая-то немытая побрякушка в небе, мутное зеренышко, пятак заржавленный, а не светило. Машнны ходнли по зимннку на ощупь, ползалн едва-едва, чихая и задыхаясь от спертого дыхания, мялн колесамн твердый, словно стекло, снег — человек обгоняет в такой мороз машнну запросто. День снова был актнрованным.

И вообще на эту пору прнходнтся самый пнк морозов, холод прнпекает так снльно, что даже воздух стеклянным становится.

В такое время ннчего нет утомительнее безделья. Вот Генка-моряк и вспомннл о куропатках н диковинном способе, об обещаннн своем. Предложнл Любке:

— Ну так что, ловнть мне для артелн здешнюю вкуснятнну, а? Илн нет?

— Какую такую здешнюю вкуснятину?— не поняла Любка. Видно, забыла о разговоре.— Что за зверь?

— Зверь этот, чик-чик-чик-чик, таежный. Куропаткой называется.— Генка-моряк повертел в воздухе ладонью.— Пища аристократов. Вот.

— Тю! — Не веря, усмехнулся Ростовцев, находившийся в этот момент в «диогеновой бочке». Генке показалось, что недобро усмехнулся. Проговорил: — А впрочем... Вертолеты в такой мороз не ходят, мяса свежего не скоро подвезут... Давай угощай!

— Нет, я серьезно.

— И я серьезно,— испытывая Генку, сказал Ростовцев.

— Мы с Аликом третьего дня... или четвертого? В общем, когда шлейф чинили, видели несколько стай. Совсем недалеко от балков.— Генка-моряк выпил стакан компота, сиротливо стоящий на столе, разгреб ладонью воздух перед ртом: чик-чик-чик-чик! Облизал губы.— Имеем шанс десяточек на вертел насадить. А? Пустая бутылка из-под шампанского есть?

Ростовцев усмехнулся снова.

Пустая бутылка из-под шампанского нашлась, литая, черно-зеленого толстого стекла, пылью, будто пеплом, присыпанная. Генка-моряк отер ее, потребовал хрипловато-зычно:

— Кипятку!

Кипятка не было, но вскипятить полчайника — плевое дело, десять минут — и в железном эмалированном нутре уже фыркала, гулко шлепала, пылила рвущимися пузырями крутая жгучая вода. Кряхтя и пришептывая «чик-чик-чик-чик», Генка слил кипяток в бутылку, заткнул горлышко газетной пробкой.

— Вот и вся любовь! — изрек он.— А теперь бы ягоды-бруснички... Ну, ребят, у кого ягода-брусника с собственного огорода сохранилась, а?

И брусника нашлась, мороженая. Алые катышки твердые, как свинцовые дробины. Генка-моряк ссыпал дробь в карман.

— Все, ребят, двинул я на промысел.

Он поднял воротник, нахлобучил поглубже малахай на голову, вышел из «диогеновой бочки». Слышно было, как хлопнула дверь тамбура и каменно заскрипел снег под Генкиными кисами.

Генка-моряк пошел наискось от балков, на ощупь раздвигая плотные, как старая загустевшая сметана, лохмы морозной белесости, в направлении леска, чахлой рвущейся ниткой вдавившегося в горизонт,— там, в снежной целине, сейчас и засела-попряталась куропачья несметь, холод пережидая. Но холод холодом, а есть-то им хочется, поэтому Генка и приготовил птицам-куропаткам кое-что вкусненькое, подарок, так сказать. Много куропаток брать он не будет, а по-божески, чтоб ребят свежим мясцом побаловать, возьмет. Он отошел метров на триста, остановился, оглядел снеговой пятак, насколько позволяла морозная лохматура, поморщился от какой-то странной быстрой боли — он даже не понял, боль это или озноб, настолько быстро его пробил электрический разряд, запыхтел, зачичикал, ровно паровоз, подумал о застывающих в морозных лунках куропатках и снова поморщился, поерзал плечами под дошкой — мороз-то, не приведи господь, чик-чик-чик-чик, какой крутой мороз.

Бутылка из-под шампанского, в которую был налит кипяток, горячила тело, он подумал о балочном тепле, о Любке, и ему сделалось немного веселее, ознобная боль пропала.

Твердая, фанерной ломкости корка снега была сверху присыпана легкой пылью, похожей на пух бабьего лета, на одуванчиковое перо, и в пуху этом четко отпечатались крестики — следы куропаточьих лап. И все же поляна ему не понравилась, поэтому, пустив длинную гулкую струю изо рта, Генка попыхал привычно, продавливая сквозь губы: чик-чик-чик-чик, пробежал еще немного, к леску, в ту сторону, где они с Аликом мерзли, пытаясь совладать с газовой пробкой. Деревья были стылыми, и от этой стылости — прозрачными, они буквально светились насквозь. На бегу деревья тряслись и подпрыгивали. Несмотря на мороз, цепко впивающийся в нос, в щеки, в каждую малость оголившуюся на бегу частицу лица и рук, Генке стало весело, легко, словно не было только что пробившего его насквозь озноба, совсем не думалось о том трудном, что было вчера и что еще будет завтра — такой уж характер был у Генки.

Толстый, сдавленный морозом снег шевелился, словно живой, ежился под напором, ухал, стонал и потрес-

кивал, в нем, в толщи его, шла своя таинственная, не познанная Генкою жизнь.

Он выбрал ровный, довольно большой кусок опушки, где повсюду виднелись вырытые в снегу сусличьи норки — тут куропаток сидит много, стаи три, не меньше.

Генка остановился, пристальным взглядом полководца еще раз осмотрел опушку, решил — вот здесь и будет поле боя. Выдернул бутылку с горячей водой из-за пазухи, примерился. Ткнул этой бутылкой в снег. Черное, покрытое испариной тело бутылки, как поршень, беззвучно пошло в плоть снега — Генка выдернул шампанское обратно, и в месте укуса осталась ровненькая, аккуратно сработанная лунка с гладкими ледяными стенками.

— Один — ноль, чик-чик-чик-чик,— пробормотал Генка, залез рукою в карман, достал несколько смерзшихся дробин брусники, разломил, сунул в лунку. Куропатка бруснику пуще всего любит, пуще, чем детсадовец — мороженое, она брусничный дух издали чует и, как только Генка уйдет с этой поляны, тут же притопает сюда — алою вкуснотой лакомиться.

Генка отпрыгнул немного в сторону, пробежался рысцой, согревая застывающую в жилах кровь, ткнул еще раз бутылкою в снег.

— Два — ноль!

Насыпал в лунку брусники, снова пробежался, снова продырявил горячим поршнем снеговую одежку, удобрил ледяное гнездышко дробинами мерзлой ягоды.

Всего пятнадцать минут ему понадобилось, чтобы всю поляну утыкать лунками, которых он сделал что-то около полусотни. Опрометью, на «второй космической», почикивая на бегу, Генка помчался в «диогенову бочку» греться — мороз пробрал до костей, от студи, казалось, даже мозг в позвоночнике отвердел, стеклянно-хрупким сделался.

Он пулей ворвался в «диогенову бочку», затанцевал, заплясал в тепле, тряся красными, будто кипятком ошпаренными руками — оттаивая, они ныли, будто попали в давильню, было до слез больно. Мутные капелюшки ползли у него по щекам, скатывались за воротник. Сам виноват — голыми руками бруснику в лунки насыпал, это в варежках надо делать, в варежках. Но варежек нет, а в меховых рукавицах с таким тонким

делом не совладать. «Чик-чик-чик-чик»,— пыхтел, танцевал он от боли.

А в «диогеновой бочке» народу поприбавилось. Пришел Пащенко. Пришла диспетчерша Аня. Тезка великого писателя, Лев Николаевич Ростовцев, гибкий, с белесыми, будто вымерзшими волосами, сидел на койке рядом с Любкой Витюковой, думая о чем-то своем, забота ясно проступала у него на лице.

У Генки, когда он увидел сидящими рядом Любку и Ростовцева,— вот, черт возьми! — сладко заныло, занервничало что-то в подгрудье, и даже ломота в оттаивающих руках пропала, он зажмурился, словно не верил виденному, вспомнил свой разговор с Любкой, ее тихий, будто в чем виноватый и теперь извиняющийся голос, слезы потекли у него из-под стиснутых век сильнее, словно нашли там лазейку, ему стало горько, обидно, не по себе, он почувствовал себя обманутым.

— Ну что, товарищ Чик-Чик? — вдруг раздался Любкин голос, заботливый, теплый и знакомо тихий.

— Не приставай к человеку. Видишь, с мороза отходит, соленую юшку хлебает,— очнулся Ростовцев от своих дум. Усмехнулся.— Где ж твои куропатки? Я тут выглядывал на минуту, видел, как ты за балками козлом скакал, плотность снега измерял. На прочность его пробовал, что ли?

— При чем тут прочность? — нахмурилась Любка, защищая Генку.— Он дело делал.

— Какое же? Искал стратегические запасы в здешних болотах? Пятой точкой землю, как рентгеном, просвечивал? Или куропаткам концерт давал, веселил их? Пляскам их обучал? Кадрили с комаринской...

— Ох, и злой же ты бываешь, Лев Николаич,— сказала Любка.

— Не всегда. Но иногда приходится.

— Эгей, морская гвардия, слух прошел, что ты куропатками обещал народ угостить. Где же куропатки-то? — это подал голос Лукинов. Но Генка его не видел, он стоял в проеме «диогеновой бочки» и жмурился от обиды, лавиной опрокинувшейся на него, от несправедливости, от злых слов Ростовцева, от того, что тот сидел рядом с Любкой Витюковой.

— Будет обед с куропатками,— тихо произнесла Любка,— могу даже об заклад побиться. Товарищ Чик-

Чик, он у нас такой, он у нас словами не бросается.
— Проиграть не боишься? — спросил Ростовцев.
— Не-а,— ответила Любка.
— Будут куропатки,— глухо сказал Генка.

Ростовцев насмешливо фыркнул, обтер ладонью лицо, будто снимал с него угловатость линий, излишнюю твердость.

На поляну надо было наведаться через час, не раньше, Генка повернулся и вышел из «диогеновой бочки», поплелся в офицерский балок. Там, не раздеваясь, завалился на койку и совершенно неожиданно для себя уснул. Сон был коротким, тяжелым,— это был сон из прошлого, Генка даже сквозь забытье слышал собственные стоны, плач, с трудным хрипом вырывающийся из горла. Он никогда не плакал в жизни, наяву никогда не видел своих слез, считал их признаком слабости, даже какой-то хвори, человеческой муки, но во сне плакал часто, просыпался утром с мокрым лицом — это Генка видел сны из своего детства. И сны эти были горькими, как вообще бывают горькими сны безотцовщины.

Но потом толчок извне заставил его мгновенно пробудиться, прийти в себя. Он сел на койке, пошевелил пальцами в кисах, ощущая успокаивающую мягкость меха. Из хорошего меха сшиты унтята, надетые под кисы. Унтята, меховые носки, он обязательно надевал в морозы, а поверх — мягкие кисы, тогда трескотуну сложно пробрать работника... Черт возьми, какая чепуха, мелочь лезет в голову. Неужто других дел нет? Ткнул пальцем в клавиатуру «хрюндика», стоявшего на тумбочке, услышал мелодию, которая сразу напомнила ему о судне — родном, старом и милом корыте, о корешах, вместе с ним бороздивших океаны, о жизни в кубрике...

Эта кассета была привозная, он ее купил в африканском порту, в специальном магазине для моряков. Записи в кассете были на редкость удачными, заставляли печалиться светло и тихо, вспоминать находящийся за тридевятью морями дом. А когда печалишься — обязательно думы хорошие в голову приходят, обязательно людей, знакомых, близких тебе, вспоминаешь, хворь, если она есть, обязательно сходит на нет, и море, надоевшее за долгие месяцы плавания, становится родной зыбкой.

Потом в печальную мелодию, которую «хрюндик» воспроизводил на редкость чисто, врисовался тихий смех. Генка вздрогнул, резко вывернул голову, увидел, что в кухоньке офицерского балка сидит Любка, вскочил, растерянный, ударившись плечом о ребровину верхнего яруса койки.

— Т-ты чего т-тут? — спросил он, заикаясь от неожиданности.

— Стерегу твой сон. Это ж моя обязанность... Обязанность комендантши — стеречь сны.

— Б-брось,— растерянно пробормотал Генка.

— Ох, какие мы колючие, сентиментальности совсем не переносим. В ежика сразу превращаемся.

— Б-брось.

— Заикаться чего-то начал. Может, тебя врачу показать?

По Генкиному лицу проползла тень, судорожная, болезненная, Любка заметила это, умерила пыл.

— Слушай,— проговорил Генка нерешительно и смущенно, выщербина на подбородке у него заалела ярко, из окошечка, что в глазах, робко выглянул кукушонок, стрельнул золотом, снова спрятался,— слушай, а ты точно не любишь своего мужа?

— Точно не люблю,— усмехнулась Любка.

— И поедешь весной на Большую землю?

— Точно поеду.

— С мужем разводиться будешь?

— Буду разводиться.

— А ребенок?

— Что ребенок? — Любка выгнула брови колесом.— Ребенка выращу и без мужа.

Генка помахал у рта ладонью.

— Чик-чик-чик-чик. Что-то ты в бутылку, Люб, лезешь.

— Конечно. Тебе-то до этого какое дело? Тоже мне милиционер нашелся — допрос устроил.

— Знаешь, Люб, выходи за меня замуж,— вдруг быстро, на коротком вздохе, буквально единым словом произнес Генка-моряк, опустил голову, будто школяр, схлопотавший двойку.

Любка неожиданно охнула, прижала ладони к щекам.

— Да я же выше тебя на целую голову.

— Не страшно. Без каблуков обувь будешь носить.

— Ты что, серьезно?

— Серьезно,— Генка снова помахал ладонью у рта, будто обжегся.

А Любка-комендантша усмехнулась печально, задумчиво, ныряя куда-то в глубину, в самое себя. Вздохнула.

— Нет, Гена, не смогу я выйти за тебя замуж. Уплыла моя золотая рыбка, и осталась я у разбитого корыта... Как та старуха из пушкинской сказки. И надо ли сказку заново начинать? А? Не знаю.

— Обязательно надо,— в Генкиных глазах снова захлопотал золотой кукушонок,— ей-богу надо.

— Вообще-то жизнь тем и хороша, что в ней каждый раз сказки можно заново начинать. Но можно ли мне? Честное слово, не знаю,— Любка снова усмехнулась печально, в себя, это была полуулыбка-полуусмешка. Скулы на лице у нее заострились от невыплеснутой заботы, от тяжести всего недоброго, что выпало на ее долю. Розовина со щек сошла, лицо стало бледным и усталым.— Не знаю! — Встала резко, видно, приняла какое-то решение.— Ладно, не будем об этом.

— Ты подумай, Люб,— попросил Генка-моряк.— Подумай, а?

— Ах ты, товарищ Чик-Чик, товарищ Чик-Чик,— Любка с какой-то непонятной жалостью посмотрела на Генку, повернулась, пошла к двери.

Линолеум мягко трещал у нее под ногами. Трещали стенки офицерского балка. Трещала студь за окном. Любка остановилась, бросила через плечо:

— Ничего-то ты не понимаешь.— Вздохнула громко. Генке даже показалось, что вздох был сырым, со слезой. И вышла.

Генка поднял валявшийся на полу малахай, натянул его на голову. Чувствовал он себя опустошенным, лишенным крови и мышц, сил, плоти, всего, что могло бы держать его на земле, не давало завалиться на землю, сделаться зайцем, барсуком, серым волком, рыбой. Кости были непрочными, чужими, руки-ноги не слушались его. Он отвернул лицо в воротник дошки, всхлипнул загнанно, но тут же окоротил всхлип, будто испугавшись чего — как в детстве, когда взрослые требовали прекратить плач, грозя ремнем. Зачем он сказал ей все,

зачем предложил выйти замуж, зачем? Красные пятна монетами проступили у него на щеках — все-то выложил он на голубом блюдечке с золотой каемочкой, дурачок.

«Действительно, дурак,— вдруг с неожиданной жесткостью и холодом подумал он о себе, всосал сквозь зубы воздух, трезвея и приводя свои мысли в порядок, сбивая с себя жалость, хлябь, всю слезную накипь.— Ляпнул, дурак». В чем разница между умным и глупцом? Да в том, что первый вначале подумает и только потом скажет, второй же — вначале скажет и лишь потом подумает. А если Любка смеяться будет, Ростовцеву о его признании проговорится, других поставит в известность, а? У Генки даже морозные мурашки по плечам побежали, и, несмотря на теплую дошку, ему сделалось знобко, вся его жесткость вмиг превратилась в мягкую прель, слетела с него, будто что отмершее, ненужное.

И ему снова стало жаль себя. И жизнь свою, прошлую и настоящую. И Любку Витюкову, бобылку при живом муже, красавицу неудачницу, тоже было жаль.

И-э-эх! Он рубанул рукой воздух, чувствуя, что где-то рядом находится последний его предел, еще чуть-чуть — и расползется по ниткам, оборвется жила его жизни, и тогда уж ни подправить ничего, не изменить... Сорвал со стенки старую дерматиновую сумку с облезлыми боками, вышел.

На улице по-прежнему было туманно. Туман, сухой, словно сахар, скрипел на зубах, обваривал глаза, ноздри, зубы. Пора была собирать куропаток. Черед подоспел. Генка вздохнул затяжно, сиро и трусцой побежал на поляну, где он наковырял лунок. Бежал, стараясь попадать кисами в старые свои следы.

В первой же лунке, ледяной, скользкой, с зеркальными крупицами блеска по окоему, сидела куропатка. Она соблазнилась яркими, похожими на скатавшуюся шариками кровь ягодами, нырнула за ними на дно лунки, склевала, а обратно выбраться уже не могла — гладкий окоем лунки стиснул крылья, не давая им расправиться, и оказалась куропатка в положении узника, посаженного в ледяной колодец. Один только выход был — гибель. Ледяная гладь была исцарапана, порезы коготков белесые, частые — цеплялась за жизнь вкусная

птичка-куропатка до последнего, но мороз взял свое. Тушка была твердой, как камень, мертвой, а перо — еще теплым, живым, плотным.

Генка вытащил куропатку из лунки. Оледеневшая шея была негнущейся, словно насаженной на гвоздь, глаза наполовину прикрыты прозрачной, в синеву, пленкой. И сквозь пленку эту на Генку словно сама смерть глянула, и жутко, одиноко и стыло сделалось ему — будто никого в этом снежном безмолвии не было: ни людей, ни недалекого балочного городка, ни нитки железной дороги, которая уходила на юг, на Большую землю, в большую жизнь. И словно в горло кляп загнали — дышать сделалось нечем. Генка стиснул зубы так, что в ушах дребезжащий звон возник, и, перебарывая слабость, шагнул к следующей лунке.

Эта лунка была пуста. И оттого, что она была пуста, что в ней не погибла куропатка, ему сделалось легче. Третья — тоже была пустой.

А вот в четвертой сидела добыча, еще живая. Живая-то живая, но уже на исходе. Через пять-семь минут в камень обратится. Генка схватил куропатку, и жалость снова полоснула его бритвой по подгрудью; Генка вместо того чтобы скрутить куропатке голову и тем самым положить конец птичьим страданиям, сунул ее за пазуху — а вдруг отогреется? Но куропатка начала остывать у него под дошкой, холодить тело. Не отогрелась, умерла.

Дальше шли подряд несколько пустых лунок, а потом — также подряд — с добычей. Видно, сюда села целая куропачья стая, раз так густо попадалась птица. Села и полегла чуть ли не целиком.

Откуда-то из-за чахлых, обгрызенных ветрами сосенок, находившихся невдалеке, но в тумане не видных, потянуло таким крутым морозным варевом, что Генка чуть не задохнулся, замахал около лица ладонью, поднял воротник дошки, загораживаясь от секущего острого напора сибирской стужи.

Собрал куропаток. Три были живые, их Генка заметил издали — белые, как снег, взъерошенные комки отчаянно скребли коготками, барахтались в лунках, пытаясь выбраться на волю. Генка дал им волю — выпустил. Куропатки одна за другой фыркающими снежками мгновенно ушли в туман, растворились в нем, словно в

молоке. Генка поглядел им вслед, жалея, что не может вот так вот подняться и улететь, чтобы на всем, что происходило, поставить точку, положить конец переживаниям, заглушить в себе боль, тягу к Любке. Но не может он улететь, потому что работа не сделана. Надо быстрее заканчивать работу и возвращаться назад, чтобы никогда больше не видеть Любку Витюкову, никогда больше не слышать о ней. Впрочем, никогда — это тоже условно, живут-то они в одном городе.

Генка вздохнул смятенно, квело, побежал к балкам, ловя собственное, осекающееся на морозе дыхание и морщась от пронзительно-стеклянного визга снега под подошвами кисов. Неожиданно испугался — а вдруг он в тумане, в этом мерзлом молоке не найдет дорогу назад, к балкам? Это же смерть через час, максимум через полтора — обессилеет он и замерзнет, как те куропатки. Ему показалось, что небытие, тлен, вечная тишина смотрят на него мутноватыми, но осмысленными жестокими зрачками сквозь полупрозрачную синеватую пленку. Рябь озноба пробежала у Генки-моряка по лицу, он смахнул ее с себя, словно неприятную липкую паутину — сбиться с дороги он не должен, след на снегу отпечатан прочно, метели нет, чтобы соскрести, засыпать его, так что приведет стежок к теплу, к дому, к людям. И точно — через несколько минут из тумана вытаял круглый, обсыпанный лохмотьями инея крутой бок «диогеновой бочки», в которой жила Любка Витюкова.

Он потопал кисами в предбаннике, сбивая снежную наледь, прислушиваясь к звукам, доносящимся из-за двери,— уловил тихую магнитофонную мелодию, не бравурную, но и не щемящую — серединка на половинку, шорох услышал да еще какой-то странно недвижный, мутный шепоток. И снова он никак не мог совладать с собой — слезы подступили к глотке, закупорили ее. Эх, обиды, обиды, ничего мы, люди, не можем поделать, слепнем буквально, когда находимся в состоянии обиды, непогода зреет в нас, и дождь льет — сумеречный, тяжелый, обложной, и нет, пожалуй, силы, кроме нас самих, чтобы сменить дождевую хмарь, сырой и вредный, как кислота, туман на теплое солнце и прозрачное небо. Надо уметь брать себя в руки в такие минуты, надо думать о том, что в мире обязательно есть люди, которым куда тяжелее, чем нам (Генка вычитал как-то,

что, например, каждые тридцать пять секунд на нашей планете умирает человек от инфаркта. Это только от инфаркта. Но есть еще инсульт, рак, пневмония, лихорадка, грипп — много всякой пакости на земле), но это не успокоило Генку-моряка, весь он был полон неясной тоски, мути.

Генка-моряк машинально притопнул кисом, понял, что его не слышат в балке или же не хотят слышать, обузился, неприятно осиротел лицом, сдержал дрожь в губах, увидел впаянный в стенку предбанника крюк, повесил на него сумку. От газеты, растопыренным вороньим хвостом торчащей из-под питьевого ведра, заготовленного про запас, оторвал клок, нащупал в кармане дошки огрызок карандаша, механически послюнявил его, начертал в одну строчку, меленько, буквица к буквице: «Прошу отведать куропаток»,— и получилось это у него как-то по-детски обиженно, однобоко, бессильно. Нет бы выдать что-нибудь злое, хлесткое, чтобы надолго запомнили — ан, увы, не такая душа, не такой характер у Генки-моряка.

Постоял еще немного, глядя в грязно-молочное оконце предбанника, сквозь которое сочился мозготный худой туман, поморщился, словно съел семя перца, и тихо, стараясь не скрипеть, не выдавать себя движением, вышел. На улице похлопал руками по бокам, остро переживая все происходящее, обиженно выпятил брюквину подбородка нескладешный человек Генка Морозов, то ли прокашлял, то ли проплакал внутрь, в себя: «А-а, подавитесь вы этими куропатками!..»

Дней через пять, когда Генка-моряк уже заканчивал делать ревизию и сидел, что называется, на чемоданах, на самом дальнем шлейфе, на одном из сложных, в несколько колен мослов снова образовалась пробка, большая, метра в три длиной. Операторы, которые побывали на скважине, своими силами справиться с пробкой не могли, поэтому Генкин отъезд затормозили, «стоп» дали, чему Морозов и обрадовался и не обрадовался одновременно — с одной стороны, он еще некоторое время сможет побыть в балочном городке, сможет общаться с Любкой Витюковой, а с другой — ведь это же мрак в собственной душе, дополнительная психологическая нагрузка.

При упоминании о Любке перед Генкой каждый раз словно какое полотно, плотная тяжелая ткань разрывалась с тихим треском, мелькало что-то яркое и чистое, как дорогой камень, слепящее искорьем, целыми горстями искр, и он чувствовал, что падает, и это плавное мягкое падение каждый раз продолжалось долго, пока кто-нибудь грубо, извне, не обрывал его, толкнув нечаянно в спину или прокричав какую-нибудь тривиальную просьбу принести воды или передать гаечный ключ. Генка приходил в себя, шевелил вялыми, совершенно сухими и колючими губами, исполнял просьбу.

А Любка смотрела на Генку насмешливо, несерьезно как-то, будто никогда и не было между ними откровения, серьезного разговора. Но и ей довольно здорово доставалось в этой жизни: ведь надо же, безвылазно просидеть всю зиму в балочном поселке, в «диогеновой бочке», ни разу не выбраться в город, не увидеть новых людей, не потанцевать — и только из-за того, что она не хочет встречаться с мужем... Надо же! Да придавить бы этого мужа, как котенка, облить его презрением! Неужели в пору, когда наступит тепло, когда земля покроется зеленой одежкой, а иван-чай распустит свои розово-фиолетовые метелки, и солнце будет светить по-южному звонко, жарко, она покинет эти места и уедет? Неужели ее ничто больше не будет удерживать здесь?

Нет, что ни говори, обижайся не обижайся, но Любку надо остановить, удержать любой ценой. Любой. И это должен сделать он, товарищ Морозов, солидный перспективный человек, у которого впереди долгая интересная жизнь, и в этой жизни ему соответственно нужен спутник. Надежный, преданный, и чтобы обязательно — прекрасной души человек. Надо во что бы то ни стало задержать Любку.

И он, забыв обиду и приняв это решение, вдруг словно наяву услышал шум далеких океанских волн, что с вязким рокочущим гулом наползали на берег и, шипя, хлопая взрывающимися пузырями, переворачивая проворных белобрюхих крабов, откатывались назад. И ощутил он всем естеством своим, как поют птицы в плотноте зарослей манговых деревьев. И почувствовал, как слепящее жаркое солнце греет ему лицо, и от этого тепла, от уюта, ласковости ему захотелось засмеяться, захотелось сбацать морскую полечку, подержать на носу

камышинку, спеть хороводную песенку, сотворить что-нибудь хорошее, доброе.

Шлейф, где произошло ЧП, был хоть и дальним, но с подъездами — к нему могла пробиться пароустановка. Только вот какое дело — для нее надо было чистить дорогу, торить зимник. Тут-то и нужен был бульдозер, который Ростовцев обещал Генке-моряку, а если быть точнее,— Генкиному начальству.

Мороз по-прежнему припекал, те небольшие спады, когда трескотун малость отпускал, облегчения не приносили. Один за другим шли актированные дни, потому что в мороз ломалась, крошилась техника, железные конструкции рассыпались, словно вареная резина, дерево превращалось в скарн, камень особой твердой породы,— в мороз можно было сгубить технику, поэтому работа была на время прекращена. Генкино же дело не ждало, когда трескотун подвинется, уступит. Если ждать, то пробка из трехметровой превратится в пятиметровую, в десяти-, в двадцатиметровую — поэтому Генка-моряк насупился, выпятил вперед тугой, похожий на репу подбородок, потеплее оделся, зашаркал мягкими кисами к Ростовцеву.

Ввалился к нему в клубах пара, как в дыму. В балке кроме Ростовцева находилась Любка Витюкова. Она стояла, прислонившись спиной к стенке, к которой был прикноплен график с рыжастыми и синими — петушиные цвета! — изломами линий. Лицо — чуть покрасневшее и оттого ставшее грубоватым,— из-за красноты исчезли нежные притеми в подскульях, сровнялись они, а вот глаза, напротив, выделились, в них глубь океанская, до дна которой якорь вряд ли достанет, проявилась.

Генка обдался бурым варевом, кровь даже к кончикам пальцев, к ногтям подступила — тронь и выбрызнет фонтанчиком. Смутился Генка.

Ростовцев это заметил.

— Ну что, адмирал? — спросил он.

— Да вот... эта... Бульдозер мне нужен!

— В такой мороз?

— Газ, он норовистый парень, морозов не признает. Ему, когда его перекачивают по трубе, свободная дорога нужна. Без пробок. А если пробка, то он бунтует,— произнес Генка-моряк, посмотрел вбок, в замороженное оконце прорабской.

— Техника же летит, сталь крошится. Опасно в такой мороз работать, адмирал. Корабли на дно пустить можем.

— Мне бульдозер нужен,— шалея от того, что рядом находится Любка Витюкова, пробубнил Генка.

Ростовцев зло обузился лицом, встал, посмотрел на Генку со своего Олимпа, сверху вниз. Генка переместил взгляд на Любку, и тревожное разрушающее чувство ледышкой проскользнуло у него по груди, ткнулось под сердце и замерло. Сразу стало холодно. Совсем холодно. Он понял, что между Ростовцевым и Любкой произошло объяснение. И далеко не служебного характера. Ну что ему надо, Ростовцеву? Бабник он, что ли? Да ведь у него жена есть. Же-на... Генка сглотнул слюну, с силой сдавил челюсти. На зубах что-то захрустело.

Ростовцев взял со стола некий агрегат, отполированный, похожий на кирпич с наискось сколотой макушкой,— Генка понял: микрофон «матюгальника».

— Товарищ Пащенко, срочно зайдите в прорабскую,— Ростовцев подождал, пока хриплый отзвук прокатится вдоль стежка балков, вернется назад, мякишем стукнется в дверь прорабской, снова надавил большим пальцем на педальку микрофона: — Пащенко, товарищ Пащенко, срочно зайдите в прорабскую! — Поставил микрофон на стол.— Вот сейчас появится командир бульдозеристов товарищ Пащенко Виктор... как он там, Люб, по батюшке?

— Иваныч.

— ...Виктор Иваныч Пащенко и все поставит на свои места. Если он согласится поехать в такой мороз — его воля. Ответственность он возьмет на себя.

— Но ведь газ же,— пробубнил Генка и оборвал свой несмелый ученический бормот, подумал: а может, Ростовцев прав? Ведь он, Ростовцев, передовик, про него в газетах пишут, по радио говорят, его все знают. Может, хрен с ней, с пробкой, может, бульдозер полетит на первом же километре и будет потом стоять целую неделю, пока его не починят. Это же деньги, убыток, это толстая пачка «красненьких», пущенная, извините, козе под хвост. А? Упрямо выпятил подбородок — нет, Ростовцев не прав.— Мы же шлейф на километр заморозим. Если не целиком.

— Сколько стоит километр твоей трубы, а?

— Не знаю. Дорого, наверно.

— Дорого не дорого, но все равно — это семечки. Если что — за свой счет поставим. Понял, чем дед бабку донял?

Генка-моряк метнул быстрый взгляд на Любку. Та стояла не шевелясь. Спиной у стенки, будто грелась. Над головой — график с линиями петушиной расцветки. Пусто как-то было Генке.

— Оттает немного, потеплеет, вырежешь километр этой трубы и поставишь новый. Я тебе этот километр обеспечу за так. А старую трубу продуешь, как боцман макаронину, и про запас оставишь себе. А?

— Нет,— тихо и твердо сказал Генка.

— Ну, как знаешь,— проговорил Ростовцев.

Генка повернулся через плечо, круто, по-матросски, вдавившись пяткой киса в линолеум пола, вышел.

Навстречу — Пащенко.

— Чего он там меня? — сгорбившись от холода и притопнув ногами по снегу, вместе с паром дыхания продавил он сквозь обледеневающие на холоде зубы.

— Это я тебя домогался.

— Чего надо?

— Пошли в офицерский балок.

— А к Ростовцеву?

— Считай, что доложился.

В балке Пащенко сбросил с себя шапку, расстегнул шубу, под которой, для утепления, находилась еще и меховушка. Шея у Пащенко была длинная (Генке-моряку даже подумалось: как у гуся шея-то, в полтора километра), жилистая, в жгутах вен, сдавленных застегнутым на крупную, видать от наволочки, пуговицу воротником. Пащенко поморгал красными, обваренными ветром глазами.

— Ну?

— Виктор Иваныч, просьба,— Генка кинулся к бадейке с водой, зачерпнул кружкой, выпил. Ему перехватило дыхание, он боялся сказать не то — а если он скажет не то, Пащенко отошьет его с бульдозером, от ворот поворот даст. Помахал у рта ладонью — жест, ставший у Генки настолько привычным, что уже не поддавался контролю: — Чик-чик-чик-чик...

Пащенко неожиданно улыбнулся. И это была не усмешка, которую Генка привык видеть в ответ на свое

неодолимое «чик-чик-чик-чик», а именно улыбка — хоть и слабая, но добрая, сочувственная.

— Виктор Иваныч, помоги, пожалуйста, а! У нас на шлейфе — ЧП. Газ смерзся, трубу забил. Смерзся, гада,— заторопился Генка, ожидая увидеть, что лицо у Пащенко сейчас поскучнеет, поугрюмеет, сделается непробиваемым. Но лицо у Пащенко не изменилось.— Вручную эту пробку не протолкнуть. Пароустановку туда надо, понимаешь, забрасывать. Вот,— он задохнулся, отпил еще немного воды из кружки,— пароустановку, чик-чик-чик-чик, гада! А? А для пароустановки дорогу надо пробивать, сама она не пройдет. У нее, верней, у «газона», вся резина лысая, буксует, гада... Никакие цепи, сколько ни привязывай, не спасают. Бульдозер, Виктор Иваныч, нужен. Не откажи, а... Ну чего тебе стоит? — упрашивал Генка.— А? Ну чего? — Споткнулся, определив окончательно по улыбке Пащенко, что тот не должен отказать — слишком много теплого, людского было в этом неловком раздвиге обветренных, десятки раз облезших, обшелушенных губ.

— Па-анятно,— протянул Пащенко, увидев, что Генка-моряк закончил свою пламенную речь,— па-анятно, что ничего не понятно. Когда надо выезжать?

— Сейчас, если можно.

— А не поморозимся?

— Не должны.

— Ладно, будь по-твоему.

Генка-моряк прижал руки к дошке, к сердцу своему, откровенному, неловкому, простецкому, потом поклонился неожиданно учтиво, словно провинциальный дворянин — проситель из чеховского либо бунинского рассказа.

— Спасибо большое.

— Пока не за что.

Выехали минут через двадцать. По зимнику тащились задом, волоча тяжелый, посверкивающий синей сталью лемех за собой — гладь зимника была ровной, тут чистить нечего. Пащенко привычно поглядывал через плечо в оконце кабины, ловко орудовал рычагами — так ладно и ловко, что просто засмотреться можно.

За кабиной тоненько посвистывал морозный ветерок, туман густел, ярился, наливаясь жестокостью и силой, мотор глухо поуркивал, выплевывая в карандашик тру-

бы, прикрытый остроугольной, похожей на шутовской колпак шляпкой, черные пороховые кольца, дизельную вонь, отгар. Траки лязгали по глади, вызывая щекотную ломоту на зубах, скрипели, потрескивали опасно, грозя порваться. В такой мороз всякое может случиться — и траки, глядь, порвутся, и колесо-прави́ло раскрошится, зубья стешет, и мотор умерит бой, закашляет, угаснет на полуфразе — тут все может быть.

Генка поглядел под козырек кабины, в белесую туманную муть, спрессованную морозом, ловя, за что же может зацепиться взгляд. Но молочное варево было густым, ровным и прочным, без единого сучка — не за что зацепиться. Где-то там, в выси, ходят-бродят самолеты, летают на юг, в тепло, в весну, в земли, где никогда не бывает холода... А тут и в декабре — холод, зима, и в апреле — холод, зима, и в сентябре — холод, зима, снег, скрипучая земля под ногами. Лишь в мае, июне, июле, августе — весна, лето, осень, вместе взятые, сплюснутые в лепешку, загнанные в окоем четырех месяцев. И ничего тут не поделать. Но зато лето в эти короткие четыре месяца берет свое — припекает так, что на собственной спине картошку жарить можно. Земля кипит, жаром попыхивает, искрами потрескивает, тундра в кисель превращается, а болота становятся настоящею бездонью.

Видно, сколько ни приучай нас к себе зима, никогда мы не приручимся, всегда нас будет тянуть в тепло, и думать мы будем о лете, и призрачные думы эти будут согревать, помогать выстоять в схватке со стужей.

Куропатка — белая обитательница зимы — на что уж живет здесь, на Севере, сотни лет, века, и то к стуже никак привыкнуть не может — пролетит в мороз метров двести и камнем падает вниз, ныряет в снег погреться. А воробьи, если неосторожные, те вообще крупной дробью на землю сыплются, в мерзлые комки на лету превращаются.

Вот ведь как.

Пащенко оторвался от рычагов, вытянул свою длинную жилистую шею, прислушиваясь к бормотанью мотора, выискивая неполадки, но неполадок не было, и он удовлетворенно огруз на выстроченном мелким стежком сиденье, сгорбился, держа крупные костистые руки на деревянных насадках рычагов.

— А этот твой... что? Ну, с усами который? Под Буденного.

— Алпк? Он пусть отдохнет пока. Не всем же мерзнуть — один кто-то должен. А Алик, он с пароустановкой приедет. Как только след проложим.

— Знает куда?

— Знает. А потом, у него чутье. В армии в разведчиках ходил. Всегда точно знал, в какой кастрюле у повара каша от обеда осталась, а в какой — щи. И чем завтра, послезавтра и послепослезавтра будут их роту кормить — тоже знал. За это ефрейтора и дали.

— Специалист. Хар-рош парень.— Оторвал левую руку от рычага, зажал в кулак подбородок, попросил: — Рассказал бы что-нибудь, а, морское.

Но морское Генке сейчас не хотелось вспоминать, от воспоминаний, говорят, кости здорово ломит, а когда собираются ветераны на традиционное: «А ты помнишь?», то и голова наутро от этого болит.

Дорога была ровная, как стол,— даже удивительно — и чуть засиненная по отвалам, шедшим справа и слева от машины. Мороз снаружи ярился такой крутой, что при мысли о нем между лопатками проступал холодный пот и сжимало виски, в кабине же было тепло, по-свойски уютно, две электрические печушки потрескивали, попыхивали жаром, нагоняли жилой дух, и Генка-моряк даже передернулся, покрылся пупырчатой моросью, когда подумал о том, что надо будет вылезать наружу, мучиться с пробкой, ликвидировать аварию.

— Ну так чего ж ты не рассказываешь? — спросил Пащенко.— Морское что-нибудь.

— Про морское я уже все рассказал.

— Расскажи о другом, а то уснуть можно.— Пащенко выпустил из рук деревянные набойки рычагов, склешнил и расклешнил пальцы — хоть и ловко он орудует рычагами, а, видать, трудно управлять машиной, когда она ползет задом по зимнику. Ну ничего, скоро вправо зигзаг придется сделать, тогда уж невольно на сто восемьдесят градусов надо будет обернуться, лемех вперед подавать, широкий след в целине прокладывать, чтоб пароустановка — это допотопное корыто, машина Джеймса-Уатта, ползуновский паровоз, поставленный на облысевшие колеса,— чтоб смогла установка пройти.

— А-а, вот какая история у меня есть,— вспомнил Генка-моряк, подергал у рта рукою — чик-чик-чик-чик. Про старика и золотую рыбку.

— Из Пушкина, что ль? — поинтересовался Пащенко.

— Да нет же, не из Пушкина. Поймал, значит, старик золотую рыбку. Ну, та сразу ему — отпусти, мол, назад, в синее море, а я тебе за это выполню три любые желания. Ну, старик и пожелал: «Хочу,— говорит,— быть молодым принцем — это во-первых, во-вторых, принцем богатым, а в-третьих, чтоб у меня была самая красивая в мире жена». «Хорошо»,— сказала золотая рыбка, и как только старик отпустил ее в море, то он сразу же очутился в роскошном старом замке. Стоял он перед зеркалом, поправлял красную гвоздику, вправленную в лацкан, в петлицу то есть. Был он молод и роскошно одет. Вот. И увидел старик, что сзади к нему приближается женщина такая красивая, каких он даже во сне не видел. Приблизилась, значит, женщина к нему, смахнула пылинку с его плеча и сказала: «Фердинанд, поторопитесь, нам пора в Сараево».

— Это тот Фердинанд, из-за которого в четырнадцатом году война началась? В Сараеве которого прихлопнули?

— Ну!

Пащенко захохотал оглушительно, будто забабахал из пушки, напрягая толстые витые жилы на шее. Глаза его, крулые, в красной от недосыпания и мороза обводке, сузились до крохотных кривоватых, похожих на запятые щелочек. Кончив хохотать, он объявил:

— Хар-рошая история. Ну и старичок-старикашка, маху какого дал. Не знал он, дедуля, не знал, что ему золотая рыбка подсунет...

Дальше стало не до анекдотов, не до историй — дальше надо было торить целину. Зимник ушел в молочное марево, растворился в нем, а они сделали поворот направо, вгрызлись в трескучий, мерзлый и твердый, как камень, снег, пухлой, совсем не каменной горой вздыбившийся перед лемехом бульдозера и высоко поднявшийся над капотом машины, засыпавший капот тяжелыми спрессованными комьями, гулко хлопающими о железо. Зарычал надсадно, напрягаясь, движок, черный вязкий дым плотной кудрявой струей пошел из тру-

бы-карандаша, норовя сорвать остроугольный колпак. Пащенко добавил газа, и гора развалилась надвое, легла покорными, со странным синеватым мерцанием отвалами по левую и правую стороны машины. А над кабиной снова взбугрилась гора, затрещавшая, словно лес под напором урагана, когда тот кладет деревья, будто спички, ниц, обламывает макушки, обрывает ветки, заставляет дрожать и волноваться землю, отзываться в ответ долгим обиженным гулом, тревожит облака, небо, сливочный катыш солнца.

Скулы на лице Пащенко напряглись, покрылись пятнистым румянцем, глаза обузились, виски запали, сквозь кожу проступили какие-то странно узловатые, неровные костяшки, руки спаялись, слились воедино с набойками рычагов, будто были выструганы из одного древесного корня, из одного чурака.

— Сколько нам идти до твоей... этой самой... До пробки? — с одышкой, будто не машина разгребала мраморные пласты снега, а он сам, прокричал Пащенко.

— Километров шесть.

— Много! — прокричал Пащенко, сплюнув в угол кабины.— Запали мне сигарету, курить очень хочется.

Генка прикурил от спички сигарету, сунул ее Пащенко в губы. Пащенко выпустил клуб дыма сквозь ноздри — ну ровно бульдозер, пароход настоящий,— ощерил крупные, с желтизной зубы.

— А насчет Фердинанда и его бабы это ты хорошо загнул. Ей-ей.

Генка кивнул в ответ, прикидывая, какая же у Фердинанда была жена, красивая или некрасивая, видел он ее в учебнике истории или нет? По всему выходило, что не помнит, не видел, не знает... Вполне возможно, что она такая, как... ну, как Любка Витюкова, такая же высокая, с нежным лицом, ласковыми глазами, с длинными ровными ногами, и близкая, так сказать, до того, что при виде ее что-то мешает дышать, голос срывается на шепот, и нечем его подправить, привести в нормальное состояние.

Горечь проступила у Генки на губах, облезлых, в твердых заусеницах, сожженных ветром и морозом. Ему иногда хотелось упасть кому-нибудь на грудь, сильному, властному, бесконечно дорогому, рассказать обо всем, что с ним творится, излить душу, выплеснуть все

тяжелое, что мутит, бередит, покоя не дает. Вот был бы жив отец... Только ему и можно о таком рассказать. Даже матери нельзя — только отцу. Но умер отец — военные раны и хвори много лет спустя достали, доконали, в Хабаровске на городском кладбище похоронен батя, и кости его, видать, уже сопрели, в прах обратились. Генка стиснул горькие свои губы, сомкнул крепко веки, и в густой сожженной черноте перед ним встало какое-то знакомое и одновременно незнакомое лицо, доброе и близкое, с решительным взглядом, волевым ртом, тщательно выбритыми щеками, и Генка узнал это лицо, узнал человека, возникшего перед ним из призрачной теми, и виноватая боль птицей замолотила ему в виски, и сердце дрогнуло и остановилось у него внутри, кровь вяло заполоскалась в жилах, остывая. В следующий миг Генка разглядел петлички на воротнике солдатской гимнастерки, вольно, не по-военному, расстегнутой, и жестяные, вырезанные из донышка консервной банки треугольники, нитками пришитые к петлицам. Генка сглотнул несколько раз горечь, образовавшуюся теперь не только на губах, но и во рту, силясь произнести имя человека, вставшего перед ним, силясь произнести слово «батя», но не мог. Где-то рядом ревел, грохотал, кашлял, надрывался мотор, бряцал металл, хороший человек Пащенко управлял машиной, ведя ее, словно боевой крейсер, к месту аварии. И вот уже видения нет, все истаяло, исчезло, осталась лишь чернота, темь, в которой вяло шевелились, плавали блеклые, слоистые, как дым, кольца.

Он открыл глаза. Перед ножом бульдозера дыбился, полз вверх, рассыпался на тяжелые каменные комки снег, мерзлые ошмотья лезли на капот, тупо били о стекло. Генка оглянулся назад, в слюдяное, никогда не замерзающее окошко — сзади оставалась ровная приутюженная борозда, утопающая дальним своим концом в тумане — добрая дорога прокладывается для лысоколесой машины.

Пащенко молчал. Плотно сжав рот и напрягая длинную жилистую шею, он мрачно глядел вперед, поигрывая комками желваков, загоняя их под самые скулы. Поскольку было плохо видно, Генка даже забеспокоился, как бы вслепую не наткнуться на шлейф, не срубить трубы. Хотя тревожиться было рано — до труб еще

далеко. Но все равно он решил быть настороже, решил повнимательнее поглядывать по сторонам.

Видя натужное, мрачное до убитости лицо Пащенко, прокричал ему:

— Может, еще что-нибудь рассказать, а?

Пащенко помотал головой.

— Некогда.

Потянулось время, мучительно медленное, тяжелое, полное ожидания, лишенное дела. А он без дела не привык быть. Худо Генке-моряку без дела.

Наверное, добрых два часа прошло, прежде чем Генка в прогал раздвоенной снеговой горы, в это твердое междугорбие, будто в гигантскую винтовочную прорезь, разглядел ровный длинный стежок, приподнятый над землей и оголенный на левом своем конце,— это операторы гоняли сюда на лыжах, они очистили кусок трубы, который забила пробка.

— Левей бери, левей,— прокричал Генка,— вон вишь, труба где очищена? Туда правь.

Пащенко понимающе кивнул, малость потянул левый рычаг на себя, освобождая нож от снеговой горы, еще немного подал рычаг, заваливая торину-дорогу влево. Вот так, пожалуй, и надо держать — тогда точно носом бульдозера в шлейф упрутся.

— Ты мне трубу не сбрей,— забеспокоился Генка, помахал у рта ладонью,— чик-чик-чик-чик, а то мне потом за нее голову смахнут.

— Не бои-ись, родимая,— хрипло протянул Пащенко,— не сбреем.

Плотный и грузный, килограммов на двадцать, шматок снега с силой ударил в стекло, чуть не расколотив его в брызги, Пащенко даже охнул от опасения и досады. Выломает стекло — тогда пиши пропало, никакая печка их не спасет, мороз одолеет, не дотянут они с выбитым стеклом до балочного городка.

— П-падло,— выругался Пащенко запоздало, сбросил немного газ.

Около нитки шлейфа он крутанул бульдозер вокруг одной гусеницы, делая удобной поляну, утюжа снег до земли, потом надавил унтом на тормоз, останавливая разгоряченную машину — все! Точка.

— Принимай работу,— сказал Пащенко.— А я пока перекурю,— приоткрыл дверцу, в которую враз шиба-

нуло каленым морозным духом, высекло влагу из глаз. Отшатнулся.— Во дерет, родимец. Высмолим по цигарке и назад двинем.

— Спасибо, Виктор Иваныч,— по-старомодному, вежливо, как и в прошлый раз, поклонился Генка. Действительно, дворянин.

— Далее — твоя уж работа.

— Спасибо,— еще раз произнес Генка.

— Голое спасибо нынче не в моде, спасибо нынче еще кой-чем подкрепляют.

— Выставлю сорокаградусную на стол. Холодную. Со слезой.

— А как же с сухим законом?

— Я в городе это сделаю. А? При встрече. В городе-то сухого закона нет. Годится?

Едва двинулись назад, как кто-то будто черным крылом машину накрыл, и небо сплюснулось с землею, и озноб посек лицо — движок бульдозера вдруг взревел громко, визгливо, на одной надорванной ноте, что-то в нем зашаркало, заскрипело железно, будто все болты пообломались, их, ненужные, ссыпали в металлическую банку, и теперь какой-то баловник гремел ими, сотрясал воздух. Пащенко дернулся, негнущиеся острые складки пролегли у него ото рта к подбородку, в глазах пустота образовалась, холодная и мертвая. Губы Пащенко увяли, и Генка понял, что пришла беда.

Бульдозер еще немного протащился по пробитой дороге, волоча за собою нож, и остановился. Движок кашлянул дважды, выталкивая из своего горла черную дымную вонь, вздохнул виновато, протяжно, словно живой, и умолк.

Образовавшаяся тишина была гулкой и страшной. Кряхтел снег под тяжестью мороза. А мороз давил и давил, приближаясь к шестидесятиградусной отметке. И больше — ни звука. Ни ветряного писка, ни птичьих вскриков, ни шороха спящих деревьев.

— Все,— шепотом сказал Пащенко.— Мотор полетел. Мороз, падло, он нас сейчас в гроб вгонит.

— Починить можем? — так же шепотом спросил Генка.

— Нет. Поломка серьезная.

— Что делать?

— Надо бегом на зимник. Там машины ходят, под-

берут нас. Нам бы до городка, а там мы разберемся, что к чему. И с трактором назад вернемся.

— До зимника — целых шесть километров. Это м-много.

— Чем быстрее пойдем — тем лучше. В кабине оставаться опасно. Сейчас тут как в холодильнике сделается.

И действительно, тепло быстро улетучивалось из кабины — мороз брал свое. Углы двери уже обмахрились белой шерстью, стекла, никогда не замерзающие, подернулись тусклотой. Воздух густел, становился стылым, вязким, как смазка, и Генке показалось, что сумерки раньше срока опустились на землю.

— Ладно. Бежим скорее к зимнику,— шепотом протиснул Генка-моряк сквозь губы.— Бежим!

Ему хотелось услышать звук собственного голоса — такой страшной, бесчувственной и полой показалась ему тишина. Он распахнул дверцу бульдозера, выпрыгнул наружу, задохнулся от крутого воздуха, услышал, как с той стороны на снег спрыгнул Пащенко. Не говоря ни слова, Генка спорой трусцой побежал по пробитой в снегу дороге, перепрыгивая через глыбы наста, свалившиеся вниз, прислушиваясь к стеклянному визгу, раздававшемуся под ногами, и одновременно ловя одним ухом возникающий сзади ответный визг — это бежал Пащенко, не отставал от Генки.

Надо равномерно распределить силы на эти шесть километров и еще немного на зимник надо оставить — не то вдруг не повезет, не сразу на них напорется машина, и тогда, чтоб не остынуть, придется им бежать и по зимнику в направлении балочного городка.

Он вывернул голову, увидел кирпичное, с белыми пятнами на скулах лицо Пащенко — вона мороз как прихватывает, и трех минут не прошло, а трескотун уже берет свое. Бульдозер почти что скрылся в морозном мареве, угадывалось только темное расплывчатое пятно, и все — через два десятка метров бульдозера уже не будет видно.

— Щеки потри,— выдавил с паром Генка.

Пащенко приложил обе рукавицы к скулам, подвигал рукавицами вверх-вниз, смывая с лица морозные пятна.

Сердце громко бухало в висках, норовило выскочить,

дыхания не хватало, бежать было трудно. Крутая нагота отвалов пугала, била слабой недоброй синью в глаза, снег был крупитчатым, рябил рыбьей чешуей, щетинился угловатыми железными ломтями наста, вылезающими из мертво схваченной плоти. На бегу Генка натянул на рот шарф, чтоб не леденило зубы, язык, нёбо, поднял воротник дошки.

Бежали они медленно — быстрее бежать мороз не давал, да и силы надо было экономить, в расчет и зимник нужно было брать. Прозрачные, укороченные тени брели за ними, то отрываясь, будто голодные собаки, на минуту остановившиеся обнюхать землю в смутной надежде раскопать кусок еды, то снова догоняя и приникая к ногам. А может, теней и вовсе не было — кто знает? Перед глазами заблистали, забегали сверкушки, снег был теперь всюду — и по бокам, в отвалах, и под ногами, и над головой, где медленно, словно заговоренные, с давящим телесным шорохом плыли целые глыбы спрессованной белой крупы, обгоняли Генку и Пащенко в их беге, потом попридерживали движение, поджидали. И крылось в этом безмолвном движении что-то властное, обрекающее на слепую ярость — чувство, совсем не способное хоть как-то поддерживать в человеке силы.

А силы таяли. Бег обратился в иноходь, а потом и вовсе в шаг. Генка-моряк слышал, что сзади совсем близко хрипел-задыхался Пащенко, но обернуться не мог. В Генке на ходу вымерзало, стекленело все: и мозг, и кровь, и кость — все-все, он, похоже, превращался в собственную тень, что без плоти, без мяса — рукой не тронешь, не пощупаешь.

Но потом он нашел-таки в себе силы обернуться на стынущий хрип Пащенко.

— Как ты там?

— П-плохо, п-парень. З-замерзаю,— Пащенко сплюнул на землю, слюна на лету обратилась в пузырчатую ледышку, так, твердой ледышкой, и шлепнулась в снег.— Д-до з-зимника н-не д-дотянем,— просипел он.

— Дотянем,— упрямо крутнул головой Генка, помахал у рта ладонью, прогугнил что-то в себя, совсем не похожее на привычное «чик-чик-чик-чик».

— Д-далеко,— загнанно прохрипел Пащенко.

— Держись! — выдохнул Генка яростно, оглянулся — лицо у Пащенко было сейчас обвядшим, без твердых

прямых скибок, все время державшихся у рта, сплошь белым — Пащенко замерзал, и ему отказывалось повиноваться тело, мышцы — это Генка понял твердо, и едва успел затормозить свой ход, как ноги у Пащенко подломились, и он рухнул, коленями, грудью лицом приложившись о снег. Генка-моряк дернулся назад, сбивая малахай на затылок, не чувствуя боли, хотя пот, моросью выступивший на лбу, тут же обратился в лед и мертво прикипел к коже. Сквозь молочную вязкость тумана на землю пробивался слабенький, совсем худой свет, в котором обмахренный инеем человек, распластавшийся на снегу, казался Генке огромным, неподъемным, всосанным в гладкий покров дороги.

— Вставай, Иваныч! — склонился над человеком Генка.— А, Виктор Иваныч! — умоляюще, торопливо глотая буквы, давя в плюшки слова, пробормотал он, окутался тягучим облаком пара. Казалось, с этим паром уходили из него, истаивали последние силы.

Ответа не было. Тогда Генка подсунулся под Пащенко, поднял его руки, закинул их себе на плечи, скрестил у собственного горла и, почти не слыша, что там мычит потерявший силы человек, в котором он теперь обязан поддерживать жизнь (до тех пор, пока жизнь будет держаться в нем самом, он обязан поддерживать жизнь эту в Пащенко), через силу поволок его по пробитому снеговому коридору к зимнику, всхрапывая загнанно.

В нем зрела, в спелый плод превращалась мысль о том, что надо остановиться, передохнуть хотя бы секунду, прилечь на снег, но он гнал эту мысль прочь, подальше от себя, ибо понимал: стоит только остановиться, сделать перекур, лечь на землю — и тогда намертво примерзнешь к этой земле. Не потому ли в нем ясным зернышком заблистала мысль о том, что Алик с Петром Никитичем должны уже катить сюда на пароустановке, скоро они будут здесь, надо только выстоять до их приезда, продержаться во что бы то ни стало, и тогда они будут спасены. Спасены!

Он попытался сквозь визг снега под ногами уловить далекий шум мотора, но сколько ни прислушивался — не уловил. Закусил нижнюю губу зубами, вышиб из нее струйку крови, неслышно стекшую на подбородок, просипел едва приметно, неожиданно для себя, подневоль-

ное, видать, и сейчас, в тяжелую минуту, вертевшееся на языке:

— Лю-ю... Лю-ю-б-б-б...

А Любка Витюкова сидела в это время одна-одинешенька в «диогеновой бочке». Вдруг что-то высверкнуло перед ней тонюсеньким, обжигающим глаза пламеньком и тут же пропало, будто ничего и не было. Она вгляделась в дверь балка, обшарила глазами стенки — ничего нет. Раздалось, правда, что-то неясное — то ли шепот, то ли сипенье,— вроде бы кто ее имя силился произнести, но она не уверена была — явь это или же почудилось, как чудится голос призрака. А может, в мозгу отпечаталось и прозвучало собственное имя, как в общем-то часто и бывает.

Но все равно непонятно — был яркий пламенек или не был, был голос или нет,— если и было все это, то пропало... Но смутная тревога все же поселилась в ней, опалила грудь изнутри — видно, ощущала что-то Любка Витюкова чутким бабьим сердцем своим, видно, совсем рядом пронесся, разрезая воздух на ломти, голос беды. Она вытянулась в струнку, прислушиваясь к бою сердца, плеску крови в жилах, понимая и не понимая одновременно, что же происходит.

Неожиданно дверь растворилась без скрипа, без стука, будто смазанная медвежьим таежным салом, и на пороге появился Ростовцев, высокий, необычно нарядный, в костюме, выглядывающем из-под дубленки, в белой сорочке — нежном нейлоне, без галстука. В распахе сорочки виднелся шелковый шарфик, здорово идущий к лицу Ростовцева, превращающий его прямо-таки в киногероя. Видно, это Ростовцев знал, раз нарядился так.

«С чего бы такой наряд? Для бала, что ли? Или парадный костюм по случаю актированных дней?»[1] — хотела спросить Любка, но не спросила. Молча глядела на Ростовцева.

Тот деловито шагнул в комнату, плотно, без шума, прикрыл за собою дверь.

«Зачем?» — опять хотела спросить Любка, но не спросила, оглянулась беспомощно, словно пыталась найти в балке еще кого-нибудь, диспетчершу Аню, что ли, но в балке, кроме них двоих, никого не было. Сухой

жар ударил в лицо. В ней оторвалось сердце, и Любка, удерживая его, пригнулась резко, накрыла грудной клеткой, будто мотылька, вздохнула протяжно, загнанно.

— Ну что, Ростовцев? — спросила она.

— А-а, все суетимся, суетимся, не зная, куда идем,— сказал Ростовцев, садясь рядом с нею на койку. Стянул с себя дубленку, положил рядом.— Неинтересно и сложно жить человеку, у которого все заранее расписано, все запрограммировано, все он знает: и когда ему завтракать, и когда пойти в кино, когда к теще в гости, что ему съесть на обед и что на ужин, какого сорта мыло купить ему в магазине...

— Ростовцев, эта философия больше для городского пижона подходит. Мы же в тайге живем.

— ...И какого цвета галстук надеть к серому или коричневому костюму,— не слушая ее, продолжал Ростовцев,— знает, что делать сегодня, завтра, послезавтра, через неделю, через месяц. Сдохнуть можно от такой запрограммированности. Куда интереснее жить человеку, который совершает неожиданные, даже необдуманные поступки. Такой человек имеет куда больше радостей, чем человек запрограммированный.

— Да ну?

— Вот я сейчас и хочу совершить необдуманный, неожиданный, незапрограммированный поступок. Поступок на три «н».

— Какой же? — спросила Любка машинально, почему-то убеждаясь в мысли, что тревога, несколько минут назад буквально смявшая ее, была связана с приходом Ростовцева. Она, видно, чувствовала, что Ростовцев шел сюда, к ней. И она знает теперь, зачем он пришел сюда.

— А вот такой,— сказал Ростовцев и наклонился над Любкой. Она ощутила слабый запах одеколона, еще едва приметный дух пряного табака — видно, Ростовцев предпочитал после бритья употреблять хороший «табачный» одеколон, так называемый мужской. Разглядела какие-то ликующие огоньки, пляшущие в его глазах, жадный цепкий рот. Уперлась руками в его грудь.

— Не сходи с ума, Ростовцев, народ же кругом.

— Народа нет, народ безмолвствует,— усмехнувшись, произнес Ростовцев с пафосом,— народ сидит сейчас в

красном уголке и смотрит ошеломляющую картину с погоней, стрельбой и убийствами. И никто сюда не войдет, пока главного героя не ухлопают и картина не кончится.

— Ну, Ростовцев, ну, пожалуйста,— тихо и обреченно, с увядающей мольбой попросила Любка, чувствуя, что сил не хватит, чтобы удержать Ростовцева, руки сейчас подломятся, и тогда захрустят ее слабые ребра, и будет она, как дикая утка, сбита выстрелом на лету.

— Я же тебе не теленок, не щенок, чтоб уйти просто так,— сказал Ростовцев,— не этот морячок... Как его? Чик-чик...

— Ну, Ростовцев,— по-прежнему тихо и надломленно просила Любка, которой хотелось плакать, но слез не было.

Она вдруг с отчетливой, какой-то пугающей ясностью поняла сейчас одну вещь — и Ростовцев виноват был в этом,— она поняла, что с этой минуты будет ненавидеть старшего мастера, этого завлекательного, сильного, уверенного в себе человека — нет, не человека, а некую арифметическую машину, электронное устройство, где все разложено по полочкам. Что-то хрустнуло в ней, будто струна какая-то оборвалась и внутри образовалась пустота, в которой живым, хотя и донельзя замерзшим комочком дрожала, пугаясь этой пустоты и холода, ее душа. Если раньше Ростовцев нравился ей и она втайне ревновала его к диспетчерше Ане, ощущала при этом сладкую боль, зависть, еще что-то сложное, замешанное на приязни к этому человеку, на желании, чтоб он обращал внимание только на нее одну, то отныне она будет ненавидеть его. Независимо от того, что с ней произойдет сейчас, она будет ненавидеть, ненавидеть, ненавидеть. И это лицо с твердыми складками у рта, крепкими губами, угловатыми скулами, и эти руки с прочными сильными пальцами... Надо же, математик какой, все рассчитал, все запрограммировал, по полочкам разложил,— людей отослал в красный уголок кино смотреть, а сам пришел в пустую «диогенову бочку», зная, что Любка сидит здесь одна — ну математик! Ну математик!

— Пусти, Ростовцев,— сказала она.

— Повторяю, я тебе не теленок, не деточка, являющийся примерным воспитанником и в детсаду и в шко-

ле, я...— на лбу у Ростовцева выступил пот, блесткий, чистый, как роса.

Любка каким-то незамутненным, свободным от происходящего краем сознания отметила это, в ней что-то дрогнуло, шум возник в ушах, словно где-то недалеко лилась вода. Шум усилился и стал походить на плеск реки, проворно несущей свои волны через перекаты и впадины, цепляющей телом за дно, и донеслось даже до Любки, как крупные рыбины шлепают хвостами по воде, полощутся в ней, сытые и безмятежные. И Любке все происходящее с ней стало напоминать сонную одурь, наполовину забытье, а наполовину явь. Она стала воспринимать все как бы со стороны и даже испытала какое-то мучительное злорадство, длившееся, правда, недолго, какие-то считанные миги — всего несколько секунд: вот расплата, вот... Доигралась. Так тебе и надо, дурехе, не будешь впредь водить за нос мужиков.

Но потом поняла, что все это происходит с ней, поняла, как все это пошло, мерзко, отвратительно, и хотела кричать, но голоса не было, крик пропал, вместо него было какое-то сырое, лишенное сил сипенье...

В этот момент Любка Витюкова поняла и другое — поняла, что ей сделался близок Генка-моряк, человек, который никогда бы не поступил так, как поступает Ростовцев, никогда бы не воспользовался своей силой. В какие-то короткие мгновения Генка стал дорог ей, и то, что не смогли сделать долгие дни Генкиного пребывания в отряде, не смогло сделать его смешное ухажорство, предложения о женитьбе, кормление обитателей «диогеновой бочки» сладкой таежной дичью, его томленье и застенчивость, прикрытые пологом мнимой независимости,— сделал один ростовцевский проступок. Э-эх, какая она все-таки дуреха...

— Р-ростовцев, нельзя же так, ну, Р-ростовцев,— по-прежнему тихо и надломленно, сырым шепотом просила Любка Витюкова.— Эт-то же насилие, я сейчас кричать буду.

— Кричи,— довольно спокойно, хотя и с напряжением, отозвался Ростовцев.— Я ж тебе русским языком сказал, что все в красном уголке и никто не услышит — значит, никто не услышит.

— Я моряку скажу, он тебе... он тебе по физиономии надает, он убьет тебя,— прежде чем сломаться,

выдвинула Любка последний аргумент, но тут шум реки оглушил ее, слезы полились по ее лицу крапивно-горячими струйками. А ей хотелось тишины, великолепной тишины взаимопонимания, которая часто возникает между двумя людьми, когда не надо ни о чем говорить, все понятно без слов, когда молчание бывает красноречивее любых, даже самых звонких высказываний. Перед ней вдруг из сумрака «диогеновой бочки» неслышно возник Генка-моряк с лицом таким, будто он только что совершил открытие, он сиял весь от прядей волос до подбородка, до кончиков пальцев рук, он весь излучал тихий успокаивающий свет. И Любка, поперву не узнав Генку, отпрянула было назад, но в ту же секунду отозвалась улыбающемуся Генке-моряку ответной, хотя и поздней улыбкой.

Генка-моряк в эту минуту думал о Любке Витюковой. Будь у него жив отец — он, конечно же, думал бы об отце, будь у него мать — он думал бы о матери, ибо дума о родных, об очаге, о крове, о доброй и теплой, вскормившей и вспоившей тебя земле прибавляет сил, помогает выстоять. Но родных у Генки не было, поэтому он думал о Любке, и эта дума помогала ему двигаться, шаг за шагом преодолевать дорогу, крепиться, идти, почти пластаясь по земле, но не падать, а хрипя, хватая леденелым ртом воздух, дальше тащить на себе обессилевшего Пащенко. Легче становилось, когда думал о Любке Витюковой. Ему бы только добраться до балка, до «диогеновой бочки», только бы добраться — и тогда он все скажет ей, найдет нужные слова, убедит, чтобы она выходила за него замуж — у него столько сейчас нежных, теплых, от самого сердца идущих слов. И Любка должна его понять, должна поверить ему. Они должны быть вместе. Только вместе.

Он выплюнул мерзлоту, собравшуюся во рту, промычал что-то задушевно, слабо. Будь у него силы — это мычанье прозвучало бы криком, таким громким, мощным, что его бы в городе, за две сотни верст услышали, а сейчас — какое-то жалкое обескровленное бульканье.

Каждый шаг тяжелым изнуряющим звоном отдавался у него в голове, вспарывал воздух — перед гла-

зами метались яркие рогатые молнии, с небес сыпались на землю электрические светлячки, ноги подламывались, крестец не держал его тело, дыхание обрывалось и, не вынеся состязания с морозом, лезло назад в глотку, в тепло, лицо сковала ледяная синеватая корка, похожая на ту обескровленную пленку, что прикрывала куропаточьи глаза, из сдавленного морозом рта уже не могло вылететь ни одно слово.

Но велика же была в Генке тяга к жизни, воля жизни, жажда ее, что он шел и шел, хрипя, борясь с каленым морозом, помня только об одном: надо выстоять, надо продержаться, надо добраться до зимника, до проходящих машин, до тепла, до людей, надо спасти обессилевшего больного человека, чьей жизнью сейчас распоряжался только он, и больше никто. Брось он сейчас Пащенко — и навсегда тот останется лежать на снежной дороге, тяни его дальше — и бог даст, повезет, оба останутся живы. Но не такой человек Генка, чтобы решать вопрос «или — или». Не та у него закваска, чтобы бросить человека в беде, никакого другого решения тут быть не может. Не дано просто. И не нужно об этом думать, не нужно речь заводить.

Он напрягся, хватил чересчур много жгучего морозного воздуха, зашелся в хрипе, остановился на секунду, но тут же двинулся дальше, помотав упрямо головой — не-ет, остановиться ни в коем разе нельзя. Накренился сильно, глядя, как перед его глазами рябит, играет новогодними сверкушками морозный снег, дыханье долгой гудящей струей выплеснулось из него, обожгло наледь, забусило дымкой, словно зеркало дыханьем.

В такт шагам в голове грозно и гулко бухал колокол, отзывался болью, давил из глаз слезы, и они замерзали, превращались в ледяную коросту тут же на скулах,— мороз не давал стекать им вниз.

Вдруг в памяти всплыло торжественное, тревожнозовущее, печальное, как набат, созывающий людей на горькую весть, матросское «Наверх вы, товарищи, все по местам...», Генка-моряк скривился мерзлым вспухшим лицом, раздраил губы, словно люк судна, выдавил изо рта кровяной пузырь, замычал невнятно, хотя ему казалось, что он поет чисто и гордо, в полную силу, и слова песни, такие знакомые, придающие силу и ярость, тысячу раз пропетые, плотно сидящие в мозгу.

Но тихо было вокруг. Только хрип и мычанье. И визгливый звук давленого снега.

Он освободил одну руку, сунул ее за пазуху, доставая оттуда бескозырку с оранжево-черными гвардейскими лентами, и, низким наклоном сбив на шею малахай, нахлобучил на голову дорогой ему матросский наряд — память о военном флоте, где он служил, память о плавании на торговых судах, память о теплых морях, дальних странах, поющих островах. Натянул малахай на бескозырку.

Захлопали, было, завихрились выбившиеся из-под малахая помятые ленты бескозырки, обвивая Генке щеки, но тут же потяжелели, обросли белой снеговой шерстью, обвисли печально, будто флаг корабля, потерявшего своего капитана, стали недвижными.

А Генка-моряк все шел и шел вперед, давя кисами отчаянно визгливый снег, вспыхивающий блестками, вспыхивающий яркими черными пятнами, неизвестно откуда появившимися.

Он шел к людям, к единственной своей любви, единственному дорогому для него в эти минуты человеку — к Любке Витюковой.

Вдруг он увидел себя со стороны, он будто приподнялся над дорогой, взлетел ввысь и парил теперь над снеговым коридором, по которому медленно, едва переступая ногами, двигался маленький, ужатый морозом, клещистый человек с белым, как кость, лицом, с наледями на щеках, с пухлыми, твердыми, словно мерзлый хлеб, и загнувшимися наподобие буквы «с» ушами, в малахае, из-под которого беспорядочно выпрастывались жгучебелые (то ли заиндевелые, то ли седые) волосы да две обвядшие ленты. И он, Генка Морозов, честно говоря, завидовал упрямству этого человека, его громадной жажде жизни, желанию выйти к людям.

И ладно бы один шел, а то тащил на себе другого, нескладешно длинного, в два раза больше себя,— будто муравей тяжелую ношу тащил, что всегда вызывало Генкино удивление: как это так, махонькая, в нитку перепоясанная козявка, ну в чем только душа держится, а волочит нечто непосильно огромное, колдует, перетаскивая тяжесть через завалы трав, стремясь побыстрее добраться до своего высотного сыпучего жилья,— удивительно это.

Длинный бессильно скреб ногами по снегу, волочился за невысоким клещистым упрямым человеком и, похоже, был без сознания. До поворота, до зимника, им оставалось пройти совсем немного, каких-нибудь триста метров, скрытых плотным мерзлым туманом. Правда, машин на зимнике пока не было, но они обязательно должны появиться, обязательно. Ведь это же большая дорога тайги, тут всегда бывают люди.

Генка-моряк хватал мерзлым ртом воздух и шел, шел, шел — вперед шел. И вроде бы плотная вата тумана немного раздвинулась под натиском подъезжающей машины, и, кажется, слышен уже живой гул мотора. Еще чуть-чуть, еще самая малость — и он достигнет своей цели.

Когда кончился фильм и народ начал расходиться по балкам, от городка отъехала машина — Алик все точно рассчитал, рассчитал, что приедет как раз в тот момент, когда бульдозер пробьет шестикилометровую ветку к шлейфу, проутюжит ее туда и обратно, по разу прокатает — дорога будет готовой. Как раз в это время в красном уголке закончат демонстрировать захватывающий ковбойский фильм.

— Не опаздываем? — нарушил обет молчания Петр Никитич.

— Никак нет.

Катилось под колеса ровное, без единой задоринки, полотно зимника.

Машина шла медленно, быстрее идти мешал туман, густой, плотный, стоит сделать хапок рукавицей, так в рукавице будут мерцать недобрые, мелкие, будто пыль, снежные порошинки.

Обычно невозмутимый, Петр Никитич вдруг начал нервничать, ерзать на сиденье, протирать рукавицей ветровое стекло, хотя оно и без того было чистым, хмурился пуще прежнего, и Алик, оглаживая усы, косил на него взгляд: уж не заболел ли Петр Никитич? Ведь желудок — это штука такая: ничего не стоит «бензобаку» взыграться, скрутить человека в три погибели, и тогда пуд таблеток надобно бывает сгрызть, чтобы прийти в себя.

Мотор сыто пофыркивал, под радиатор, словно под

затупленный нос гигантского утюга, покорно ложилась белая холстина зимника, под лысыми колесами «газона» жалобно вскрикивал мерзлый снег, и напоминали эти вскрики голоса застывающих птиц, зверей, всего живого, что не в состоянии противостоять напористому тяжелому морозу.

А вот в кабине было тепло, и звук мотора убаюкивал, поэтому Алик расслабился, вернулся мыслями назад, в яркие цветные картинки, которые он видел полчаса назад на экране красного уголка — прибитой к двум палкам клеенке с белой «киношной» изнанкой.

На экране кроме погони и выстрелов показали другое, что было интересно Алику,— и кобальтовое, слепящее глаз небо, в котором напрочь утонуло, сделалось невидимым, прозрачным солнце, и океан с устало выгнутой спиной, по которой медленно перебирались с места на место грузные, с нестриженными седыми затылками волны, и кипенный песок прибоя, в который прочно вцепились своими щупальцами пальмы...— как далеко все это от здешних морозов, насквозь заледеневшей земли, снежных вскриков и треска разрываемой плоти тумана! И хорошо, наверное, хоть один разок в жизни побывать там, у седого, шипучего, как газировка, прибоя, у теплой воды, у пальм, по которым ползают быстроногие волосатые крабики, прозванные пальмовыми,— крабики эти больше всего в жизни любят кокосовые орехи. И Алик, невозмутимый и независтливый Алик, завидовал в эти минуты Генке-моряку. Генка ведь все эти красоты видел... Все-все!

«Газон» ухнул вниз, в снеговой увал, дно которого рассекала гигантская гладкая полоса, оставленная лемехом пащенковского бульдозера,— Петру Никитичу было легко вести машину по прототоренному следу, ну будто по асфальту. Даже лысые колеса «газона» не буксовали.

Вскарабкались на противоположный берег увала, Петр Никитич надавил было на газ, и мотор запел тонкоголосо, как тут же песня эта была оборвана, тонкоголосость сменилась хрипом, надсадным кашлем, бензиновыми плевками. Из тумана, как из молочного взвара, словно таблетка какого непонятного снадобья, выплыло нечто бесформенное, заиндевелое, обросшее снегом.

— Люди, никак! — опаляющим, идущим изнутри шепотом проговорил Петр Никитич.— А? Люди!

В ту же секунду Алик с тугим хряском растворил, а вернее, выбил промороженную дверь кабины, вывалился на снег, вскочил и, осекаясь в дыхании, чувствуя, как встревоженной птицей забилось в груди сердце — этот живой и такой уязвимый загадочный механизм, так точно и тонко отзывающийся на беду и радость, на озабоченность и раскованную легкость, на все самые малые изменения в человеческом климате,— побежал вперед, в молочной взвар, крича надорванно, на одной ноте:

— А-а-а!

Генка-моряк стоял, раскачиваясь на непрочных своих ногах, с обмерзлым лицом, сжимая окостеневшими руками руки Пащенко, который недвижно обвис у него на спине, и пытался улыбнуться, но губы, непослушные, белые, покрытые ледяной коркой, не поддавались улыбке, они были деревянными. В следующий миг перед ним будто взорвалась ракета, а самое лицо стебанул красный огонь, будто осенняя рябиновая гроздь, будто стая алых заморских попугаев, что сыпанули во все стороны, и он беззвучно повалился на снег, под ноги Алика.

Ростовцев был прав — ни один человек не покинул красный уголок, пока не кончился фильм, и никто в течение полутора часов не заходил в «диогенову бочку».

Любка горько плакала — не от обиды, не от сознания того, что все ее естество было унижено, подавлено, нет, ей казалось, что какая-то прекрасная добрая птица, которая непременно должна была принести ей счастье, пролетела совсем рядом, ну так рядом, так близко, что можно было рукой дотронуться до нее, да вот — не довелось.

Ну хотя бы эта птица замерла на минуту, присела бы на крышу ее дома, передохнула — ан нет, пролетела мимо, и след этой таинственной птицы счастья простыл.

И казалось ей, что никогда больше эта птица не вернется, никогда не возникнет рядом, и потому все для нее сейчас потеряно.

Но где-то в глубине души Любка все-таки верила, что эта птица вернется, должна она вернуться. Обязательно. Иначе жить не стоит.

Подняла голову, улыбнулась чему-то слабо и настороженно, стерла слезы со щек. Никакое, даже самое малое зло не должно оставаться безнаказанным — это истина. За нанесенную обиду надо платить. Любка встала, машинально натянула на себя какую-то одежду, что висела в прихожей предбанника, по-старушечьи низко повязала платок, закрыв им весь лоб, вышла на улицу. Двинулась по направлению к прорабской. Ростовцев должен сейчас быть там.

Она не знала, что скажет Ростовцеву: какие слова, обидные или необидные, произнесет, может быть, просто даст ему пощечину — она не знала того, что сделает, каким будет ее поступок. Знала только одно — она должна что-то сделать... Может быть, она просто посмотрит в глаза Ростовцеву на людях, увидит, как изменится и станет растерянным его лицо — и этого будет достаточно, чтобы прибить Ростовцева, обратить в гнома, в ничтожество. Может быть, сделает что-то другое. Но вот что — убей бог, она не знала, что же именно. Знала только одно — она должна что-то сделать...

Любка Витюкова находилась почти рядом с прорабской, когда послышались тревожные, враз заставившие ее остановиться гудки,— в тумане, совсем рядом, на зимнике, какая-то одинокая автомашина подавала сигналы беды, и звук этих гудков, обреченная монотонность их, размеренность вызвали в ней ощущение войны, боя, схватки человека с жестоким врагом. Из густых сметанных лохм тумана выплыла машина. Любка сразу узнала: это «газон», пароустановка, на которой работали приезжие — Генка-моряк, смешной усатый человек Алик и молчаливый усталый шофер, имени-отчества которого она не помнила,— машина понеслась по твердой снеговой дорожке прямо на прорабскую. В следующий миг она увидела, что на подножке стоит белолицый от стужи Алик, размахивает рукой, а потом услышала его крик:

— Вертолет быстрей вызывай! Ребята поморозились! Погибают ребя-ята-а!

Охнула, оседая на колени, немея от страшной мысли,— но все это длилось какие-то доли секунды. Она вдруг поняла, что спасение людей, которые находятся в беде, ложится сейчас на ее плечи, и крутой незнакомый жар ожег ее, придал сил, заставил вскочить. Она кину-

лась в прорабскую, к рации, оттолкнула Ростовцева, сипло зашептала: «С-сейчас, с-сейчас... с-сейчас медицину, с-санрейс организуем...» — захлебываясь в этом шепоте слезами,— и старыми, которые еще не истаяли, и новыми, только что возникшими. В этих, вновь возникших слезах была виновата беда, в которую попали люди, и среди них — хотя она еще и не видела, кто лежит в кабине, но уже знала точно,— среди тех, кто погибает, находился Генка-моряк. Значит, надо было срочно действовать, значит, надо было спасать людей, надо было спасать Генку-моряка, а вместе с ним — и саму себя.

И еще она плакала оттого, что не знала, что ждет ее завтра, послезавтра, послепослезавтра, и эта неизвестность была мучительной, болезненной, лишала сил, во многом она была связана с тем, останется в живых обмороженный Генка-моряк или погибнет.

Останется в живых или погибнет, останется в живых или погибнет, останется в живых или погибнет?..

1978 г.

Зот Тоболкин

Время сильных

1

С обрыва к воде скатился лобастый звереныш. Пестрый дятел, старательно долбивший сухую осину, замолк и скосил на него сердитый глаз: «Чего, мол, шляешься тут и отрываешь трудящихся от важных дел?» Волчонок, однако, не обратил на него решительно никакого внимания. Отряхнувшись, он почесал широкою лапою нос, прищурил левый глаз. Что-то веселое, сложное виделось ему сквозь хитроватый прищур век: розоватое, алое, разделенное множеством золотых и темных линий, теплых, словно струйки из материнских сосцов. Волчонок и другой глаз зажмурил, лизнув это непонятное, цветастое наивным своим языком. Нос тепло и ласково щекотали солнечные лучи. А волчонок не знал еще, что это лучи, хотя и радовался им, солнцу радовался, под которым голосила какая-то нервная птаха, дремало длинное белое облако. Рассекая облако, прожужжал самолет, оставив в небе длинный шлейф, который, наверное, мог тянуться бесконечно, если б там, далеко над островом, его не слизнул огненный язык, высунувшийся из огромной черной трубы, которую держал в руках огромный и тоже черный человек. Волчонок бывал подле этой трубы, слышал, как вздрагивала она и ревела, как вокруг лопалась земля от жара, чувствовал, как нехорошо, резко пахло газом. Звереныш попал на остров случайно, перебежав в темноте через перекидной мост. Мать отыскала его, рискуя попасться на глаза людям, и за пережитый страх, за детское самовольство задала сыну основательную трепку. Ему часто влетало за страсть к бродяжничеству, но стоило матери на ча-

сок отлучиться, как он снова и снова удирал из своей сумрачной пещеры и целыми днями восьмерил по лесу, наслаждаясь свободой и открывая для себя неведомый увлекательный мир.

Прошлепав по мокрым кочкам, волчонок глотнул болотной тинной воды, сморщился, оттопырив узкие твердые губы: невкусно-о! Но нестерпимо хотелось пить, и, оскользнувшись, он снова глотнул, правда, уже из ручейка, который сочился из непроглядной крохотной норки. Эта водица была вкусней, ломила десны, и он пил ее, лакал, наслаждаясь.

Ручеек, вырвавшись из глубин, отыскал себе тропку и растянулся по ней причудливой серебряной стрункой. Донные камни вызванивали на струйке одну и ту же ненадоедающую песенку. В омуточке, который образовал родничок, скопившись в глубокой яме, билось озябшее солнышко. Оно билось и вытекало вместе с ручьем, но никак не могло уместиться в узком его горлышке. Крохотное это солнышко, верно, тоже учесало от матери и продрогло уж, а не уходило, купалось в студеной светлой воде, радовалось воле своей, радовалось самостоятельности. Волчонок тронул его неосторожною лапой, оцарапал и расплескал. Не солнце звонкое — какой-то блин, желтый, рябой и бесформенный, колыхался теперь в тихом омуте. Стало жаль того веселого золотого пятнышка и чуть-чуть одиноко; волчонок вздохнул и мысленно выбранил себя за неосторожность. Может, в благодарность за его совестливость, солнце снова явило себя в ручье. Волчонок протянул ему лапу, но не коснулся теперь, боясь расплескать. Он долго стоял над ручьем, вслушиваясь в его торопливое бормотание, изучал донные камешки, сырые свежие травинки, прутики, которые нежились в ручье и могли постоянно пить его холодную сладкую влагу. «А это кто? Вот еще чучело-то!» — увидав лобастую насупленную морду, звереныш отпрянул: «Мать выследила!» Упав на брюхо, повизгивая, он, извиваясь, пополз на берег, будучи уверен, что сейчас последует жестокое наказание. А наказание почему-то медлило.

Волчица бесшумно и ловко подкрадывалась к оленьему стаду. И когда сторожевые собаки обнаруживали ее, волчица успевала зарезать отбившегося олененка, напиться теплой его крови. Она уходила от собачьей

своры тяжелым, но быстрым скоком, и лишь одному ее удалось однажды настигнуть, бурому, с темным загривком волкодаву. В те времена он был и молод, и неопытен. Догнав самку, не знал, как быть с ней. Обнюхал, незлобиво куснул, проворчал что-то на всякий случай и лег тут же, поджидая хозяина. Волчица впилась в оторопевшего волкодава, не в горло, как метила, а в плечо, и выдрала из плеча кровяной лоскут. Отхаркнув застрявшую в пасти шерсть, снова кинулась на пса, не достала и, услыхав приближающийся лай, с злобным урчанием отпрыгнула и потерялась в чаще леса. Измятый, пристыженный пес, пошатываясь, скуля и вздрагивая всем телом, принялся зализывать раны.

— Что, провела? — вместо сочувствия пастух пнул волкодава.— Эх ты, мешок с костями!

Он отдал доверчивого волкодава здешнему обходчику Станееву, стребовав с него бутылку спирту, и радовался еще, что не продешевил.

— Не жалко? Пес-то больно хороший.

— А сего там! — Пастух не выговаривал «ч», мягчил слова и сюсюкал.— Один сёрт, пасти негде. Тундра тесная стала. Пойду к васым. Примут, а?

— Наверно, примут. Народ там нужен.

— А пастух теперь не нужен. Олень не нужен... А?

Станеев пожал неопределенно плечами и, кивнув пастуху: «Будь здоров, Вэль!» — забрал волкодава.

Пес через всю жизнь пронес в себе мысль о волчьем коварстве и больше никому, кроме людей, не доверял. Он и людям не доверял, если не считать своего нового хозяина. Между людьми и волками существовал давний, со времен основания Рима, союз. Волкодав, не знавший этой притчи о братьях, вскормленных молоком волчицы, невзлюбил тех и других из-за пастуха, оскорбившего его гордость, из-за волчицы, воспользовавшейся его простодушием.

Волчонок, сын этой хищницы из последнего помета, оглянулся — матери рядом не было. «А что же такое было в ручье?» — недоумевал он. Подойдя к ручью, снова отпрянул. Может, она притаилась на дне и сейчас оттуда вынырнет?

Волчица медлила, не появлялась. И волчонок решил, что она добра после удачной охоты и, коль играет с ним в прятки, значит, простила все его провинности.

Однако, приглядевшись получше, он сообразил, что в ручье совсем не волчица, а такой же, вероятно, улизнувший от своих родителей звереныш. «Ну, вылезай, поиграем!» — обнюхивая его, пригласил волчонок. Но тот, в воде, смотрел на него, тоже обнюхивал, но не вылезал. «Вот странный какой! Не бойся! Я тоже волк. Свой, значит».

Не скоро еще волчонок догадался, что смотрит на собственное свое отражение. А догадавшись, не мог разгадать, как умудрился раздвоиться, оказавшись в воде и на берегу одновременно и ничего при этом не почувствовав. Всякое отделение связано с болью. Недавно, например, он оборвал себе средний коготь, засадив его в мозговую кость. Было больно, и кровь текла. Он, правда, не подумал о том, что важенка, которую задрали в лесу его соплеменники, во время убийства испытывала еще более острую боль, но ее об этом не спрашивали. Он просто познавал мир. Мир забавен, полон открытий, неожиданных и веселых. Да и сам по себе мир — замечательное открытие. Вдруг видишь необыкновенное над лобастою головой солнце, под солнцем — удивительную эту землю с темным хмурым лесом на ней, с множеством зверей, зверьков, ручьев и речек, и все имеет свой особенный, ни на что другое не похожий запах. Волчонок не знал еще, не умел знать, что зверей и речек раньше насчитывалось куда больше. И лес этот был погуще, и тундра просторней, но если б он знал, он бы превратился в зверя-философа, а философы грустят, предвидя завтрашний день.

Правда, и завтрашний день по-своему тоже хорош. Однако он мог бы стать еще лучше.

Но солнце над головою горит, греет, светит, и лес на земле шумит, и — слава богу. Тут уж не до философии. Подольше бы матери на глаза не попадаться. А все прочее, касающееся звериного и человечьего бытия, волчонка не занимало. Вот прыгнуть через ручей, отважно бегущий куда-то в неизвестность, славно. И еще раз прыгнуть, и еще... А потом, взобравшись на косогор, съехать с него, тормозя на задних лапах, не удержавшись, кувыркнуться и зарыться носом в пушицу.

Однако кувыркаться и ерзать скоро наскучило, и волчонок дернул вниз вдоль ручья. Надо же в конце концов выяснить — куда и зачем он стремится. Во вся-

ком стремлении есть влекущая тайна. А тайну рано или поздно раскрывают.

Еще недалеко и убрел-то, каких-то два-три поворота по следу убегающего ручья, а уж наскочил на утиное гнездо. Утка-мать заполошно крякнула, растопырила крылья. Желтые неуклюжие утята, очень беспомощные, очень смешные и трогательные, заковыляли к воде. И пока они не коснулись воды, пока не уплыли в камыши, птица-мать, топорща крылья, все стояла перед зверенышем и грозила ему, не сильная, совсем не страшная, но поразительно самоотверженная. Убедившись, что волчонок добр еще, еще не усвоил ту страшную звериную истину — хватать, рвать все живое, кроволосное!— она благодарно крякнула и плюхнулась в болото. А скоро и весь выводок пристроился к ней в кильватер, и наблюдать за ними волчонку было истинным удовольствием.

Впрочем, волков на всю эту огромную область, как подсчитали биологи, осталось три-четыре сотни. И сверху поступило предписание — сохранить их поголовье. Потому что хищники эти — санитары леса или какие-то иные медицинские функционеры.

Берегом как раз прошел главный их охранитель, бородатый, задумчивый, в стареньком свитере, в потертых джинсах. Шагал крупно, но осторожно и мягко, чуть оседая назад, словно боялся оступиться. В широкое вислое плечо, как обычно, врезался ремень фоторужья. Сейчас ветерок тянул от того человека с фоторужьем, и потому волкодав не учуял звереныша, плоть от плоти своего давнего заклятого врага. Он бы рванул его клыками, вмял в землю и задушил, мстя за пережитое когда-то унижение...

Впрочем, едва ли. Он не имел на это права. Хищники подлежали строгой охране. Это странно, что хищников оберегает закон. Странно для волкодава, который оберегает порядок в лесу и своего сегодня почему-то рассеянного хозяина.

В этом лесу они поселились недавно. А жили сначала в тундре, неподалеку от острова, опоясанного рекой и кольцами бетонных дорог. Этот остров и факела вокруг видно даже отсюда, если чуть-чуть подняться в горы. Человек и пес бывали в горах, но не ради того, чтобы полюбоваться на остров, на мерцание огней, на дымы..,

Они прекрасно между собою ладили, как бы дополняя друг друга. Оба были молчаливы, и порою хозяин по целым дням не произносил ни слова. Буран — так звали, так стали с некоторых пор звать собаку — в собеседники не навязывался и очень редко напоминал о себе. Он бродил вокруг избушки либо лежал в берлоге, которую, на манер медвежьей, ему построил Станеев. Иногда, заскучав, убегал в тайгу, возвращался усталый, довольный.

Жизнь их текла ровно, без событий и в стороне от событий. Беспокойство вносили, нарушая обычный размеренный ритм, только случайные приезжие. Однажды это была женщина, пахнущая непривычно и терпко. Волкодав гаркнул на нее устрашающе-грозно, кинул на плечи лапы, принюхался. Женщина, против обыкновения, не испугалась.

— Красавец какой! — прожурчала она.— Кра-асавец! И глаза умные. Ну прямо совсем человечьи глаза. Ты как зовешь его, Юра?

— Волком,— ответил хозяин, заметно робевший перед женщиной. Он никогда ни перед кем не робел, а тут оробел, разволновался и шумно задышал перебитым носом. Глаз он почти не поднимал, прятал их в густых черных ресницах, вздрагивающие пальцы впились в бороду и мяли ее в щепоти. Спокойный тихий басок то падал до шепота, то тончал и рвался, рассыпаясь в каком-то непривычном, придурковатом хохотке.

— Волком? — обиделась за собаку женщина.— Какой же он волк? Это... Буран... Такой же мохнатый и хмурый. Буран, да?

Хозяин равнодушно пожал плечами. Волкодав тоже не возражал. Ему понравился негромкий, мягкий и в то же время решительный голос женщины, часто отбрасывавшей за уши тяжелые пепельные волосы, ее властная уверенная походка, ее белые, пахнущие лекарствами руки, ее глубокие серые глаза. Она была уверена, очень уверена в себе и приноравливалась к любой обстановке, считая себя хозяйкою на земле.

— Значит, Буран. Ты понял? — подытожила женщина и угостила волкодава конфетой. Буран не принял ее, посмотрев на женщину с некоторым сожалением: «Неужели ты не понимаешь? Это же не для меня. Я зверь. Я должен есть мясо».

— Ох, прости! Ты не болонка. Ты настоящий мужчина,— повинилась женщина и достала из черного в «молниях» рюкзака кусок копченой колбасы. Буран — ему сразу пришлось отзываться на это имя — вопросительно посмотрел на хозяина.

— Ешь,— разрешил Станеев. Он разрешил бы, наверно, если б знал даже, что эта колбаса отравлена ядом. Хозяин поглупел в присутствии женщины, плохо сознавал, что с ним происходит.

— Знаешь, это невежливо,— упрекнула пса женщина.— По отношению ко мне невежливо. Но вы тут оба невоспитанные. Вот я примусь за вас.

Но принялась она не за воспитание, а за костер и разводила его умело, споро.

— Погоди-ка, а что, если наловить свежей рыбы?

— На чердаке есть копченая нельма.

— Копченая не то. Я предпочла бы хариуса. Удочки есть?

— Сейчас принесу,— хозяин вынес из кладовки рыболовные снасти, остановился и стал тереть лоб, словно припоминал, куда и зачем шел.

— Я сама,— женщина отняла у него удочки, легко и стремительно зашагала к быстрой речке, притоку Курьи, крикнув решительно: — Буран, за мной!

Пес растерянно уставился на хозяина, переступил, заплясал нетерпеливо и, сочтя его молчание за согласие, в два прыжка догнал женщину.

— Тут где-то должен быть омуток и быстринка, — говорил она, сбегая с кручи. Она обладала чудесной способностью говорить, спускаясь с обрыва, не падать и даже поглаживать пса, охотно подставлявшего ей мохнатую прохладную спину, как пылью, присыпанную мошкарой. Бурана одно смущало — крепкий медицинский запах, который исходил от ее рук, от волос, от всего сильного гибкого тела; вдруг к этому запаху прибавился новый запах, волчий, и пес ощетинился под ее рукой, изготовясь к прыжку. Ручей здесь кончал свое путешествие, вливался в речку и, соединившись с ней, бесследно исчезал. Вдоль ручья шлепал усталый волчонок.

— Это щенок... ах нет, волк! Да, будущий волк! — воскликнула женщина.

Пес выскользнул из-под ее руки, обрушился на зве-

реныша сверху, накрыв его огромным своим телом. И если б не кочки, между которых вжался волчонок, Буран раздавил бы его в лепешку. Он чуть-чуть не рассчитал и прыгнул на кочки. Волчонок очутился, на свое счастье, между его передними лапами. Вынув его из-под себя, Буран кинул волчонка над собой, перехватил поудобней и начал трепать. И несдобровать бы тому, но сверху раздался сердитый окрик:

— Не сметь!

— Ты бережешь их, этих тварей? Волков бережешь? — голос женщины похолодел. Длинные глаза ее сузились.— А ну, Буран! Задай ему жару!

Волкодав исполнил ее приказ, но исполнил наполовину; схватив волчонка за шиворот, снова оторвал его от земли, подержал, но трепать не стал и подождал, что скажет хозяин.

— Балуешь? Смотри, не увлекайся!— пробормотал Станеев, вновь наводя фоторужье. Сделав снимок, потребовал: — Теперь отпусти.

Измятый, испуганный до смерти волчонок нараскоряку кинулся вдоль ручья вверх, оступившись, перевернулся, соскочил и скоро скрылся за поворотом. Там поджидала его освирепевшая волчица. Она уркнула чуть слышно, куснула сына за холку и, вскинув на спину, крупно заотмахивала по косогору.

Хозяин проглядел интересный кадр. Волкодав — своего ненавистного врага — волчицу.

Они еще встретятся в этом лесу. И кому-то из них не поздоровится.

— Так ты теперь друг хищников? — криво усмехнулась Раиса, разматывая удочку. Размотав, пустила крючок по быстринке, и его понесло, потащило, и вдруг выгнуло удилище.— А они, знаешь, целую ночь продержали меня на березе. Дело-то зимой было...— подсекая синего на свету хариуса, говорила Раиса. Рыбина билась, извивалась, рвалась с крючка, темнела стальными частыми звездочками. Раиса, оглушив ее, небрежно сорвала с крючка и, наживив его, ногой спихнула в воду. Течение сразу подхватило поплавок, и — снова толчок, и — снова рыбина, правда, чуть поменьше.— Чудный клев!

Взвесив рыбину на ладони, погладила пальцем костяные ее губы и не без сожаления кинула на траву.

Все, все на свете живет до поры, которую люди зовут пределом. Ну так что же? Теперь не есть, не пить — лечь и вытянуть ноги? Раиса тряхнула головой, махом забросив за спину волосы, стала насаживать наживку. Станеев любовался ее четким волевым профилем, едва удерживаясь от желания запустить руки в эти густые тяжелые волосы. Он смотрел на Раису, но почему-то избегал ее взгляда. А она, чувствуя его взгляд, слишком выразительный, слишком откровенный, переносила его спокойно и говорила о пережитом когда-то страхе.

— Целую ночь, представляешь?

— А при чем тот звереныш? Он же еще маленький.

— Всякий маленький волк становится большим...— Рыбаком Раиса оказалась удачливым, и вот уж пятая, пожалуй, самая крупная рыбина радужно засверкала на солнце.— Впрочем, все это ерунда. А вот уха будет шикарна-ая! Идем, Буран! Займемся ужином. Хозяин твой что-то не в форме.

Станеев смотрел ей в спину, беззвучно шевелил толстыми губами, словно шептал заклятье. Уже наверху она оглянулась, подождала и подала ему руку. Станеев счастливо заулыбался, ухватился за эту руку и не выпускал ее до самой избушки.

— Я очень рад, что ты приехала. Я так рад, что...— Станеев забылся и слишком сильно сжал ее руку.

— Что готов раздавить мои пальцы,— улыбнулась Раиса и осторожно высвободила руку.

— Извини... я... но ведь это так далеко...— Станеев совсем запутался, понес какой-то вздор. За месяцы одиночества он совсем отвык от людей, не читал газет, не слушал радио и даже перестал листать те немногие чудом сохранившиеся у него книги. С людьми, кем бы они ни были, Станеев вел себя естественно, никогда в разговоре не сбивался, не краснел, а тут вдруг почувствовал, что лицо его раскалилось, что язык заплетается, а мысли путаются, да еще вспомнил некстати, что и некрасив, и одет чуть ли не в отрепья. Хотя и выгоревший свитер, и старенькие джинсы сидели ловко на нем и были выстираны и аккуратно заштопаны. Отвернувшись, он разгладил пузыри на коленях, прикрыл ладошкой заплату на локте. Раньше такие вопросы Станеева не занимали. Он мало думал об одежде и еще меньше о сво-

ей внешности, и всякий человек — будь то мужчина или женщина — прежде всего был для него товарищем и собеседником. Интерес к людям ничуть не убавился, пожалуй, стал еще больше. Так откуда же, черт ее побери, эта робость? С Раисой Мухиной знакомы давным-давно, подружились еще при жизни Ивана Максимовича, мужа ее. Ну так и прими ее как самую дорогую твою гостью и не полыхай раскаленной своей рожей. Раскраснелся — того и гляди затрещит борода, от нее и сам огнем займешься. Здесь разные бывали, и ты не краснел. Вот и держись, чухонец, с достоинством, хотя бы ради былой дружбы.

— Далеко? — Она рассмеялась. Как давно Станеев не слышал женского смеха! — От Ганина шел вертолет. Я попросила высадить меня здесь. Полчаса лету. А ты почему не бываешь на острове?

— Я думал, ты... я думал, вас уже там нету...

— Куда же я денусь? Все там же...

«И одна?» — чуть не вырвалось у Станеева. Он спохватился, прикусил язык, боясь услышать ее ответ. Вдруг скажет: «Нет, не одна». Ну и что? Если не одна,— значит, пришло ее время... Сколько же можно быть одной? Ей уж давно пора замуж. Тот же Ганин...

— Хотела уехать,— не глядя на Станеева, призналась Раиса.— А не могу... почему-то не могу...

Она склонилась над чурбаком и принялась потрошить на нем рыбу. Буран лежал рядом, морщился, когда чешуя или капли крови попадали ему на морду, фыркал, слизывал кровь, выворачивая язык то вправо, то влево. В янтарных, в грустных его глазах отражались красные всплески огня.

— Ну что, дружок, тебе скучно? — Раиса потрепала пса за уши, легонько шлепнув его по холке.— Пойди погуляй. А то разжиреешь.

«Спасибо!» — Пес перемахнул через костер и, став на четыре лапы, оглянулся на женщину, прыжком выразив все свои слишком сложные для собачьего существа чувства.

— Молодец! — похвалила Раиса.

В ответ ей раздался дальний лай. Буран стремительно ввинчивался в пространство, ослепнув от необъяснимого счастья, лаял тишине, небу, солнцу, лесу и всей земле о том, что жить чудно, упоительно, когда

вокруг тебя такие прекрасные люди. Жаль, что понял он это поздно. Но другие-то, случалось, и жизнь прожив, ничего подобного не испытывали.

Он мчался и мчался и глубоко, сильно дышал, зорко и по-хозяйски оглядывая подведомственную ему территорию. Пес добродушно, вполсилы гаркнул, вусмерть перепугав косого, и пробежал дальше. Он был сыт, был счастлив оттого, что познакомился с удивительным существом, сильным и властным, с женщиной, которую хозяин называл Раисой. Он был великодушен хотя бы потому, что без нужды никого не трогал. Если б эта женщина навсегда осталась в лесу! Хозяин так одинок, так неустроен! Ведь даже у волка есть волчица... Волчица?! Уррр!

Буран снова вздыбил шерсть, обнюхался... Нет, волком не пахло. Сам себя раззадорил.

Зато какие запахи шли от земли, скрывающей в себе семена, корни, луковицы разных трав, цветов и деревьев! Той вон травой, жалящей, с зубчатым шершавым листом, Буран лечил простуду, впервые уйдя от хозяина на несколько дней в тайгу. Он был тогда безнадежен, плох: вытаскивал из реки, покрытой весенними наледями, Станеева и сам провалился под лед. Вынырнул, почти захлебнувшись, через какую-то случайно подвернувшуюся полынью.

Станеев долго его лечил, отогревал, оттирал, а пес хирел и хирел и хрипло, надсадно кашлял, пока не дошел до того, что уже еле передвигал ноги. Тогда-то, собравшись с силами, он уполз в тайгу умирать, но не умер, а наоборот, вылечился вот этой пахучей травой. Он не помнил — мать ли внушила, подсказал ли древний инстинкт, но, во всяком случае, трава оказалась целительной. Хозяин уж потерял его, погрустил, потом и грустить перестал, озабоченный своими делами, когда около избушки возник Буран. Как же обрадовался Станеев, услыхав сиплый приветственный лай! Буран лаял громко и заразительно: «Вот он я, жив, живехонек!» Нос у него был в крови, видно, взял по пути зайца или иную какую живность. Хозяин заметил это, но не выбранил, а только покачал головой. Он вообще редко проявлял свои чувства. А говорил еще реже. И Бурану было жаль его, чем-то вечно озабоченного, задумчивого и доброго. Ведь даже волк... имеет себе пару.

Теперь шерсть у волкодава не дыбилась. Как, впрочем, не дыбилась и тогда, когда Бурана самого называли Волком. Он спокойно ловил чуткими ноздрями и запахи, идущие из-под земли, и верхние запахи: трав, ягод, кустарников, здесь вот лиса кружила, должно быть, зорила мышей... И снова думал пес о хозяине, который несчастен и одинок, а эта женщина, Раиса, могла бы сделать его счастливым.

О себе Буран не думал. Хотя, конечно... Ах черррт! Гггав!

Из-под самого носа фуркнула куропатка. Вот нашумела, дурища! Отряхнувшись и посмотрев вокруг, не видел ли кто его мимолетного испуга, Буран смущенно пролаял еще разок и медленно побрел своим же следом обратно.

Уже немолод и столько повидал на веку, а что-то тревожит, тревожит неясно, словно встреча в тумане, потому что ясно до конца никогда не бывает. Это нестрашно, бояться давно перестал, но что-то тревожит и тревожит...

Уха поспела.

Раиса и хозяин сидели в избе за ранним ужином. Костер прогорел, лишь несколько головешек раздраженно шипели друг на друга, потому что сверху на них поливал из носка черный, как негр, чайник. Он точно потешался над их злостью, сплевывал в обугленные тупые морды кипящую слюну и озорновато подсвистывал.

Чайнику было весело. Буран грустил. Да и люди не слишком веселились. Они без аппетита хлебали уху, изредка перебрасываясь словами. На середине стола стоял графинчик спирта. Его не трогали. Над столом висела фотография пожилого человека с большими удивленными глазами. Наморщив лоб, он смотрел на огромный дымный гриб, подперевший небо. За его спиною хмурился рослый старик, одетый как Робинзон Крузо, и указывал пальцем на гигантский факел.

— Изумительный снимок! — отодвигая тарелку, сказала Раиса.— И где ты его взял?

— Заезжал один оператор... Тот самый, что снял кино о пожаре... Чаю хочешь?

— Налей.

Станеев снял наконец наполовину выкипевший чайник, заварил смесью из «русского» и «цейлонского» чая,

добавив смородинного листа и шалфея. Буран, любивший чайный запах, придвинулся ближе к заварнику, глубоко втянул аромат, зажмурился. «Ах ты гурман!» — говорил ему в таких случаях Станеев и давал еще раз понюхать. Теперь он не сделал этого, даже не взглянул на волкодава и, взяв чайник, ушел в избушку.

— Хоть бы рассказал, как живешь,— налив себе и ему чаю, говорила Раиса, изредка взглядывая на фотографию.

— Хвастаться нечем.

— Аспирантуру бросил?

— Нет, но...— Станеев не договорил, пожал плечами, тем выказав полное безразличие к учебе.— К чему она мне здесь-то?

— Значит, крест на себе поставил? — Раиса допила чай, опрокидывая чашку, сердито стукнула о столешницу. Рот ее искривился в едкой усмешке.— Ах, Юра, Юра!

— Во всякой жизни должен быть пик... К нему стремятся... Я не вижу такого пика,— вяло отозвался Станеев, дуя на чай, но не отпивая. Кружка обжигала кожу, но сами руки были холодны.

— Рано же ты расписался! Может, заболел? — Раиса приложила ладонь к его лбу. Лоб тоже был холоден, но под ладонью змеистая вздулась жила. Раиса быстро отдернула руку и принялась мыть посуду, оглядывая нехитрое убранство жилища. Все здесь было как и в прежней избушке, у Истомы: нары, полки, даже старая балалайка, на которой никто теперь не играл. Все было так и не так. Станеев обшил внутренность избы обожженными досками. Для лампы отчеканил большой причудливый абажур в виде ненецкого чума, полки с книгами тоже обжег и украсил орнаментом. Книг было не много: Толстой, Данте, Достоевский, Винер, Шебутани, очерки по философии, журналы... Посуда стояла в шкафчике за печкой. Еще один шкафчик был в нише над нарами.

— А здесь что? — Раиса открыла шкаф в нише и ахнула — там оказался ее портрет, огромный, во всю величину шкафа, и больше ничего. Дверца скрывала его от сторонних взглядов.

— Откуда взялась тут эта особа? — дернув Станеева за вихор, мягко улыбнулась Раиса. Вон оно что, диагноз ясен...

— Случайно,— густо покраснев, соврал Станеев. Этот портрет ему сделал все тот же знакомый оператор, увеличив одну из старых Раисиных фотографий.

У дверей кто-то заорал, завозился. Раиса вздрогнула.

— Это Филька,— напряженным, стылым голосом сказал Станеев и стал налаживать пойло, стряхивая с себя охвативший его дурман.— Лосенок полуторагодовалый. Мать у него пристрелили... кормлю...

Он вынес ведро, вернулся и закрыл на крючок дверь. Озираясь, словно его могли увидеть со стороны — Раиса, опустив голову, задумалась о чем-то, возможно, даже забыла о присутствии Станеева,— подкрался на цыпочках к фотографии, снял ее и спрятал. Так же на цыпочках подошел к Раисе, замер в напряженной, в звериной стойке, готовый и все же не смеющий ее коснуться.

— Не надо,— тихо попросила она, кивком забрасывая волосы на спину. Они ударили Станеева по лицу, запутались в его давно не стриженной шевелюре и бороде, но не слились — смола и пепел. Станеев перехватил одну прядь, прижался к ней губами.— Не надо, Юра. Ты умрешь потом от угрызений совести...

Она не вырывалась, но и не отвечала на его порыв. Но подле рта прорезалась горькая морщинка, а сильное лицо с волевым крепким подбородком как бы обмякло, стало беззащитным и бабьим.

— Не-ет, хватит! Теперь ты моя... мо-оя!

— Кто-то стучит,— отталкивая Станеева, сказала Раиса. С улицы доносилась какая-то возня, мык, рычание. Это опять колотился Филька. Буран его отгонял.

— Убиррайся! — заорал Станеев и затопал ногами.— Убью!

— Не бесись,— холодно остановила его Раиса.

Станеев сорвал с гвоздя двустволку, плечом торкнулся в дверь. Распахнувшись, она ударила лосенка в нос. Звереныш мыкнул обиженно, отскочил, но, увидав, что перед ним Станеев, доверчиво ткнулся в грудь его теплой и простодушной мордой. Слепо нашарив трясущимися пальцами курки, Станеев, одолевая владевшее им бешенство, выстрелил из обоих стволов себе под ноги. Стрелял в землю, а Филька, обиженно заморгав, почему-то подогнул передние ноги и завалился на правый бок.

2

К избушке тихо подкрался вечер. Белую полоску тальника у реки затопило сизою мглой. Бледные звезды, словно божьи коровки во время наводнения, взбирались все выше и выше. Белесая муть обступила их со всех сторон, и божьи коровки не то улетели, не то утонули во взбаламученной мгле.

Из тундры примчался ветерок, поскулил, потерся о стекла, раздув комаров и мошек, тучей клубившихся над Филькой, выбил из затухающего костра две дюжины искр и, чем-то недовольный, умчался обратно. Буран и Филька остались вдвоем. Они сердились и не играли друг с другом. Филька вызывал из избы хозяина — он вырос, и ведро теплого вкусного пойла только раздразнило его аппетит,— требовал добавки или свидания. Буран не подпускал лосенка к дверям, облаивал, гнал его прочь. «Жалко тебе, что ли?» — удивленно моргал Филька и поводил расстриженными ушами, надеясь услышать знакомые крадущиеся шаги. Волкодав помалкивал, зорко следил за ним, пресекая всякую попытку прорваться к сенцам. Рассердившись на него, Филька шаркнул копытом о кострище, и несколько угольев упало на волкодава. Буран отряхнулся, но маленький уголек запутался на загривке, и сразу запахло паленым. «Ага, получил!» — торжествуя, замотал головой лосенок и отступил, зная, что так просто это ему не пройдет. Буран опрокинулся на траву — уголек коснулся кожи, ожег ее и тут же погас. Обнюхав его, пес фыркнул и потрогал лапой. Опять налетела мошкара и начала донимать Фильку. Он заблажил и стал носиться вокруг дома, подняв невообразимый шум.

В доме молчали. Забравшись в спальный мешок, Раиса вспоминала о муже, с которым прожила столько трудных и счастливых лет. Он был добр, терпелив, умен, он понимал ее как никто на свете. Но в год его смерти, уже на Лебяжьем, что-то разладилось. Они не ссорились, не изменяли друг другу и все же заметно отдалились. Назревал разрыв, но Мухин умер. Его смерть не сломила Раису, но потрясла, подрубила на корню, хотя неожиданной не была. Он был изношен, и Раиса, да и все близкие знали, что Мухин долго не протянет. Это было чудо еще, что он жил, колготился, чтобы увидеть

конечные результаты своих трудов. И он увидел и умер. Теперь месторождение, им открытое, называется Мухинским. На памятнике первопроходцам, возвышающемся посреди тундры, фамилия Мухина стоит второй, после Енохина, его учителя, его друга. Ниже высечены имена отца и сына Прониных. Всех их Раиса когда-то знала.

Похоронив мужа, она осталась совершенно одна: ни родни, ни ребенка, ни даже близкого человека — все куда-то сразу исчезли. Станеев чуть ли не на полгода уехал в Уржум, сдавал экстерном университетскую программу. Вернулся — Раиса все так же заведовала островной больничкой. Общаясь с людьми, которые любили Ивана и которых он любил, Раиса как бы вырывала его из небытия, прикасалась к нему, существующему только в делах и в памяти, через них и ей становилось легче. Муж занимал в ее жизни необычайно много места. Раиса поняла это лишь после его смерти. Она осуждала его за терпимость, которая нередко смахивала на беспринципность. Он, казалось ей в ту пору, хотел примирить волков с овцами. Но и такого она любила его и уважала, как только можно любить и уважать мужчину. Позже, уже поостынув, Раиса поняла, что терпимость Мухина была вынужденной: все свои помыслы, все силы отдал одной-единственной цели. Он сознавал, что в чем-то проигрывает, позволяя ловкачам, вроде Горкина, недавно уехавшего за границу, греть руки у своего огня, переживал это в одиночку и никогда никому не жаловался. Но Раиса-то знала, как мучит, как донимает его совесть. Совесть мстила за компромиссы, а его покладистость привлекала к нему людей. Мухин умел заставить работать и друзей своих, и врагов. Но, разумеется, он не уравнивал две эти категории. С друзьями был нежен, добр, внимателен, ради них забывал о себе. Это он помог распрямиться Водилову, согнувшемуся от неудач, он сделал оседлым вечного бродягу Станеева, он постоянно опекал Степу — каждого, кто с ним соприкасался и кто нуждался в его помощи. Раиса и сама испытала на себе влияние Мухина. Теперь, когда ей за сорок, она уж не так категорична в своих суждениях, хотя как будто ничем не поступилась, разве только поумнела и, может, потому стала добрей.

«Вот, Ваня,— мысленно обращалась к мужу Раиса,— благодаря тебе я стала альтруисткой...» И еще говорила

ему, что ребенка, которого когда-то обещала родить, так и не родила, а годы уходят. Рожать от случайного человека не хочется, а Мухин или кто-то хоть чуть-чуть на него похожий больше не встретится...

Станеев, прижавшись к холодной печке щекою, обнял ее, вцепился пальцами в углы, словно боялся, что, отпустив печь, упадет. Виски вздулись, и казалось, череп не выдержит адского напряжения и лопнет. Но череп не лопнул: из носа густо пошла кровь. Через минуту Станееву стало легче. Чтобы не напугать задумавшуюся Раису, он осторожно дотянулся до полотенца, окунул его в ведро с водой и приложил к переносице.

— Юра, ты не мог бы подарить мне его фотографию? — спросила Раиса, наполовину высунувшись из мешка и оправляя сбившуюся моховую подушку.

Станеев что-то невнятно промычал и отодвинулся в угол, куда не доставал свет лампы. День этот для него слишком переполнен был впечатлениями. И одно из них — приезд Раисы — подействовало на него удручающе. Еще там, на острове, он понял, что любит Раису. Это было все равно что любить птицу пролетающую или вчерашнюю звезду. Он знал, что Раиса никогда не ответит ему взаимностью, а пытаться завоевать ее он не смел. Таких женщин не завоевывают. Они сами берут то, что им нужно. После смерти Мухина Станеев покинул Истомину избушку, устроился в лесничество, у самых гор, где никто из знакомых его не потревожит, не станет докучать вестями о... счастливой женщине. Но мир тесен. Его и здесь находили... Нашла и Раиса.

Вероятно, решила пожаловаться на судьбу, заодно вспомнив Ивана Максимовича.

— Что же ты молчишь? — поднявшись на локоть, старалась разглядеть его лицо Раиса.

— Да я не знаю,— не оборачиваясь, но все же отняв полотенце, глухо проговорил Станеев.— Одурел. Столько всего сразу...

— Рад, значит?

— Конечно. Ты же мне... почти родной человек. А я так встречаю... даже не приготовился.

— Я не дипломат... с официальным визитом. К чему готовиться-то? — рассмеялась Раиса и дружески упрекнула: — Хорош хозяин — спиной стоит. Хоть бы ко мне повернулся.

«Поцеловать бы ее! Вот поцелую!..» — заведомо зная, что не решится на это, тоскливо думал Станеев.

— Подойди ко мне, Юра!

Почти потеряв рассудок от страха, от еще не понятой, холодящей грудь радости, Станеев с диким грохотом опрокинул табурет, дунул на бегу в лампу, не погасил, но не заметил этого и, подскочив к нарам, облапил Раису, бестолково ткнувшись губами где-то возле маленького ее уха, и заглотил ртом жестковатую вьющуюся прядку.

— Какой же ты мальчик, Юра! Совсем еще мальчик! — на величавом, властном, смягченном сочувствием лице мелькнула жалость, которую Станеев принял за желание.

3

Солнце выкатилось как раз напротив окошка. Края темного неба расправили морщины, заголубели. Всю ночь молчавший лес стряхнул с себя сонную одурь, загомонил, закачал ветками, уронив на посеребренные папоротники отпавшие иглы, листья, капли тяжелой росы. Курья, отразив в волне красное веселое солнце и слинявший в солнечном свете месяц, осторожно вывела их на середину, спугнув дремавшую щуку, и целеустремленно потекла к морю. А солнце и месяц выплясывали на волне, то проваливаясь, то взлетая на гребень. Берег еще курился туманом, был тих, беспечально-задумчив и вдруг ухнул обвалом, переполошив выбравшихся из гнезда стрижей. Они заверещали, забили крыльями и отлетели на безопасное расстояние. Лишь один, старый, с помятым хвостом, спланировал на крышу и принялся выклевывать из хвоста крошки глины. Отклевавшись, он перелетел на конек и, вытянув шейку, начал осматриваться. Посреди двора лежал лось. На его хребте хозяйничала сорока, прыгала, вертелась по сторонам, трещала, всем сообщая, как удачлива она в промысле и как велика ее добыча. Зверь жил еще, и стриж тут же обвинил сороку в хвастливости. Болтунье было не до него, она упивалась собою и трещала на весь свет, расписывая свою удачу. Стриж знал, что сороку теперь не остановить, будет стрекотать без умолку, пока не прогонят, но сам прогнать ее не отваживался, лишь перелетел по-

ближе к зверю. Нижняя губа лося была обиженно вытянута; передняя левая нога выше колена была иссечена дробью, правую, неловко подвернутую под брюхо, задело как раз подле копыта. Стриж осмелел и пристроился у лося на голове. Сорока подскочила к стрижу, закричала и принялась позорить на весь лес. Неприлично обругав ее, стриж улетел. Он уж над рекою носился среди стаи своих сородичей, а болтунья все еще стрекотала, рассказывая всем, как этот маленький жулик хотел поживиться ее добычей.

Утро стучалось во все окна. А в домике спали — мужчина на лавке, женщина — в мешке, на нарах. Из лесу, осторожно оглядевшись, выбрел грустный Буран, прогнал сороку и, разбудив лаем Раису, принялся облизывать кровь с раненых Филькиных ног. Раиса натянула на себя платье, стараясь не шуметь, открыла шкаф. В шкафу, помимо двух фотографий, в маленькой нише лежали две общих тетрадки. Раиса открыла одну из них, не удержалась и стала читать. «Социология наслаждений». Ого! — название заинтриговало. Она перелистнула страницу и прочитала первую фразу: «Рим погиб от излишеств...» Любопытно! Надо будет почитать...

Закрыв тетрадку, сунула фотографию в сумочку и вдруг испуганно вскрикнула: сзади, неслышно подкравшись, ее стиснул Станеев.

— Ага, попалась!

— Ты подсматривал? Ай-ай-ай!

— Так ведь и ты кое-что подсматривала.

— Женщине простительно. Все мы любопытны, как сороки. Что это за сочинение?

— Начал реферат, да погас. Пороху мало.

— Тема модная. Теперь все говорят: «Секс и религия», «Секс и политика».

— Я не о том,— слегка смутившись, возразил Станеев.— Наслаждения могут быть разными: работа, увлечения, борьба...

— Скажи, Юра, ты сильный? — спросила она. Станеев споткнулся на полуслове.

— Не знаю, нет. Пожалуй, нет.

— Вот время, а? Сильные-то куда подевались? Ответь мне, Юра! Ты же философию изучал...

— Теперь не изучаю,— спрятался в личину Станеев, нацепив дурашливую, растерянную улыбку.

— Почему же ты бросил свою диссертацию?

— Кому она нужна, Рая?

— Знаешь, называй меня лучше... Раисой Сергеевной.— Станеев отпрянул, сраженный ее издевкой. Раиса разъяснила, чтоб не оставалось сомнений: — Как воспитательницу в детском садике. Тебе же воспитательница нужна...

— Не злись,— выдержав долгую, мучительную паузу, вымолвил наконец он.— Я понимаю, отчего ты злишься. Но борца из меня не выйдет.

— Ну и живи тут... со своими зверюшками,— глухо сказала Раиса и, оттолкнув его, надела плащ.— Живи... больше, пожалуй, не увидимся.

— Что ж, значит, не судьба,— Станеев, только что мечтавший, как хорошо было бы, если б с ним жила эта сильная умная женщина, мысленно посмеялся над своими мечтаниями. Чудак, что он может ей предложить? Эту сторожку, эти нары и кем-то сочиненную притчу о рае в шалаше?

— Ведь мы как на вас смотрим? — застегивая плащ, с желчной усмешкой бросала ему в лицо Раиса.— Если мужчина, то обязательно муж, воин, умница...

— Нну, какой из меня воин,— Станеев взял себя в руки и отвечал ей со спокойной язвительной самоиронией, потому что не умел рисоваться, не умел и не желал набивать себе цену. Тот, кто вообразил себя атлантом, однажды должен взвалить на свои плечи небо или упасть под его тяжестью.— Слабачишка я, Раиса Сергеевна. И, кажется, ничего не умею.

— Ну, не совсем уж ничего,— едко усмехнулась Раиса.— Если иметь в виду твои философские интересы.— Она знала, куда бить, и била не щадя. Перед тем как уйти, нанесла еще один, разящий удар: — Между прочим, твой садик доживает последние дни.

Заняв место покойного обходчика, Станеев разбил подле Истоминой избушки сиреневый сад, своими руками насыпав грунт, под которым провел трубы, пропустив по ним теплые естественные воды. Началось с маленького кустика сирени, который Станеев воткнул в кочку на песчаном взгорыше. Кустик взялся и бурно пошел в рост. И тогда, выписав саженцы, Станеев засыпал песок торфом и перегноем и рассадил рядками сирень. Когда сад наконец взялся, подрос и зацвел, любоваться на него

приходили все лебяжинцы. Он так и остался бы маленьким садиком, если б Станеев не предложил здешним школьникам однажды прокатиться вверх по Курье на самоходной барже. Капитан баржи был его приятель. Узнав, что прогулка целевая, директор школы, только что окончившая уржумский университет дивчина, подключила всех учителей. Через день баржа причалила неподалеку от новой больницы, напротив которой стояла Истомина избушка. И школьники, и учителя дотемна возились на сиреневой плантации, рассаживая привезенные ими кустики. А весною на лысом когда-то песчаном взгорыше цвела и благоухала сирень. Сад от расхитителей охраняли школьники и больные. Потом школу перевели в другое место. Станеев уехал... А сад по-прежнему жил.

— Доживает... А разве он цел? — удивился Станеев. Он уж давно похоронил свой сад и примирился с его гибелью. Слишком много находилось любителей, которые ломали и отаптывали кусты; это в то время, когда сад охранялся.

— Пока цел. Но Ганину песок нужен. Аэропорт начали строить...

— Песку в реке навалом. Сад-то к чему разорять?

— Говорят, речной песок сыпуч. Выясняй сам, если угодно.— Раиса вслушалась: кажется, вертолет снижался. Ганин точен: прислал к восьми. Сбежав с крыльца, она увидала раненого лося, раны которого зализывал волкодав. «Вот псих!» — подумала о Станееве, от которого уж никак не ожидала такой жестокой бессмысленной выходки.

— Мне понятно, когда убивают браконьеры,— вернувшись в дом, сказала холодным, враждебным тоном,— но когда ты убиваешь, ты, призванный охранять,— это гнусно! Гнусно!

— Я не убивал, Рая... я... разве что нечаянно,— виновато залепетал Станеев и полураздетый выскочил во двор. Филька, увидев его, жалобно вскрикнул, забился, вскочил и снова завалился, едва не придавив Бурана.

— Где аптечка? — спросила Раиса.

— Я сам займусь. Иди. Там ждут,— сказал Станеев и стал осматривать лосенка. Сходив за аптечкой, обработал раны, с помощью Раисы наложил лубок.

— Это кто ж его так? — Сзади неслышно подошел

высокий смуглый человек, немолодой уже, но все еще стройный и стремительный. Станеев сразу узнал этот голос, но сделал вид, что не расслышал вопроса.

— Допустим, я. Что дальше? — перетягивая бинт, пожала плечами Раиса.

— Вот что значит женщина! — насмешливо выгнув крутую и без того изломанную бровь, хмыкнул Ганин.— А мне за выстрел чуть руку не оторвали...

— Во заливает! — выскочив из вертолета, сказал летчику крупный тяжеловесный парень, указывая на Ганина.— Он сам, кому хошь, загнет копылья...

— Как же вы этого товарища охмурили? — допытывался Ганин, выпуская через нос клубы папиросного дыма, и вращал птичьими беспокойными глазами.

— Уметь надо,— подмигнула ему Раиса и, потрепав волкодава, взяла Ганина под руку.— Летим?

— С вами хоть на край света,— он повел женщину к вертолету, что-то веселое ей рассказывая. Следом за ними уныло плелся Буран, опустив большую умную голову. Он понял, что с Раисой предстоит расставанье.

Станеев, напрягая жилистую сильную шею, заставлял себя не оглядываться, но краем глаза все же следил, что происходит около вертолета. Ревность и бешенство, вдруг вспыхнувшие в нем, заглушили все прочие чувства, даже чувство вины, которое он испытывал перед раненым Филькой.

Вертолет взревел, затрясся всем корпусом; те двое, смеясь, запрыгнули в салон, а следом за ними, убрав лесенку, взгромоздился белобрысый крупный парень, и вертолет улетел. На поляне лаял с подвыванием Буран. Он был уверен, что женщина останется здесь. Она не осталась, и пес обнюхивал ее следы и, как умел, выговаривал хозяину, не удержавшему Раису.

— Замолчи ты! — взбешенно рявкнул на него Станеев и бросил палкой.

Буран умолк и, не понимая, в чем провинился, отбежал в сторону.

— Как она могла! Как могла! — бормотал Станеев и грозил кулаком вертолету, в котором улетела Раиса.

Солнце уже налилось золотой спелостью. Сохла роса на багульнике. Дымились опавшие Филькины бока; парила земля, от которой влажно тянуло сладкой гнильцою прошлогодней листвы. Бинт пропитался кровью, и

на нем ползали мухи. Где-то далеко на реке чакала старым мотором лодка. С той же стороны донесся выстрел. В иное время Станеев прыгнул бы в свою «казанку» с двумя «Вихрями» и кинулся ловить браконьера. Сейчас лишь передернул плечами и, воротившись в избу, наладил для Фильки пойло. Шел по двору с бадейкой, глядя в сторону. Было совестно поймать взгляд зверя или собачий все понимающий взгляд. Филька снова занервничал, попытался вскочить.

— Лежи, лежи, глупый! — ласково уговаривал его Станеев. Успокоив зверя, дал ему пойло и еще раз осмотрел его ноги. Ведь точно помню, стрелял в землю. Как же задел-то? Ох дуролом! Напоив Фильку, сделал ему в обе ноги уколы. Буран, поначалу дичившийся хозяина, снова подобрался к нему и следил за всеми манипуляциями. «Стыдно небось?» — спрашивал его взгляд. «Как еще стыдно-то, Буранушко!» — взглядом же отвечал ему Станеев. Он и у Фильки просил прощения, целуя его во влажные ноздри. Распоясался, ум потерял... Гнусно это, Раиса права.

По первым заморозкам той осенью над избушкой пророкотал вертолет. Через кусты, убегая от него, ломилась лосиха с лосенком. «Неужто за ними охота?» — выскочив из избушки, всматривался Станеев. Люк вертолета был открыт. Из него, целясь с колена, стрелял Ганин. Первый выстрел был неудачным. После второго лосиха упала. Теленок, вот этот самый Филька, перепугавшись, кинулся обратно и завяз между двух молодых березок. Вызволив теленка, Станеев взвалил его на плечи, унес и закрыл в корале, нарочно построенном для таких вот бедолаг. Винт вертолета еще крутился, когда из люка выпрыгнул Ганин и, размахивая ружьем, подбежал к лосихе. Следом за ним выбрался медлительный с сонными глазками парень.

— Не промахнулись? — пробасил он лениво, потирая огромною лапой широкий, как башмак, подбородок.— С почином, Андрей Андреич!

— На кровях и выпить не грех,— Ганин достал из кармана плоскую фляжку, налил пробочку парню. Тот отказался.

— На работе не пью.

— Ну, сегодня у нас выходной, Анатолий,— отпивая из горлышка, сказал Ганин.

— Это у вас выходной,— возразил парень.— А мне запишут восьмерочку.

— Тут ты прав... Совесть мучит?

— Совесть? Не-е... Совесть дремлет. Я ей строго-настрого наказал: ты, говорю, чем недовольна — с Андрей Андреича спрашивай. Я при нем состою. Мясом-то как распорядимся?

— Сдадим в столовку. Зачем оно нам? — завинтив пробочку на фляжке, Ганин склонился над лосихой.— Велика ли картечина, а такую зверюгу свалила... Тут где-то теленок бегал — поискать надо.

Но разогнуться он не успел. Наскочивший Станеев рывком оторвал его от земли, завернул руку за спину и сломал бы, наверно, если б Толя не рубанул его по шее красной толстой ладонью. Очнувшись, Станеев сделал попытку подняться, но его, словно щенка, опрокинули навзничь.

— Поучить его, что ли? — лениво, сонно спрашивал Толя, приподнимая Станеева за шиворот.— Не возражаешь, парень?

— Ступай в кабину,— резко сказал ему Ганин и, выждав, когда Толя удалится, спросил: — Что это вы? Зачесались руки?

— Это вы — что! Кто вам позволил? — с ненавистью глядя в спокойное, красивое лицо, перечеркнутое длинными, неправдоподобно черными бровями, закричал Станеев. Он знал, что был прав, и это сознание правоты усиливало в нем чувство унижения, которое он только что испытал, будучи отвратительно, жестоко избитым.

— А мне и позволения не нужно. Я тут хозяин,— усмехнулся Ганин, поглаживая горбатый, припавший к верхней губе нос.

— Вы не хозяин! Вы бандит! — дрожащим от обиды и ярости голосом закричал Станеев и, наклонившись, тронул палевое брюхо лосихи.

— Ну зачем же так сильно? — холодно посмеялся Ганин, заломив длинную черную бровь.— У меня и лицензия есть, если уж на то пошло. А мясо я все равно сдаю государству.

— Че вы с ним рассусоливаете, Андрей Андреич? — крикнул ему Толя.— Дайте его на пару слов мне, и он сразу все поймет.

— Не нервничай, Толя. Тебе вредно нервничать,—

дав знак Толе и летчикам, велел погрузить убитую лосиху в вертолет и, пока они тужились, затаскивая тяжелую тушу, с некоторым недоумением смотрел на Станеева.— Вам что, действительно жалко эту лосиху?

— Она, между прочим, самка... Теленка кормит...

— Теленка я уж потом заметил,— пробормотал Ганин, и нельзя сказать, чтоб в его голосе прозвучало раскаяние.

— Порядочек! — крикнул Толя, приглашая Ганина в вертолет.— Свою восьмерку я отработал. А вы как, Андрей Андреич?

Ганин не отозвался и, улетая, еще раз оглянулся на Станеева, словно хотел что-то понять.

Небо очистилось, стало сплошь синим. Высоко над головою кружил орлан, ниже сверлили воздух стаи стрижей, в камышах, сзывая утят, крякала утка. В кустах, снова отбившись от матери, в лосиные следы внюхивался волчонок. От цветка, который царапнул его нос, шел угарный сильный запах. Волчонок обнюхал цветок и замотал головой. В голове зазвенело. Так звенит, когда мать наказывает слишком усердно. «Надо бежать отсюда, а то заметят!» — он выглянул из кустов, осмотрелся. Станеев с Бураном хлопотали над лосенком. Как и осенью, Станеев собрался было перенести Фильку в пригон, но за зиму лось отяжелел. Тогда, срубив пару молодых березок, Станеев сделал из них волокуши и, завалив Фильку, кряхтя, поволок его в кораль.

Буран, видимо, потрясенный поведением Станеева, без всякой нужды ходил следом, словно оберегал Фильку от новой неожиданной и неумной вспышки Станеева.

— Ну чего ты? Переживаешь? Ну сорвался... себя не помнил...— устроив лося на моховую подстилку, объяснялся с собакой Станеев. Буран холодновато отстранялся.

С ели на плечо Станееву спрыгнул бельчонок. Оскалив мелкие острые зубки, забил лапкой о лапку, требуя подачки.

— А, Ерофеич! Промялся, брат? — В кармане нашлось несколько орешков. Раскусив один, Станеев дал его бельчонку. Остальные ссыпал в кормушку.— Иди, питайся.

Весь мир, огромный и бесконечный, сейчас светился,

пах, звенел, обрушив на Станеева все свои краски, звуки и запахи. Он был щедр, этот мир, и великодушен. Он с незапамятных времен кормил человека, учил и лелеял. Человек чаще всего платил ему за это почтительным сыновним уважением. Но иногда забывался и зверел. Мир и это прощал человеку... все так же необидчиво светило солнце, переливалась серебристая волна в Курье, тонко и нежно звенели колокольцами лишайники, ерошились мхи, желтела морошка. Красиво, радостно начиналось утро. В душе Станеева разлилась грусть...

4

«Человек — клетка Вселенной...» — где-то записал себе на память Станеев. Потом понял, что умничает, что напускает ненужного туману, и забыл эту фразу, а вот сейчас она всплыла. «Если я клетка Вселенной, отчего я чувствую себя одиноким? Отчего никто во мне не нуждается?» — думал Станеев, сидя в избушке этой ночью. У порога на подстилке лежал Буран и выщелкивал блох. За окном шептал о вечности дождик, а может, о малом чем-то шептал, но когда ты один, то все вокруг кажется большим и таинственным, все отдалено, скрыто и непостижимо. Филька стонал и метался под крышей. Станеев каждый час выходил к нему, делал уколы, менял повязки, поддавал корму и наливал пойло. Филька пил одну студеную воду, а корм не брал и постанывал, охал совсем как человек. Ему, должно быть, не думалось о вечности, о бренности жизни. Жизнь трудная выпала, с людьми, без матери. Люди до времени обходились с ним ласково, а вот вчера ни за что ни про что вдруг выстрелили в упор и ранили. И тот же, кто ранил, ходит теперь, сам мается и не дает покоя Фильке. Ушел бы, заперся бы в своей избушке и не бередил горящие огнем раны. О-ох, больно-то как! Лосенок вытянул ноги, неудобно завалившись на бок, а не подломил их, как обычно, под себя. Теперь передние ноги ему не служили. Сам он служил двум своим искалеченным ногам, пристраивал их поудобней, лизал через марлю и чуял, как горячо и больно там, под окровавленной тряпкой. Станеев, в седьмой раз появившись, убрался наконец восвояси, оставив зверя наедине с его болью.

Сплошная ночь была, ни звезд, ни месяца, только

темь да шелест дождя. Лосенок подполз, подтянулся к пряслу и высунул между жердями морду. На лоб капнуло несколько вкрадчивых мелких дождинок. Боль не уменьшилась, но стало легче от прикосновений дождя, от странных звуков и тресков, которые доносились из избушки. Это Станеев сидел подле запыленного транзистора и узнавал, что творится на свете. Он давным-давно не прикасался к приемнику, не читал газет, вообще ничем не интересовался. «Если я никому не интересен, то и мне не интересен никто»,— решил когда-то Станеев, словно хотел этим досадить человечеству. Оно отнеслось к его решению спокойно. Ни на внешней, ни на внутренней политике государств это никак не отразилось. Одни строили что-то и торговали, другие воевали и разрушали, и все считали себя правыми. А Станеев дичал тут, скрывшись и от правых, и от виноватых, от счастливых и несчастных, от женщины, которая никогда его не преследовала. А если б узнала, что от нее бегут, то, наверное, очень этому удивилась бы и вряд ли наведалась сюда.

Она улетела, будто и не была, и Станееву хоть на минуту захотелось удрать отсюда, потереться среди людей. Вспомнился Степа, когда-то подаривший этот транзистор с вмонтированным в него маленьким будильником, компасом, лупой, какими-то блестящими безделушками, в назначении которых Станеев не разобрался до сей поры. Где он, этот славный чудак, Степа? Где Сима и Наденька? Где Водилов? Ни от кого нет вестей. Бежал от людей, а теперь еще скорее, чем когда-то в тайгу, сломя голову готов бежать к ним, на Лебяжий. Только кому ты там нужен? Человек обязательно должен быть кому-то нужен... Тогда ему легче справляться с собой.

Безразличие людей было обидно. А они попросту и не подозревали о его присутствии на земле. Ганин с его обломом, Раиса да еще два или три человека — вот все, кого Станеев повидал за все эти месяцы. А с юга и с запада наступала огромная, грозная жизнь, дымили факелы, которые несли через тундру невидимые великаны, рокотали в небе гигантские самолеты. Однажды, у границы лесничества, Станеев увидал мощный трактор. «Катерпиллар»,— прочел он на грязно-синем капоте невиданной машины. За рычагами в кабине сидел парень в солдатской гимнастерке. «После дембиля»,— узнав в

нем демобилизованного солдата, подумал Станеев. Тракторист, что-то прокричав Станееву, наехал на старый замшелый кедр, свалил его и подозвал Станеева.

— Ничего техника, а? — обрывая шишки, говорил он.— Пользуйся... за механизацию расплатишься шишками.

— Ты знаешь, сколько лет этому кедру?

— Мне ж на нем не жениться,— белозубо, бездумно улыбнулся механизированный ковбой и, нарвав шишек, забрался в кабину.

— Вздуть тебя, что ли? — раздумчиво проговорил Станеев, понимая, что и эта в иных случаях действенная мера уже ничего не изменит.

— Попробуй,— закрывшись в кабине, парень включил скорость и по пути свалил еще пару семидесятилетних кедров.— Эй, благодетель! Шишки-то собери! — прокричал он издали.

Станеев внял его совету и все до единой обобрал шишки. Посидев на одном из поваленных кедров, выпустил в небо заряд. Что же делать теперь, что делать? — допрашивал он себя и не мог ответить.

Все чаще и чаще наведывались в его владения вооруженные то на крыльях, то на колесах пираты. Станеев гонялся за ними, ловил, штрафовал, отнимал сети и ружья. А завтра приезжали, приплывали и прилетали другие рыбаки и охотники, и у Станеева опускались руки. Уйти отсюда, оставить все, как есть! Пусть валят деревья, пусть грабят этот удивительный в здешних широтах лес, стреляют зверей, глушат рыбу... пусть. У тебя лодчонка, у них катера с подводными крыльями. Ты по земле ходишь — они летают. Купят лицензию на одного лося, погубят трех или четырех... Флибустьеры, грабители!

5

Река сплошь была в тумане. Туман тут же оседал и снова подымался, затягивая проход, который лодка в нем оставляла. Если б навстречу шло судно, Станеев, летевший на огромной скорости, обязательно в него врезался бы. Он шел фарватером, без опознавательных огней. У стрелки решил держаться берега, но скорость сбавил только после того, когда чуть не врезался в опо-

ру одного из семи бетонных мостов. Во времена покойного Мухина берега соединял один, да и то понтонный, мост. Теперь их семь, и каждый является частью бетонного кольца, опоясывающего Лебяжий. Если б Станеев не был очевидцем, он не поверил бы, что за какие-то три-четыре года можно проложить столько дорог, соединяющих старый и новый поселки. Вон он, Лебяжий, мерцает во мгле огнями, за ним, разрезая мглу, вознеслись в сумрачное, густо забросанное гарью небо красные языки попутного газа. Факела далеко еще, но их зарницы, преломившись в тумане, широко размахнули зловещие драконовы крылья.

Было уже около девяти, когда Станеев миновал третий мост. «Тихо сегодня. Наверно, из-за тумана»,— решил он: над головою не прогремело ни одной машины. Пристань, где он обычно причаливал, сплошь забита моторками. Почти над головою заморгал воспаленными глазами ретранслятор. «Швартоваться запрещено!» — гласила строгая надпись. Станеев свернул прямо на огни, заглушил моторы, и через минуту нос лодки ткнулся в берег. Территория ретрансляционного центра была огорожена дощатым забором. Но в каком заборе нет лаза? Сдвинув доски, Станеев пролез внутрь. Если ворота не заперты, пройдешь через них и сразу окажешься на улице Мухина, одним концом упирающейся в Истомину избушку. Ну а если закрыты, придется пилить в обход километра четыре, минуя базы, речпорт и какие-то склады. Обнаружив на воротах замок, Станеев вздохнул: над забором в четыре ряда колючая проволока. Придется в обход. Пока он раздумывал, из темноты вынырнула большая собака и молча вцепилась Станееву в ногу. Станеев вскрикнул, выругался и лягнул собаку.

— Что, Соболь, грабителя поймал? — из пристройки вышел сторож.— Держи его, а я покурю.

— Степа! — отгоняя собаку, вскрикнул Станеев.

— Ага, личность вроде знакомая,— дрогнув голосом, сказал Степа и поправил сбившиеся черные очки.— Юра, что ли? Станеев?

— Он самый,— обнимая его и одновременно отбиваясь ногой от Соболя, счастливо бормотал Станеев.

— Подпрыгивает, понял. От радости, что ли?

— Да блоходав твой опять укусил.

— Довольно, Соболь. За службу объявляю благодарность.

— Ты как здесь? Давно?

— Да с полгода уже. Спрашивал про тебя. Сказали, в тайгу забрался... живет в пещере, ходит в шкурах и сырым мясом питается. Ну, заходи! Я в сторожах тут для вида. Сторожит-то, как видишь, Соболь. Ловко он тебя подсек?

— Молодчина! Кусок икры выхватил.

— Ну? Видать, вкусная. Давай-ка спиртом протравим... изнутри, а то заразу подхватишь.

В сторожке был стол, заваленный картоном, папками, рулонами бумаги и ледерина, пара табуреток. Над тумбочкой — две самодельные полки, уставленные старыми книгами и переплетенными рукописями. Степа вынул из тумбочки спирт и аптечку. Аптечку подал Станееву:

— Перевяжи где следует. А главное, внутрь прими.

— Я ведь не пью, Степа... так и не приучился.

— Несчастный ты человек! — посочувствовал Степа и сдвинул бумаги на край стола.— А может, рискнешь ради встречи?

— Разве что ради встречи.

Степа по звуку разлил спирт, для верности взвесил стаканы и дернул рыжей бровью.— Каждому ровно по девять бульков. Вздрогнем?

— За тебя, Степа! Не думал, что встретимся.

Степан отвернулся, провел по глазам и, надев очки, опрокинул свою стопку. Станеев, глотнув спирту, закашлялся, половину выплюнул обратно.

— Ты один здесь? — все еще красный от кашля, вытирая повлажневшие глаза, спросил Станеев.

— Куда я один-то? Нет, с Серафимой. И Наденька с нами. В школу девка пошла,— с затаенной гордостью похвастался он.

— Решились все же, приехали. А меня не известили.

— Тебя тут днем с огнем не отыщешь, понял. А нас Раиса сюда позвала. Перебирайтесь, говорит. Ну, мы и дернули. Квартиру в тот же год получили... на улице Мухина живем,— снова сорвался на шепот Степа. Вспомнил Мухина, вспомнил прошлое и себя, в ту пору веселого, зрячего, сильного, потом ослепшего. После аварии. Проходит и молодость, и здоровье. Остается лишь то, что

ты сделал на земле. Вот этот поселок он начинал вместе с Мухиным, с Лукашиным, с Раисой.— Я за это время переплетное ремесло освоил... вот, прирабатываю в типографии. А Серафима наборщицей. Ты-то как?

— Да все так же,— неопределенно пожал плечами Станеев.

— Трудно живешь,— слепой пожевал губами.

Станеева передернуло. Если уж калека ему сочувствует, то во что же он превратился? Он, здоровый, сильный, в самом расцвете сил человек?

— В чем трудность-то, Юра? — допытывался Степан, черными своими очками уставившись Станееву в переносицу.— Душа не на месте... Вроде как виноватая душа.

— Сбился я, Степа... совсем запутался. Не знаю, чего от жизни хочу.

— Давай вместе помаракуем,— без иронии сказал Степа, словно ему, незрячему, было понятно все совершающееся вокруг лучше, чем зрячему Станееву. Вообще он держался и вел себя очень уверенно, не унывал в своем положении и, кажется, знал, чего хотел. «Наверно, оттого, что хочет немного!» — подумал Станеев и покраснел, потому что сам-то вообще ничего не хотел или хотел, но не знал, чего хочет.

Яркие Степины веснушки посветлели, лицо стало гладким и бледным, а рыжие волосы, когда-то дико росшие по сторонам, разделенные пробором, лежали ровно. Был он так же широк, грудаст, крупнорук. Ногти на руках аккуратно подстрижены, без заусениц, в волосах легкая седина.

— Ведь вы все мир перевернуть хотите,— словно жил в его мыслях, понимающе усмехнулся Степан.— А других не спросили: надо ли переворачивать-то? Меня, например, не спросили.

— Пускай он стоит. Он мне не мешает.

— Тогда почему тебе не живется как всем прочим людям? — Степа не стал ждать ответа, жестом остановил Станеева, почувствовав, что тот собрался возразить.— А я скажу тебе все как есть... всю правду выложу. Сам ее вызнал, когда в больнице лежал... Я даже из окна хотел выброситься. Серафима помешала. Дурьто эта знаешь с чего одолела? Девать себя некуда было. И тебе некуда себя девать. Тебе много себя, Юра. Понял?

Степа тонким чутьем слепого, а может, просто помудревшего человека сразу определил, что́ его ломает. Если б он еще подсказал, как сделать и что сделать, чтоб все стало проще. Не легче, а проще. Есть прописные истины, очень справедливые прописные истины, следуя которым, люди бывают счастливы. Станеев знал об этом, не знал лишь, какой из множества истин он мог бы воспользоваться, чтобы почувствовать себя счастливым и нужным.

— Мне песенка одна вспомнилась, понял,— сказал Степа, разливая остатки спирта. Станеев машинально взял стакан и, копируя Степины движения, выпил до дна и не поперхнулся.— Не помню уж, от кого ее слышал... Так себе песенка, но что-то в ней есть.

Он запел все еще сильным, пожалуй, даже более сильным, чем раньше, и хорошо поставленным баритоном:

Все минует: печаль и грусть.
Не минуют одни утраты.
Виновата ты? Ну и пусть...
Все мы в чем-нибудь виноваты...

Станеев и сам слыхал эту непритязательную песенку, но в его памяти она связывалась с жалким кастратским тенорком давнего и безвестного певца, а не с мощным и глубоким Степиным голосом. Теперь, в его исполнении, эти слова наполнились бо́льшим, чем раньше, смыслом. Хотя, быть может, ничего в них особенного и не было, кроме ощущения всеобщей вины...

— Завидую я тебе, Степа! — придвинувшись к нему, взволнованно сказал Станеев.— Весь ты железный какой-то... без сомнений.

— Муравей и тот сомневается, когда груз на себе тащит. Туда ли, мол, тащу-то? А на нас, брат, груз поответственней...— Степа не договорил, вслушался.— Гул какой-то. Или ветер поднялся? Что там гудит? — спросил он вошедшую женщину. Следом за ней вбежала девочка. Станеев сразу узнал в ней Наденьку...

— Дядя Юра! — закричала она и, подбежав к Станееву, повисла у него на шее.— Какой ты красивый стал!

— Правда? — целуя ее, пожимая руку располневшей, но нисколько не постаревшей Симе, растроганно говорил Станеев.— А ты невеста...

— Вот и бери ее замуж,— с усмешкой посоветовал Степа.— Все время трещит о тебе.

— Пойдешь? — подбрасывая девочку, которая любила его и которую сам любил и вспоминал постоянно, спрашивал Станеев.

— Когда подрасту,— ничуть не смутившись, ответила Наденька.— Ты только не старей, подожди меня.

— Да он уж, поди, женился,— поддразнивая ее, предположила Сима.

— У этих баб одно на уме,— проворчал Степа и снова вслушался.— Что гудит-то? Или в голове у меня зашумело?

— Машины.

— Машины?!

— Но. Помнишь, пожар-то был в центральном парке? Там шофер один сгорел. Вот, вся шоферня лебяжинская его провожает. Гудят и гудят...

— Ага, машин-то сколько на улице! — зачастила Наденька.— Не пройдешь!

Симу года пощадили. Она оставалась все такой же шустрой, подвижной, скороговорчатой, хотя чуть-чуть раздалась и в плечах и в бедрах, но эта полнота ее красила.

— Хорошо принимаешь гостя! В сторожку завел.

— Это не я, Соболь его завел,— отговаривался Степа.

— Айдате к нам. Там и повидаемся.— Она помогла Степе одеться, вывела его, слегка захмелевшего, на улицу. Станеева вела за руку Наденька.

Туман рассосался. Степа определил это, втянув в себя все еще влажный, но уже поредевший и сильнее пахнущий гарью воздух. Сквозь завесь чада, стоявшего над городом, сквозь остатки тумана и мрака пробилось позднее солнышко. Виднее стали дома, деревья, покрытый грязью, избитый колесами и гусеницами асфальт, люди и машины на нем. Шоферы провожали в последний путь своего погибшего товарища, давали протяжные гудки, и казалось, что на городских улицах играют несколько огромных и одинаковых труб. Этот своеобразный шоферский обычай, эта скорбная дань памяти погибшего друга — беспрерывные печальные сигналы, разносившиеся по городу, оставляли жуткое впечатление и вместе с тем вызывали невольное уважение.

6

Волчица подползла на брюхе к пригону, обнюхалась и еще раз всмотрелась. Почуяв ее присутствие, лось забился, вскочил на искалеченные ноги, вскрикнул, но тут же рухнул. Он еще не видел волчицу, но чуял, что она здесь, рядом, что ее холодные желтые глаза изучают его из скрадка, язык высунулся из пасти, словно осенний осиновый лист, а сверху и снизу сверкают клыки, которым предстоит желанная работа.

Волчица подсмотрела утром, что человек из избушки ушел, заперев в ней Бурана. Человек спустился к реке, запустил моторы и уплыл. За его спиною бугрился рюкзак: значит, уплывал надолго; он почему-то не взял с собой волкодава, но и не выпустил его из дома. Лосенок, беспомощный, беззащитный, остался тут без присмотра. Как не воспользоваться такой редкой и прекрасной возможностью! Только глупый или рассеянный человек мог закрыть волкодава на замок. Впрочем, волчица была права лишь наполовину: Станеев попросту забыл и о Буране и о лосенке. Он вспомнил о них в городе и решил поскорее вернуться в лес.

Буран между тем беспокойно метался по избе, прыгал то на лавку, то на стол или на нары, выглядывал в окно, чуя близко давнего своего врага. В конце концов он сломал окошко, напугав волчицу, но протолкнуться в него не смог: держала рама. Волчица видела это, слышала звон битого стекла, лай волкодава, временами переходивший в бессильный и яростный вой. Она открыто и не спеша прошлась под окошком, остановилась, сладко зевнула и, потянувшись всем телом, сделала огромный прыжок к пригону, не скрывая, а, наоборот, подчеркивая свои откровенные намерения. Буран понял и взвыл. Лосенок снова вскочил на израненные ноги, подпрыгнул от боли на задних и, опрокинувшись на спину, засучил всеми четырьмя. Он знал, что скоро произойдет что-то страшное, хотя ни разу пока еще со смертью не встречался. Страх, могучий страх пронизал мозг его, сердце, все мускулы и все поры тела, ослепил и сделал бессильным. А волчица уж втиснула морду между жердями и, извиваясь, проталкивала голову, грудь. Голова просунулась без труда, но плечи никак не входили; тогда она принялась рыть передними лапами под нижней

жердинкой. Рыла податливо, сильно откидывая землю в стороны. Тем временем Филька перекатился со спины на бок и снова вскочил и снова свалился. Свалился он на передние бабки и, собрав силы, задом оттащил себя к дальней стене. Это подсказал ему не разум — инстинкт, загнал в угол все тот же неистовый, ошеломляющий страх. Да и отступать теперь было некуда. Все стенки, кроме передней, под которой рыла волчица, были сплетены из краснотала. Колья прочно перевиты молодыми гибкими вицами, и лишь под крышей, застланной березовыми жердями и поверх заваленной сеном и мхом, была небольшая отдушина. Волчица уже протолкнула в вырытый ею проем голову, просунула одно плечо, другое не лезло. Недовольная проволочкой, она заворчала и еще энергичней загребла когтистыми сильными лапами. Вот левый крайний коготь за что-то зацепился. Вгорячах волчица рванула и отделила его вместе с мясом, взвизгнув от боли и вожделения.

Волчица огляделась. Все было по-прежнему. Пес бился в избе, освирепев от бессилия. Филька втискивал себя в плетеную стену, мукал и тупо мотал головой. К кормушке на старой сосне спустился бельчонок. Обнаружив, что в ней пусто, обиженно засучил быстрыми лапками. Волчица отхромала к сосне с кормушкой, уркнула на бельчонка, скосившего на нее настороженный бисерный глаз, и стала вылизывать свою рану. Она не спешила, зная, что добыча все равно от нее не уйдет, однако досадовала на непредвиденный срыв в ее четких планах. Как складно все начиналось, как тщательно все было разведано и обдумано! Но этот камень предвидеть она не могла, хотя, разумеется, и он не остановит ее в достижении цели. Эта добыча ее. Волчица заслужила ее по праву сильного.

Вылеживаться ей было некогда. Волчица всю жизнь неустанно трудилась, кормила себя, рожала и кормила детей, смертельно уставала, потому что год от года добывать пищу становилось трудней. Оленей угоняли далеко к морю, да и охраняли их зорко, и очень редко ей удавалось подстеречь отставшего от табуна олененка. Лося в одиночку не возьмешь. А в пору материнства волчица всегда живет одна и лишь по снегу, вместе с подросшими детьми, присоединяется к какой-нибудь стае. Вообще за семь прожитых волчицею лет тайга

обеднела. Зверь перевелся или ушел, птицы повымерли.

Волчица рыла правой лапой, левой осторожно отгребала из-под себя землю. И вот уж скоро она могла просунуть через новую отдушину голову и плечо, но второе плечо и хребет все еще сдерживали ее, не входили. Плотоядно оскалившись, она зевнула, уркнула на лосенка: «Чего брыкаешься, убоинка?» — и принялась строить свой тоннель с еще большим энтузиазмом. Собрав последние силы, Филька поднялся на ноги, устоял и, одолев боль в коленях, током пронзившую все тело, метнулся через верх, под самую крышу. Прыжок был слабым, падение — сильным. Лось взревел от нестерпимой боли и обреченно вытянул печальную морду. «Все, сдаюсь»,— загудел он протяжно и сипло, и этот крик до глубины собачьей души потряс Бурана, который все видел из окна, но ничем не мог помочь приговоренному к смерти другу. Волчица приготовила себе лаз, примерилась и не спеша заскользила на брюхе в кораль. В безумном порыве Буран разбежался, ударил всею грудью в перекрестье рамы и вместе с нею грохнулся на куст смородины под окном. Услыхав грохот, волчица, забыв о поврежденной левой лапе, нервно и часто загребла назад, наружу. Пес уже высвободился из рамы, сломав ее, и мчался к пригону. Она юркнула за угол, выписала между кустами восьмерку, сбивая со следа, и, таясь, поскакала к ручью. Пробежав вверх по воде, вымахнула на берег, сделала еще две восьмерки и, не оглядываясь, крупно заотмахивала к пещере.

Буран, убедившись, что Филька цел, промедлил и не сразу взял след, а взяв его, запутался на восьмерках. Когда он перебежал через ручей и распознал ее хитрость, волчица была недосягаема для него.

«Ну что ж,— заключил пес.— Мы еще встретимся». Заглянув в пригон, волкодав приветственно, бодро залаял: «Не унывай, друг! Жизнь продолжается»,— и стал расширять тоннель, приготовленный волчицей.

Вернувшись домой, Станеев увидел прежде всего выбитое окно в избушке, помятый куст, а в пригоне нашел Бурана. Прижавшись к теплому Филькиному боку, волкодав посапывал, негромко рыча на кого-то во сне. Тревожить друзей Станеев не стал, но они проснулись. На глине, которую набросала волчица, отпечатались ее следы.

— Ну, Филька,— войдя в пригон, сказал Станеев,— жить тебе до самой смерти.

Буран холодно посматривал на хозяина, зная, что за выбитое окно будет наказан. Его ожидания не оправдались. Станеев погладил пса ласково и похвалил:

— Молодчина, Буран! Молодчина!

Пес радостно запрыгал, гавкнул и начал лизаться с лосенком. Станеев смущенно посмеивался, чувствуя себя безмерно виноватым перед этими простодушными существами.

7

Он хоть и спешил домой, но все равно опоздал, потому что решил побывать в этот день повсюду. После чая, проводив Наденьку в школу, сразу очутился в ином мире. Этот мир мчался, выл, грохотал, выкашливал и глотал дымы, исчезал в сумраке, но постоянно был рядом. Курились трубы какого-то завода, еще желтели огнями два девятиэтажных дома, а люди уже толпились на остановках, поджидая вахтовые автобусы; спешили по тротуарам и обочинам на службу и в магазины. Вокруг острова, пробивая не то плотный туман, не то густой дым, горели факелы. И в самой середине острова, где похоронен Истома и где было недавно еще гнездовище орлана, высоко в небе шипел и плевался огнем факел. Самой трубы, окутанной сумраком, Станеев не видел и ориентировался по огню. Как быстро, как немыслимо быстро вырос посреди тундры этот поселок, почти город. Давно ли вот здесь стояли бараки, балки́, землянки и вагончики, и вот уж дома — целые улицы пяти- и девятиэтажных домов, а на окраинах все еще оставались землянки. В них проживают в ожидании квартир недавно приехавшие новоселы. Городу тесно стало на острове, и люди, в отсутствие Станеева, принялись вырубать Истомин лес, и без того пострадавший во время аварии, строить из него свои неказистые скороспелые жилища. Вот город перебежал через мосты на тот берег, кольцами опоясал остров. А там, где когда-то шумел лес, теперь стояло несколько стеклобетонных зданий, обсаженных хилыми саженцами. Лишь на горушке чудом уцелело полсотни сосен, Истоминых питомцев. Там, должно быть, и покоился человек, с которого по сути и начался этот город, там жил когда-то

орлан, а в низинке, в брусчатом общежитии, в те времена, в одной из комнатушек охраны, обитали Станеев и куда-то запропавший Илья Водилов. «До чего изобретателен человек! — горько ухмыляясь, язвил Станеев.— Лес рубит, втыкает прутики... А в Новый год ставит на столе искусственные елочки... Безумие это или мудрость? Город — несомненно украшение земли, но сколько ради урбанической красоты погублено красоты девственной. И только ли на Лебяжьем?..»

Вот и факел, тот самый факел, который будоражил весь остров. Теперь огонь загнали в трубу, а трубу держит в руке огромный человек в сапогах и штормовке и смотрит себе под ноги, словно удивляется тому, что́ обнаружил в стылой и когда-то неуютной земле. Станеев подошел к постаменту, с волнением прочел теперь всей стране знакомые имена: Енохин, Мухин, Федор и Олег Пронины, Истома... Ага, и ему нашлось место! Кто-то вспомнил о старике и по праву вписал его фамилию на обелиске.

Над головой уже затрещали вертолеты, неся под брюхом и в чревах своих ящики, тракторы и пакеты труб. С островной площадки поднялся белокрылый Як-40, затем нарядный, в пассажирском исполнении, вертолет Ми-8. По-видимому, прибыл кто-то из большого начальства. Или гости из-за рубежа. Они часто сюда наведывались: японцы, американцы, канадцы, французы, немцы... Весь мир следил за маленьким, но многообещающим городком. Деловые люди налаживали с ним контакты.

Станеев посидел возле обелиска, обошел его и направился к той кучке деревьев, которые остались от Истоминого леса. Деревья выдвинулись навстречу, точно пехотный взвод в штыковой атаке, спрятав позади себя металлическую оградку.

«Где же она? Могила-то где?» — Станеев исходил рощицу вдоль и поперек, ощупал все кочечки, все возвышения, отыскивая последнее Истомино пристанище. Могилу или снесли, или ее сравняло ничто не щадящее время. Оградку убрали. Она стояла примерно здесь... или вот здесь? Да не все ли равно? Главное, что ее теперь нет. И скоро исчезнут эти деревья. Вон из-за острова другой лес наступает — на черных стволах по одному желтому листочку.

День начинался жаркий. После дождя, пролившегося ночью, земля парила. Пахло дымом, торфом, болотом. По реке плыли радужные круги, оставшиеся после самоходки. Берега, забитые причалами буровых управлений, строительных трестов, ОРСов, баз комплектации, хаотически разбросанными контейнерами, фермами, трубами, штабелями леса, шпал, разным оборудованием, швеллерами и рельсами, напоминали гигантский склад, на котором не было толкового хозяина и каждый сваливал груз, куда хотел. Станеев с трудом пробрался между двумя упакованными станками, видимо, привезенными для чьих-то механических мастерских, перескочил через измятую высоковольтную мачту и вышел на главную улицу. Спросив, как проехать в третий микрорайон, остановил попутный «уазик».

— Привет, земеля! — за рулем сидел шофер Ганина. Насмешливо щуря сонные маленькие глазки, он потирал ребро ладони, которой когда-то рубанул по шее Станеева.— Больше не буянишь?

— Смотри за дорогой! — сухо отозвался Станеев. Сзади их обгоняла «Татра», прижимая к обочине. Впереди был мост, а перед самым носом катился красный «Икарус». Ни обогнать, ни затормозить, а «Татра» нацелилась кузовом точно в борт. В кабине, картинно выставив локоть, покуривал молоденький водитель. Станеев видел кучерявый его висок и чумазую щеку.

— Эй, лапоть! — закричал Толя, изменившись в лице.— У тебя где глаза?

Шофер не слышал или делал вид, что не слышит, и оттеснял «уазик» к обрыву. На мост не въехать — слишком мал проход, оставленный «Татрой», а вправо — бетонные столбики.

— Ну все, амба! — Толя машинально перекрестился и выпустил руль.— Прыгай!

Но прыгать было некуда. А «уазик» мог врезаться в перила, если б Станеев не перехватил левой рукой руль. Шофер «Татры», ловко вырулив, обошел их перед мостом, перегнал красный «Икарус» и умчался вперед.

— Ну гад! Ну подожди, гад! Я твой номер запомнил! — грозя двумя увесистыми, как булыжники, кулаками, кричал ему вслед Толя.

— Руль-то прими,— сказал Станеев и отодвинулся к

своей дверце. Приключение встряхнуло его, восстановив нарушенное с утра равновесие.— А ты, оказывается, верующий! В духовной семинарии не учился?

Шофер проглотил его насмешку и притормозил «уазик» подле двухэтажного здания.

— Нина, Ганин мной не интересовался? — отрывисто прокричал он по рации.

— Давно интересовался. Ты где пропадал?

— Молился по убиенным... И сам чуть не угодил к ним в компашку.

— Вот будет тебе компашка! — пригрозила диспетчерша и тотчас соединилась с Ганиным.— Андрей Андреич, машина у подъезда.

— Та-ак,— с ноткою недовольства протянул Ганин и, в расчете на то, что Толя слышит, добавил: — Передайте шоферу, что три потерянных мной минуты обойдутся ему в квартальную премию.

— Да ладно,— буркнул Толя.

Вскоре из подъезда выбежал Ганин. Увидав вылезающего из его машины Станеева, дернул себя за вислый коршунячий нос.

— Виноват,— подскочил к нему Толя, услужливо открывая дверцу.— Претензий не имею. Этот вегетарианец к вам зачем-то,— указал он на Станеева, снова переходя на насмешливый, снисходительный тон.

— Две минуты,— взглянув на часы, обозначил время на разговор Ганин.

— Хватит и одной,— усмехнулся Станеев и негромко посоветовал: — Только не разыгрывайте передо мной Бисмарка.

— Что?!

— А вот что,— жестко отчеканил Станеев,— сад не трогать. Ясно?

— Трону,— пообещал Ганин и легко, как уж, скользнул в машину.— Трону, если понадобится. Поехали!

«Конечно, тронет,— думал Станеев, жалея о том, что зря тратил время, добираясь сюда.— Что́ сад, он лес подчистую вырубил... И никто ему не указ».

И вдруг, подчиняясь неожиданному порыву, Станеев схватил с земли кирпич и швырнул им в вывеску с надписью «Севергазстрой». Чеканка прогнулась и загремела.

Посмеявшись своей хулиганской выходке, Станеев зашагал к больнице... то есть к избушке, которая скрылась за новым больничным корпусом, к саду, единственному в своем роде, сиреневому. Саженцы, завезенные и выписанные из разных мест, сошлись характерами, породнились между собой и дали новое потомство, мало похожее на родителей. Где человек приложил руку, где птицы и ветер, а более всего — солнце и земля. Сухое, высокое место выбрал Станеев, закладывая свой сад. Песок укрепил дерном, присыпал сверху жирной подкормкой. И появился посреди тундры маленький черноземный островок. Сантиметр за сантиметром засыпал Станеев вздувшуюся тут песчаную опухоль, по пригоршне, по лопатке, и вот уж не видно песка, и на обильной почве разросся сад и пьянит потаенными нежными запахами. Из окон больницы на сад, на избушку, до третьего венца увязшую в земле, на сарайчик, в котором по разбитым деревянным колодам струится теплая минеральная вода, глазеют больные и, может, кто-то еще... Ну что ж, пусть смотрят. Ведь это никому не возбраняется.

Потянул ветерок. Вскарабкавшись наверх по трещиноватой глинистой промоине, Станеев замер. Запах сирени обнес волнующим холодком кожу и полетел с ветром дальше. Грачи и халеи, привыкшие к здешней суголоке, несли в когтях то червей, то рыбу, орали, внося свою лепту в разноголосый гомон планеты.

«Милая!» — как женщине, прошептал избушке Станеев. Это заброшенное жилище стало когда-то первым его собственным домом. Здесь он вечеровал с покойным Истомой, вел нескончаемые споры с Водиловым, здесь встретился впервые с... Раисой. Ездили по кирпич и заплутали. Их разыскивали по всей тундре, а нашли у Истомы. Вернуть бы то время!.. Или скорей пережить это, взбаламутившее спокойную, устоявшуюся жизнь Станеева.

Скоро исчезнет, развалится одряхлевшая избушка, снесут с лица земли сад... Грустно, но все на свете кончается. Все... все...

Этот кусочек природы преподал Станееву несколько великих незабываемых уроков, научив уважать все живое, живущее. В суете ежедневной люди забывают не только других, но и самих себя, черствеют, портятся, за-

гнивают душой, а когда спохватываются (если все же спохватываются!), то все лучшее уже позади. Впереди остается крохотный отрезок времени, такой крохотный, что человек и пожалеть не успеет о напрасно потраченных днях своей короткой жизни.

«Милая!» — снова и вслух повторил Станеев, погладив рукою низко опустившуюся замшелую крышу.

Из больничного окна, вернувшись после обхода в свой кабинет, выглянула Раиса и помахала рукой. Станеев не заметил ее. Постояв еще немного, сорвал кисточку персидской сирени и, опустив голову, направился к ретранслятору, подле которого бросил лодку. Этот день он тоже прожил напрасно, но не сожалел о нем, а спешил скрыться от всего, что видел, поразмыслить, как быть и стоит ли быть дальше.

Берег у острова кишел людьми, машинами, тракторами, звенел цепями, лебедками, кранами, сиял фарами, дымил поздними утренними кострами. Смиренная труженица река, робея перед напором цивилизации, с тихим шелестом откатывала усталые волны, терлась о бок полузатопленного сухогруза, жалуясь ему и людям на палубе на неисчислимые обиды. А сухогруз был мертв, а люди на палубе — бичи. Распечатав бутылку красного, они ошлепывали на себе комарье и спорили о смысле жизни.

— ...А шарик мудро устроен,— говорил один, мокроволосый, видимо, только что выкупавшийся, сгребая с широких мускулистых плеч мошкару.— Все на нем есть. Только брать надо умеючи. А уменья-то нам часто и не хватает.

— Я видел гравюру одну,— подхватил другой с добрыми щенячьими глазами, с растерянною на толстых губах улыбкой.— Художник младенца изобразил, который землю в руках держит. Уставился на нее, как на игрушку, и — держит. Забавно, а?

— Кконец света! — тряся редкими льняными волосами, сквозь которые просвечивала красная кожа, заикаясь, сказал третий бич и поправил очки.— Ффу ччерт! Вода набралась в ухо.— Вскочив, он поплясал на одной ножке, вытряхнул наконец воду, сел, разлил по складным стаканчикам вино и посоветовал: — Ппейте, мыслители! Ппейте и не ффилософствуйте. Ффилософфия — штука заразная...

8

Напрела, напилась дождями земля, дала жизнь новым кустам и травам, а ее вывернули, опрокинули зеленью вниз, сдвинули в кучи вместе с обломанными пнями, с расщепленными деревьями и заставили умирать. Солнце, не оставлявшее землю без тепла, и здесь позаботилось: завялило сухожилья корней, лишенных еды и питья, высушило надторфяной бурый слой. Земля крошилась, тончала и переставала быть тем, чем была: земля становилась докучливым грунтом, который отвозили куда-нибудь подальше. А рядом с карьером, в обнаженных коричневых ямах, влажно парил торф, вскипали пузырьки газа, ковши экскаваторов вычерпывали это булькающее месиво кубометр за кубометром. Бульдозеры отпихивали в сторону, скучивали, экскаваторы нагружали подсохшую землю в машины, а машины увозили груз туда, где строилась лежневка. Ее просто строили: кое-где подсыпали грунт, на него укладывали деревья, а чаще всего валили без подсыпки и продвигались вперед. Дорога, с которой связано понятие бесконечности и вечного движения, была здесь конечна и безобразна своей временной, скоропалительной сущностью. Через неделю-другую этот настил будет засосан болотом, сверху навалят других деревьев, и по ним с натужным урчанием пойдут машины, пока одна из них не ухнет где-нибудь вместе с куском дороги в вонючую непроглядную бездну. Потом, лет через пять-шесть, на месте лежневки проложат бетонку, устроят мосты, надолбы, обочины, наставят дорожных знаков, упреждающих надписей. Потом никто не поверит, что под бетоном, по которому мчатся автобусы, легковушки, тонули вездеходы. Деревья и грунт к тому времени изопреют, сольются с нижним слоем и станут землей, а не строительным материалом. Между землей и бетоном простелют гравийно-песчаную подушку. Песка нет на Лебяжьем, и его завозят на баржах из Тарпа. Впрочем, есть неподалеку от больницы превосходный, крупный песок, но Ганин почему-то его не трогает. Геологи ищут на ближних подступах. Может, найдут. А пока плывет песок из Тарпа, желтеет по мере приближения и становится чуть ли не золотым. Себестоимость его возрастает раза в четыре. Самоограбиловка получается.

Ффу, жарища! В «уазике» пыльно, душно. Велев остановиться, Ганин разделся и прямо с обрыва ввинтился в Курью. Его подхватило течением, на водовороте развернуло и понесло. «Так бы вот и плыть куда глаза глядят»,— широко, вольно раскинув руки, Ганин лежал на спине и смотрел на чайку, которая парила над ним, тоже вольно раскинув крылья, белая, чистая, ничем не озабоченная аристократка. Ганин был ее отражением по ту сторону воды, жизни, плыл куда-то, большой, белотелый. Чайка спланировала к самой поверхности воды, как бы примеряя себя к человеку. Так и плыли они: один в реке, другая в небе, поддразнивая друг друга. «Может, поменяемся?» — предложил Ганин. Птица взмыла и высоко, медленно вновь поплыла над человеком. И впрямь поменялся бы, взлетел бы, как она, если б мог обрести крылья.

Его далеко отнесло. Ганин взял наискосок к берегу, и чайка, сердито крикнув, улетела прочь.

Воздух был густ, недвижен. Лишь гнус, тучами вьющийся, да птицы протыкали в нем дыры. Дыры затягивало сладко-удушливым послеполуденным маревом, и снова устанавливалось гнетущее равновесие раннего лета. На берегу встретила мошкара, и, облепленный ею, Ганин скачками помчался к машине и сразу же по пояс провалился в болотину. Выбравшись, снова плюхнулся в воду и поплыл, одолевая встречное течение, к затопленной старой барже. На ее палубе, рассолодев от вина и солнца, дремали двое бичей. Третий, опрокинувшись на спину, чуть слышно наигрывал на гитаре.

— К нашему шалашу,— продолжая перебирать струны, пригласил он.— Правда, угостить нечем.

— А я сам могу угостить.— Ганин свистнул. Из тальника, с берега, раздался ответный свист.— Толя, принеси-ка мой термос!

— Есть,— тотчас отозвался шофер и ринулся на голос прямо через болото.

— Бичи! Босс угощает,— рванув струны, закричал гитарист и растянул в улыбке толстые губы.

— Кконец света! — недоверчиво пробурчал тот, что лежал поближе, и, сдернув очки, приоткрыл один глаз.— А, здравствуйте. Я вас знаю.

— Кто же Ганина не знает,— отозвался другой и, не помогая руками, вскочил на ноги. Был он высок, с

Ганина, но поплечистей. Под кожей перекатывались шары мускулов.

— Геракл! — хлопнул его по спине Ганин.— А сила зря пропадает.

— Че зря-то? — добродушно ухмыльнулся парень. В ухмылке проглянуло смущение.— Не зря... все утро бревна таскал на лежневку.

— Сколько ж ты получил за это?

— Ни копья. Зачем? Это тренировка была. Чтоб не потерять форму.

— За тренировку-то много тяжестей перебрасываешь?

— Тонн пять. Иногда больше.

— Приходи завтра в контору. Твои тонны переведут в рубли. Получишь, сколько заработал. А о дальнейших твоих тренировках я позабочусь.

— Ему это не интересно,— перестав бренчать на гитаре, сказал толстогубый парень.— У него девиз: свобода и безответственность.

— Вашу свободу я не стесняю. А отвечать за что-то все равно приходится, если вы люди, а не жужелицы.

— Полегче, босс, полегче! — нахмурился парень, напружив крепкие свои мускулы.

— А то что будет? — лениво усмехнулся Ганин.

— Вздую, вот что. Не погляжу, что вы тут шишка.

— Страшно-то как! Толя, не вмешивайся! — остановив выжидательно посмотревшего на него шофера, сказал Ганин. Разогретый выпитым коньяком, вскочил, потянул парня за уши.— Вставай, хомяк! Покажи, на что ты способен!

Парень, как ласка, метнулся в сторону, в падении зацепил ногой Ганина. Это был классный, но чуточку замедленно проведенный прием. Ступня непонятно как оказалась вывернутой, и, вскрикнув от боли, парень застонал и сдался.

— Так и инвалидом остаться недолго,— проворчал он, оттирая ступню.— А бичам пенсия не полагается.

— Мы это обсудим с тобой. Завтра в семь ноль-ноль.

— Кконец света,— осуждая, покачал головою бич в очках.— Ленка́ обротали.

— Спели бы вы, ребятки! — попросил Ганин.— Петь-то, наверно, умеете?

— За вокал у нас ответственный Сирано,— сказал Ленок.— В просторечии Мошкин.

Наскочила шаловливая тучка, брызнула легким дождичком, где-то далеко, на востоке, пробежала змейкою молния, и установилось краткое затишье в природе. Даже комары замолчали, не зная, что петь им между жарой и предгрозьем. Зато слышнее стали бульдозеры, крушившие мелколесье, сдирающие кожу с земли. Они, словно древние чудовища, тоскующие от своей безмерной мощи, совершали однообразные, заученные движения — вперед-назад,— ломали и рвали все, что встречалось на пути, помалу продвигались вперед, не испытывая от этого никакой радости. Одинаковые глаза их, в которых не было ни разума, ни печали, видели все вокруг и не отличали плохое от хорошего. Да и что плохое могло быть в природе, кроме насилия, совершаемого над ней человеком?

— Красиво, у? — спросил Ганин, указывая на развороченные груды земли, на измятые кустарники, пни, выворотины, в которые вгрызались клыками железные доисторические звери, словно искали в глубинах земли кем-то захороненный клад.

— Скорее глупо. Глупо и бесхозяйственно,— пожал узкими костлявыми плечами третий бич, почти не принимавший участия в разговоре. Стакан перед ним был полон.

— Что?! — изумился Ганин, сдернул с него очки, заглянул в холодные близорукие глаза, снова напялил и, оторвав от палубы его худенькое, сухощавое тельце, переспросил: — Что ты хотел сказать?

— То, что сказал: глупо,— брезгливо стряхнув с себя руки Ганина, повторил очкарик.— Крушите лес... горы земли нарыли... а вон там, вон, смотрите! болотце сужается. Мосток пробросить — километров пять выгадаете.

— А ты...— снова схватил его за плечики Ганин, тряхнул что есть силы и закричал: — Сукин ты сын! Люди силы понапрасну гробят, а ты тут пупок греешь. Сказал бы сразу!

— И вы меня послушались бы?

— Если толково, отчего ж не послушаться?

Ганин ценил думающих людей независимо от того, какое положение они занимали, отыскивал их, помогал

стать на ноги, потому что и сам прошел нелегкую жизненную школу. Людей безнадежных для него не существовало, если эти люди имели ум и волю. Когда-то он и сам мог пропасть, спиться или сгнить где-нибудь на тюремных нарах. Однако нашлись добрые люди, которые помогли ему понять, что самые обычные дела могут быть необычными, если ты вкладываешь в них всю свою душу. Благодарный им вовеки, Ганин приказал высечь имена своих покровителей на островном монументе. Если б не они, Ганин никогда не стал бы теперешним Ганиным, воле которого подчинено все вокруг.

— Ваша фамилия? — взглянув на часы, быстро спросил Ганин.

— Нохрин. Нохрин Вениамин Павлович.

— Какая профессия?

— Дорожник. Техникум кончил.

— Мастером ко мне пойдете?

— Я уже был в отделе кадров... отказали. Говорят, летун.

— А почему летаешь?

— Ищу толкового начальника.

— Ну что ж, на этот раз тебе повезло, Вениамин Павлович. Меня относят к разряду толковых. Или ты не согласен?

— Ссогласен. Сс этим я ссогласен.

— Знакомство состоялось, и я рад,— подытожил Ганин и снова взглянул на часы.— А теперь ступайте. Мне нужно побыть одному.

Толя, преданно ловивший каждый знак своего начальника, с готовностью начал выталкивать бичей с баржи.

— Не трожь,— собрав манатки, сказал Ленков.— Мы и сами не без понятия.

9

Душа человека вечно жаждет, и напоить ее невозможно. Кажется, полна до краев, но вот опять начинает сохнуть, трещать, лопаться, болеть от неутоленности, опять гонит тебя куда-то, выстреливает, словно из катапульты. И — летишь, не зная, где упадешь, и легкими ли ушибами отделаешься или разобьешься в лепешку.

Ганина часто бросало, и доставалось бокам изрядно,

но как бы то ни было он старался программировать свое близкое и далекое будущее и по возможности следовать этой программе. Отклонения — в худшую и в лучшую сторону — случались почти всегда, но он не огорчался, не плакался на судьбу и каждое утро встречал улыбкой. В конце концов — вешаешь ты нос от неудач или держишь голову высоко — все случается в свое время. Одни удачи наскучат. И неудачи не могут преследовать человека вечно. Однажды наступит полоса удач — тогда хватай их полными пригоршнями, только не уставай удивляться жизни, не чванься, не отдаляйся от людей, которым в чем-то не повезло. Через год или через час ты можешь оказаться на их месте. И за причиненное тобою зло заплатишь сторицей. В этом смысле жизнь справедлива. А если расплата вдруг задержалась, то что-то ненормально вокруг, какое-то насилие совершается... Долго совершаться оно не может. Насилие — это власть силы, а сила рано или поздно кончается. На нее находится другая, разумная и неизбежная сила... Она предъявляет счет за попранную правду.

Как же оставаться справедливым, если в твоих руках сосредоточена огромная власть? Как не огрубеть душою, которую время и обстоятельства куют и закаливают в своей кузнице?

Порою ты вынужден быть жестоким, лукавым, грубым, угодливым, льстивым... разным, во имя чего-то высшего, например, конечного результата. А у строителя результат один — объект, который нужно сдать вовремя и еще лучше раньше намеченного срока. Ты завязан в один тугой узел с десятками организаций: одним подчиняешься, другие подчиняются тебе. Под твоим началом сотни людей, машин и механизмов, в твоем распоряжении миллионы рублей и ни единой копейки ты не имеешь права бросить на ветер. Вот сиди и решай, как ими рационально распорядиться...

Собственно, не думать ему не случалось. Голова постоянно занята, к ночи болит и пухнет, но люди не должны видеть тебя неопрятным, заросшим, озабоченным, злым и нервным. Первое правило руководителя — быть уверенным в себе, что бы ни творилось вокруг, доброжелательным и ровным.

— Толя,— Ганин, спустившись с палубы, окликнул шофера,— соединись-ка с первым участком!

— Первый слушает,— тотчас отозвался знакомый скучный голос. «Колчанов, кажется»,— не успев надеть брюки, испытывая неловкость от того, что вызвал человека, а к разговору не подготовился, прыгал на одной ноге Ганин. Наконец, попав в штанину, махнул Толе: «Продолжай!»

— Что у вас? — безупречно копируя Ганина, с властною хрипотцой допрашивал Толя. Ганин и не подозревал за ним такого таланта. «Артист!» — подумал он. Голос шофера ничуть не отличался от его голоса.— Докладывайте!

— Стоим. Кран сломался.

— Ну! — зловеще усмехнулся Толя, как бы ожидая дальнейших разъяснений.

— Что «ну»? Стоим.

— Может, я за вас ремонтировать буду? У, товарищ Колчанов?

— Сами справимся,— буркнул Колчанов.

— Через полчаса доложите о предпринятых мерах.— Ганин дважды повторять не любил — Толя знал его неписаное правило, как знали и те, с кем он разговаривал, подменяя своего шефа. Значит, разобьются в доску, а сделают.— Лукович воротился с рыбалки?

«А вот это уже сверх программы!» — с любопытством прислушиваясь, отметил Ганин. Он и не знал, что начальник участка пошел рыбачить. В эфире возникла долгая пауза. Видимо, Колчанов обдумывал, что ответить.

— Не напрягайтесь, Колчанов,— отняв микрофон у Толи, сказал Ганин.— Говорите правду.

— А правда в том, что жрать нечего,— угрюмо и нудно говорил Колчанов, длинный, сутулый, ершистый человек. Стоит, наверно, у рации, головой доставая до потолка, раскачивается на тонких ногах и тыкает скрюченным пальцем в микрофон.— Компот да частик, вот весь наш рацион.

— Рацион — это, кажется, у скота...— иронически вставил Ганин.

— Ошибаетесь! У скота меню... изысканное меню! А у нас рацион. Компот и частик. Иногда — каша перловая. Луковичу кланяться надо за то, что котлопункт рыбой обеспечивает...

— Что ж, поклонитесь. И не забудьте напомнить ему,

что рыбалкой лучше всего заниматься после смены...

— А он сутки бессменно отработал! — через микрофон послышался грохот. Колчанов, должно быть, выпрямился и стукнулся головою в потолок или что-то сбил.— Сутки, понятно?

— Повторите еще раз,— попросил Ганин.— Только потише.

— Прошу прощения. Но зло берет... Вкалываем, вкалываем, а жрать нечего.

— Это я уже слышал,— сухо заключил Ганин и поскреб подбородок. На подбородке выступила щетина. Ганин сбривал ее дважды, а если после обеда не успевал, она высыпала, седая и жесткая. Пробовал бороду отпустить, но Юлия Петровна сравнила ее со старой мочалкой.— Толя, какое сегодня число?

— Тринадцатое,— зная, что шефу пора бриться, Толя достал из «бардачка» механическую бритву, завел.— А как я Луковича-то? — он подмигнул, и хитрые, блеклые, крошечные глазки исчезли под веками.

— Здорово,— сдержанно похвалил Ганин.— Только меры не предпринимают, а принимают. Грамотешки-то у тебя маловато!

— Для баранки хватает. А захочу — в цирк подамся. Меня борцом приглашали...

— Борцом? Ха-арошее дело,— прижимая бритву к щетине, скривился Ганин. Досаждала не бритва — Толина болтовня. Сейчас бы помолчать... Юля, Юленька! Сегодня день твоего рождения!

Он вспомнил, как редко, но как торжественно и радостно отмечались эти дни. И Юлька-младшая и Олег, дети Ганиных, с нетерпением ждали маминого праздника и заранее к нему готовились. С Севера иногда прилетала тетя Феня. Ганин, где бы он ни был, в этот день присылал длинные нежные телеграммы, подарки от имени мужчин вручал Олег. Юлька входила в женскую коалицию, составлявшую абсолютное большинство. Женщин в этой семье чтили и беспрекословно им подчинялись. Может, именно поэтому у Ганиных никогда не возникало ссор, если не считать одного давнего, но памятного случая. Юлька-младшая была тогда совсем крошкой. Ганин играл с ней, подбрасывал, ловил и снова подбрасывал. Девочка визжала от удовольствия и требовала:

— Исо, исо, папа!

И вдруг скользнула по рукам на ковер, угодив на спинку, и с минуту была бездыханной. Выскочив из соседней комнаты, Юлия Петровна кинулась к дочери, опередив перепуганного, изменившегося в лице Ганина.

— Не подходи! — закричала она. Это прозвучало как «ненавижу!». Она подняла девочку и стала оттирать ее теплое, нежное, посиневшее тельце. Балкон был открыт. «Если с ней что случилось... я — туда»,— он шагнул в открытую дверь и уже с балкона оглянулся. Девочка вздохнула, трудно набирая дыхание, всхлипнула, заплакала, но, увидав белое от ужаса лицо отца, сострадательно вскрикнула:

— Папоцка, тебе больно?

Из всего виданного и пережитого ничто так сильно не потрясло Ганина, как эта неожиданная фраза ребенка. После, когда все уже успокоились и семья весело праздновала мамин день, Ганин, поглядывая на Юльку, все еще вздрагивал и тайком смахивал слезы. С того дня он ни разу не брал на руки детей. Это заметила даже тетя Феня.

— Андрюша, ты детишков-то, однако, не любишь? — спросила она однажды, когда Юлии не было дома.

— С чего ты взяла?

— А сроду на руки не возьмешь, не потетешкаешь.

Ганин ничего не сказал ей, молча погладил детей по головкам и отправился в институт.

Учиться он начал по настоянию жены, хотя студенту было уже под тридцать. Вместо пяти лет учился три года, за два курса сдав экстерном. Юлия летала, закончив авиационную школу. Была поначалу вторым пилотом на «Аннушке», потом переучилась на вертолетчицу и стала командиром. Зарабатывала она немало, и в деньгах нужды не знали, хотя Андрей учился, а в няньках два года жила тетя Феня. Потом она уехала к себе в Гарусово. И никто удерживать ее не посмел. Там осталось все лучшее. Там были похоронены ее дети. Там же погиб Федор Сергеевич Пронин.

— Умру, так уж дома... Вы рядышком с Федей меня схороните,— наказывала Федосья.

— Ну вот, о смерти заговорила,— недовольно хмурилась Юлия Петровна.— Ты еще нас переживешь...

И оказалась права. Федосья пережила ее... После несчастья, случившегося с Юлией Петровной, она семь

лет была у Ганиных вместо сиделки. А потом улетела к себе и тихо скончалась. На ее похороны Ганин не успел: в Москве шла сессия.

10

«Вот и все. Долго же ты со мной мучился»,— Юлия Петровна закрыла глаза, точно собралась отдохнуть. Только потом Ганин узнал, что она приняла усиленную дозу снотворного. Просто и тихо ушла из его жизни Юлия, Юлия Петровна, а сегодня приснилась и опять повторила ту фразу: «Долго же ты со мной мучился».

Да, это было мучительно для обоих. Спинной мозг, поврежденный при падении вертолета, превратил ее в полутруп. Ни лечение у опытных врачей, ни грязи, ни даже нашептывания знахарок, которых приводила Федосья, не могли поставить ее на ноги. Семь лет в спальне лежал близкий человек, который кротко и терпеливо ждал Ганина из частых и долгих его отлучек и жил в ожидании смерти, но, не дождавшись, позвал ее сам.

Сидя у гроба, Ганин искренне печалился и вместе с тем испытывал облегчение. «Я понимаю, Андрей, тебе трудно жить без женщины... Но пусть та, которая заменит меня, будет лучше... только лучше»,— сказала Юлия, узнав, что обречена на неподвижность, на медленное и мучительное умирание.

Скоропостижные связи, легко начинаясь, так же легко кончались и тут же забывались, как забываются случайные встречи в пути. Зато душу после всего скоблило тревожное чувство вины перед женой. Она не упрекала и была по-прежнему кроткой и ласковой, расспрашивала о делах, о знакомых, жила его интересами, и, утомившись, перенервничав на службе, Ганин спешил к Юлии Петровне. Его тяжелую думную голову гладили многие руки, но успокаивали только руки Юлии Петровны. И, часто припав к этим рукам головою, Ганин не задумывался о том, что чуткий нос женщины ревниво улавливает чужие, еще не улетучившиеся запахи, а глаза из-под полуспущенных ресниц замечают каждую мелочь: чей-то приставший к одежде волос, еле видный отпечаток помады, чужой платочек.

Однажды застав Юлию Петровну плачущей, Ганин взглянул на себя со стороны и ужаснулся тому, что он

совершает. Любя Юлию, жалея ее, он убивал ее ежедневно, ежечасно, словно мстил за все то доброе, что она сделала для него. Три года после этого случая у него никого не было, а потом — после отъезда Федосьи — сошелся с молодой ядреной няней, которую нанял для ухода за женой.

И Юлия Петровна не проснулась. Она не оставила даже записки, которая хоть что-либо разъяснила бы. Все могло сойти за случайность, но, вспомнив ее в последний день — растерянный бегающий взгляд, мятущиеся руки, наклеенную на дрожащие губы бодренькую улыбку,— Ганин ни на минуту не усомнился, что это самоубийство.

«Вот и все. Долго же ты со мной мучился».

Федосья, прощаясь, без обиняков заявила: «Юленьку-то ты убил, Андрюша. Может, бог тебя за это простит, а моего прощения не жди. Одна она у меня оставалась...»

— И у меня одна... одна-единственная,— отводя глаза, глухо сказал Ганин. Говорил и чувствовал вокруг себя глухое пространство, за границей которого близкие люди, исключая Юльку-младшую, не видят и не слышат его. Сын вскоре поступил в авиационное училище. Федосья уехала. Потом и у Юльки начались занятия на инязе. И Ганин остался один и старался как можно реже бывать в своей огромной квартире. Там стерегло его одиночество. Впрочем, одиночество везде настигает.

— Толя! — от одиночества, от горьких мыслей и не проходящего чувства вины спасали люди и работа.— Давай-ка выпьем!

— За рулем не пью, Андрей Андреич. Такое у меня правило.

— А ты нарушь его... ради одной дорогой для меня даты.

— Извините, не могу. Я ведь не только за машину, за вашу жизнь отвечаю.

— За мою?! Ишь ты! Ну теперь мне не о чем беспокоиться,— иронически хмыкнул Ганин. Разлив коньяк в две рюмки, чокнулся ими, одну выпил, другую вылил на землю: «С днем рожденья, Юленька!»

Толя всей правды начальнику не сказал. Была и другая причина, из-за которой он не пил: пьяного тянуло колоть дрова. В деревне, где Толя вырос, об этой стран-

ности его знали, во время загула подносили Толе самогона или бражки, а у ворот уж стояли нерасколотые чурбаки. Развалив их на мелкие поленца, Толя переходил к другому двору, и здесь снова начиналось то же. Деревнешечка маленькая была, и в каждой ограде стояли сложенные Толей поленницы.

— Включи рацию! — приказал Ганин и вызвал диспетчера. Ему тотчас же доложили, что кран на первом участке исправили, а Лукович здесь и ждет указаний.

— Появился, месяц ясный? Как улов?

— Да ничего,— предчувствуя жестокий разнос, уныло отозвался Лукович.

— Ничего — пустое место. А пустых мест я не терплю. Колчанов!

— Я слушаю,— тотчас откликнулся заместитель Луковича.

— Примешь дела у него. Ясно? — Колчанов начал было возражать, но Ганин резко его перебил: — Обойдемся без междометий. С этой минуты ты начальник участка. Слетай к Сурнину. Он внедрил у себя челночный метод. Ознакомься. Очень полезная штука. Исключает холостой пробег машин.

— Да я уж знаю. Видел в действии.

— А, тем лучше. Вводи у себя, не теряй время.

— Мне-то куда, Андрей Андреич? — робко напомнил о себе Лукович.

— Не беспокойся, Лукович. Я присмотрел тебе подходящее место. А пока продолжай рыбачить,— посоветовал Ганин и отключился.— Пересядь,— сказал он Толе.— Я сам поведу машину.

Вырулив на бетонку, гнал машину с бешеной скоростью. На губах блуждала легкая рассеянная улыбка. Толя этой улыбке не доверял.

— Остановите,— хмуро попросил он, когда на вираже, едва не столкнувшись, Ганин обошел «Магирус». Выйдя из машины, потребовал, чтобы Ганин сел на свое место.— Я ваше место не занимаю. А раз нечаянно попробовал, так человека подвел.

— Не выдумывай, старичок! Никого ты не подводил,— сказал Ганин и, чтобы окончательно рассеять сомнения, пояснил: — Луковича перевожу начальником транспортного цеха. Ясно? Так что не кати на меня бочку.

11

В конце августа Филька оклемался и, чуть прихрамывая, вышел из пригона под строгим присмотром Бурана. Как и в прежние времена, подошел к избе, мукнул, но тотчас отпрянул. «Эти люди,— подумал Филька,— способны на все. И никогда не угадаешь, чего от них ждать. Уходить надо. На воле все проще».

Обнюхав Бурана, он фыркнул, мотнул головою, как бы приглашая его с собой: «Айда вместе, старик! Вдвоем-то не пропадем».

Угадав его намерения, волкодав встал на дороге, жалобно заскулил, потом заворчал угрожающе и, наконец, залаял, пытаясь удержать своего друга.

«Пусти! Я не хочу тут больше жить!» — заматеревший лось нацелился в него отросшими рогами, ударил оземь копытом. Буран, укоризненно повизгивая, отскочил и, вызывая хозяина, снова залаял. Станеев не слышал. К нему недавно приплыли гости.

— Илюха?! Жив, старый бродяга! — воскликнул он, увидав выходившего из лодки высокого, полного человека. На корме сидела смуглая и тоже полная женщина и гладила маленького щенка.

— Жив, как видишь. Знакомься. Это моя половина.

— Елена,— сказала женщина. Станеев назвал себя и помог ей выйти из лодки.

— Как же вы меня разыскали?

— А как всякое ископаемое: немного чутья, немного везенья.

Угловатое, острое лицо Водилова теперь округлело, отросли бакенбарды, появился живот.

— Да, раскормили вы его! — едва скрывая брезгливость, покачал головой Станеев. Он не любил толстых людей. Илья же не только был толстым, но и рыхлым, и все, что могло стать упругими, сильными мускулами, точно сливочное масло в полиэтиленовом мешке, перекатывалось под кожей. Он то и дело вытирал платком сырое от пота лицо, убирал липкие со лба волосы.— Из этого Ильи два прежних выкроить можно.

— Положение обязывает,— отпыхиваясь, сказал Илья.— Перед тобой без пяти минут миллионщик.

«Шуточки все те же, с загадками!» — покосившись на него, усмехнулся Станеев, но промолчал.

— Мы вам собачку везли в подарок...— сказала Елена, показывая Станееву крохотную спаниельку.

— Не стоило хлопот. У меня есть Буран.

— Вот видишь, Илюша, зря хлопотали.

— Ну и черт с ним! Не возьмет — в реке утопим,— зло, крикливо рассмеялся Водилов и, склонив голову, сбоку заглянул Станееву в лицо.

— Как можно! Щенок-то породистый! И — стоит дорого.

— Топить не надо — возьму. А что потратили — возмещу.

— Да что вы, Юра! Мы угодить вам хотели,— выставив перед собой белые пухлые руки, заволновалась Елена.— Берите, если нравится.

— Спасибо. Я в долгу не останусь.— Приняв щенка, Станеев мизинцем приподнял ему верхнюю губу, пощекотал за ухом и отпустил к Бурану.— Иди, обнюхивайся.

— Поднатаскай его хорошенько. Весной опробуем... если в Америку не уеду.

— В командировку?

— Вот чудак! Госпожа Водилова-Майбур получила дядюшкино наследство.

— И что? — не понял Станеев. Да и слово это «наследство» как-то не укладывалось в его сознании. Илья, верно, опять шутит. На кой ему черт доллары какого-то почившего в бозе американского дядюшки.

— То, что мы собираемся в Штаты. Открою там банк,— ухмыляясь кривою, судорожной улыбочкой, сказал Илья и снова склонил голову набок.— Что, завидно? Вот так, дружище! Не имей сто рублей, а женись на Елене Майбур... Пойдешь ко мне смотрителем сейфа?

— Иди ты к черту! — пробурчал Станеев и пригласил их в избу. Буран тоже пригласил гостью и провел ее в свой угол. Улегшись на подстилке, спаниелька стала лизаться.

— Ну вот и побратались,— вслушиваясь в добродушное урчание Бурана, в тихое, довольное повизгивание щенка, с затаенной грустью сказал Водилов.

— Илюша! — с укоризною улыбнулась Елена.— Спаниель-то девочка. Ее зовут Сана.

— Никчемная собачонка! Вот Буран — это да! По-

слушай, мне нужен человек, чтобы охранять мои миллионы. Беру тебя вместе с волкодавом. Пойдешь?

— Зачем ты насмехаешься, Илюша? — упрекнула Елена.— Юра может обидеться.

— А я не шучу,— кривлялся Водилов.— Буду платить ему тысячу долларов. И столько же волкодаву.

«Что-то не слишком он радуется своим миллионам!» — с облегчением отметил Станеев, видя, как встревоженно посматривает на мужа Елена.

— Ты сильно кричишь, Илюша. Кричать-то к чему? — урезонивала она Водилова и пожимала ему руку, другой рукою оглаживая живот. «Хочет, чтоб я заметил, что она в положении,— собирая на стол, подумал Станеев.— Странная пара: один миллионами хвастается, другая — беременностью».

— Сына ждете или дочку?

— Сын уже есть,— быстро ответила Елена, почему-то ждавшая этого вопроса.— Нужна дочка.

— Сам-то когда женишься? — брюзгливо спросил Водилов.— Из-за таких, как ты, сойдет на нет вся русская нация.

— А вот попадется миллионерша,— усмехнулся Станеев; забрав в горсть черную бороду, внимательно посмотрел на каждого из супругов. Илью эта шуточка покоробила. Елена, опасаясь, что разговор может принять нежелательное направление, нахмурилась, но тотчас заулыбалась. На щеках появились нежные ямочки.

— Собачки-то как подружились! — умилилась она.

— Люди бы так! — буркнул Водилов.

Сана уже освоилась, взбиралась на волкодава, скатывалась и снова взбиралась неутомимо. Буран изо всех сил втягивал бока, стараясь стать плоским, и подталкивал щенка носом. На языке вскипала слюна, волкодав сглатывал ее, а слюна вскипала снова. И по гортани, и по венам, и по всему огромному телу растекалось волнующее тепло, и пес осторожно шевелил хвостом от наслаждения, жмурил умные с грустинкой глаза, отечески присматривая за Саной. Вот она брякнулась на пол, взвизгнула и черканула Бурана в живот холодным влажным носом. Лизнув ее, волкодав поежился. До чего забавна эта малышка! И как славно, что она появилась! Может, впервые у Бурана проснулись отцовские или еще какие-то природой заданные чувства. К тому замеча-

тельному, что внесла в его жизнь Раиса, добавилось еще и это сладостное, доселе неиспытанное ощущение. Вот жил же, не знал никого из них и считал, что именно так все и должно быть. А с появлением Саны в его жизнь вошло что-то новое, огромное и неизведанное. «Ах дурочка! Ну перестань, бога ради, щекотать своим носом. До чего же ты мила и наивна! И как жаль, что не я твой отец! Но и я тебе не чужой. Я тоже собака, и я люблю тебя и понимаю... Ну вот, упрудилась! Впрочем, что же тут удивительного-то? Все щенята делают лужи...»

— Ай-ай-ай! — заметив лужицу посреди комнаты, покачала головой Елена. Буран уркнул на нее и привстал.

— Он укусит меня, Юра!

— Не бойтесь. Бу́ран у меня джентльмен,— нарезая хлеб, говорил Станеев. Хлеб сыроватый, собственной выпечки, гостье, по-видимому, не понравился. Обнюхав подгорелую корочку, она, едва скрывая брезгливость, отодвинула ломоть и принялась за копчености. Станеев, разливавший спиртное, гримаски ее не заметил. У Водилова от ярости побелел нос, в глубине зрачков зажглись желтые колючие искорки.

— Елене не наливай,— сказал он.— Она не будет за встречу.

— Я и за прощание не буду.

— Ну, за прощание-то, может, и выпьешь,— пробормотал Водилов и подал знак.— Поехали!

— О тебе ни слуху ни духу. Хоть бы знать о себе дал,— едва пригубив, сказал Станеев.

— А зачем?

— Странный вопрос! Не один пуд соли съели...

— Соль нынче дешева.— Водилов оглядел стол и, отыскав то, что нужно, зачерпнул полную ложку.— Ага, сальцо! Вот это, брат, всего дороже.

«Как ему не противно? Топленое сало ест без хлеба...» — Станеев с войны не потреблял сала. Мальчишкой еще, с голодухи, пожадничал, забравшись к кому-то из деревенских в погреб, потом с неделю выворачивало все внутренности. А Водилов ест, и жир стекает ему на подбородок.

— Событий никаких не было. Если не считать женитьбу и свалившееся наследство.

— У Мурунова работал?

— Сначала у Мурунова. Потом перевели в главк. Елена Лазаревна меня там и окольцевала.

— Ну да,— шлепнув его по жирным губам, рассмеялась женщина, блеснув острыми красивыми зубками.— Это ты меня совратил. Да еще как совратил-то, по-гусарски! Приехала я к ним в командировку от журнала. Илья в коридоре меня подстерег и заявляет: — Вот что, лапа, я надумал жениться. Ты мне подходишь.

— А теперь пожинаю плоды своей самоуверенности...— в сторону пробурчал Водилов.

— И что,— не поверил Станеев,— вы сразу согласились?

— Дело в том... дело в том,— лукаво усмехнувшись, призналась Елена,— что я еще раньше навела о нем справки... Не огорчайся, мышонок! — успокоила она мужа, гладя его по плечу.— Мужчины часто заблуждаются... на свой счет. Но тебе повезло. Ведь правда же, ему повезло, Юра?

— Несомненно,— вежливо подтвердил Станеев.

— Мышонок,— пожевал губами Водилов, глядя на жену с недоверчивым изумлением.— Как это звучит, старина?

— Как реквием по твоей холостяцкой свободе. Ты сейчас в отпуске?

— Ага, впервые за три года. Проехал с сыном аж до самого Сахалина. Сокурсников своих повидал. Теперь вот к тебе решил наведаться, пока жив.

— Ты что, умирать собрался?

— Все под богом ходим.

— Миллионер, а мыслишечки у тебя нищенские... сумрак в душе поселился,— саркастически усмехнулся Станеев.— Перековывайся, а то погибнешь в джунглях бизнеса...

— Мы купим дом где-нибудь на берегу океана...— начала Елена, но муж не дал ей договорить.

— Послушай, люмпен! Давай владения твои посмотрим,— сказал он, поднимаясь из-за стола.— Что тут сиднями-то сидеть?

— Да, да,— согласно закивала Елена и заспешила, стала одеваться.— Давайте посмотрим.

— Останься, кошечка! — с издевкой сказал ей Водилов.— И почисти коготки. Они тебе еще пригодятся.

Мужчины ушли. Елена осталась одна, поскольку со-

баки как бы отгородились от нее стеклянной стеною и жили своей недоступной жизнью. Жизнь эта была проста, бесхитростна, но полна высокого смысла. Людям, убежденным в своем нравственном превосходстве, изощренным в лукавстве, знавшим все не только о сознании, но и о подсознании, этот естественный акт общения, как и Елене, мог показаться банальным; люди слишком умны, чтобы понять это, и слишком высокомерны, чтобы вести себя так же свободно и доверчиво.

И Елена смеялась. А в животе бился ребенок, которого через несколько месяцев, подчиняясь могучему родительскому инстинкту, она будет вот так же оберегать и вылизывать. И будет банальна, как всякая мать. И как всякая мать прекрасна.

12

— Я познакомлю тебя с Филькой,— заглядывая в пригон, говорил Станеев. Лося там не было. Не было и в огороде.— Куда же он делся?

— Филька — это кто-нибудь из братьев наших меньших?

— Лосенок. Собственно, лось уже... Мать у него подстрелили,— рассказывал Станеев, а сам искал глазами исчезнувшего Фильку. Услышал нездоровый кашель Ильи, замолчал, тревожно оглянулся. Водилов сделался иссиня-бледен, широко и безмолвно раскрывал рот.— Что с тобой?

— Да воздух здешний... он так чист, что хочется лечь под выхлопную трубу и подышать,— с натугой вымолвил Водилов, вытирая заслезившиеся от трудного кашля глаза.

— Бобров видел когда-нибудь?

— А как же, видывал... на картинках.

Года три тому сотрудник института экологии Леня Меньков привез из Уржума пару бобрят, сам выбрал для них место и попросил Станеева вести за ними наблюдения. Станеев не только следил за зверьками, но и помог им выстроить домик, соорудил дренаж и небольшую плотину. Бобры прижились и расплодились. Но их поселение могли обнаружить двуногие звери, любители бобровых шапок и воротников.

— Чего надулся? — дружески толкнул его локтем

Водилов.— Показывай бобров-то, если они у тебя не синтетические.

— Нет... Пока еще нет,— помрачнел Станеев. Илья затронул самое больное его место.— Но доживем, быть может... Помнишь, у Истомы Игнатьича медвежонок был? Прикармливал я его. А потом сюда перевелся. Медведь к людям на буровую пришел. Его из окна в упор расстреляли...

Тропинка, четко высвеченная солнцем, нырнула в сумрачный ельник, и, пройдя через него, они оказались в распадке, густо заросшем черемухой, жимолостью и смородиной. Внизу тренькал еле приметный ручей, к которому лоси выбили копытами глубокий ход.

— Хочешь — напейся. Вода тут не городская,— остановившись у родничка, сказал Станеев и первый припал к ручью.

Водилов не слышал его, рвал горстями черемуху и жевал вместе с косточками острыми рысьими зубами, и трубил, словно лось в охоте, и мотал головой. Станеев, напившись, взбежал на гривку. Здесь, величавый и древний, начинался могучий лиственничный лес. У сухого замшелого пня Станеев остановился, почтительно шаркнул ладонью по спилу и начал считать годовые кольца.

— Эту молния расщепила,— сказал он Водилову, лицо которого было вымазано черемуховым соком.— Я спилил ее, пустил в дело.

«Он чем-то Истому напоминает!» — глядя на друга, думал Водилов, и в его памяти светло и печально оживали те давние и невозвратимые времена и люди, ставшие теперь легендой. Но из всех из них, знаменитых и безвестных, может, самым легендарным был Истома, волосатый и мудрый, как лесной бог. Он же был и самым земным. Каждый, кто видел старика, проникался к нему симпатией. А сам Истома отметил из всех бывавших у него людей одного Станеева, бича, искателя приключений, умирая, завещал ему избушку и дело свое — простейшее дело: заботу о всякой живой твари, о дереве и о травинке, о родничке и о море — словом, о жизни. Станеев принял наследство без робости, не транжирит его, а преумножает, но слишком задумчивым стал и нервным. Человека в лесу преследуют, бежит он, сбивая погоню со следа. На ветку наступит — треснет вет-

ка, и человек, сам себя напугав, заозирается, юркнет в траву и замрет... Вот так и Станеев, хоть и не гонится за ним никто, а взгляд неспокойный, скользит по кустам, словно боится увидеть там недоброго человека.

И все же плечист он и жилист, под кожею ни жиринки, ступает легко, но сторожко, хрящеватые уши чутки, как локаторы. Где уж угнаться за ним Водилову! Конторская жизнь и одышка, появившаяся за последнее время, дают о себе знать. Что-то внутри не в порядке. Илья предполагает туберкулез. Врачам не показывается, лечит его народными средствами. Еще обнаружат, упаси бог, какую-нибудь пакость, и будешь до конца дней чахнуть от одного сознания, что болен, и носиться с этой болезнью до конца дней своих по клиникам, по санаториям. «Доскриплю без эскулапов. А если придется умирать, умру и без их содействия»,— отбивался Водилов, когда Елена отсылала его к знаменитым специалистам. Работая в журнале, она перезнакомилась с уймой нужных людей и всегда могла использовать эти весьма полезные знакомства. Впрочем, иногда случались срывы. Один из знакомых Елены подсказал ей тему для диссертации, другой помог эту тему разработать, а двое других гарантировали благополучную защиту. Ее оппонентом был профессор Корчемкин, которого Водилов знал еще по Лебяжьему.

— Илюша,— показывая газету, сказала как-то Елена,— Корчемкина-то в членкоры избрали!

— Туда ему и дорога,— зная, что Иван Корчемкин талантливый и работящий мужик, Водилов этой новости ничуть не удивился. Да и не до членкоров ему было: он катал на спине Витьку.

— Ты мог бы поздравить его,— надув губы, сказала Елена.— Он все-таки мой оппонент.

— Тем лучше,— равнодушно пожал плечами Водилов и снова занялся сыном. Он читал диссертацию жены и удивлялся, что этот студенческий лепет кто-то принимает всерьез: прогнозирование запасов не для дилетантов. Корчемкин разбил ее в пух и прах, он-то был тут в своей стихии. Елена во время защиты расплакалась и заявила, что в институте больше ни минуты не останется.

— Это ваше право,— ответили ей. Потом объявилось

это стоклятое наследство, и семейная жизнь пошла кувырком.

— Старик, ты в курсе? — встретив Водилова после Елениного провала, спросил Корчемкин.— Твоя жена сочинила диссертацию.

Это прозвучало примерно так: «Старик, ты в курсе, что твоя жена — дура?» Дурой Елена, конечно же, не была. Но, уйдя из своего скучного журнала, она явно поторопилась. Уж лучше писать журнальные статьи, которые хоть и не решают проблем, но иногда к их решению подталкивают, чем шлепать бездарные диссерташки.

— Так ты знаешь? — допытывался Корчемкин, вероятно заготовив какую-нибудь каверзную шутку.

— Соседи говорили,— буркнул Водилов,— но я не такой дурак, чтобы в это поверить.

— И правильно, не верь,— одобрил Корчемкин. Шутка осталась без применения.— Твоя жена ничего не писала. Или — все равно что ничего.

А дома была истерика. Илья сам собирал и уводил в садик сына, сам же брал его оттуда, кормил, мыл, выгуливал и укладывал спать. А через неделю забастовал и уехал в месячную командировку.

— Давай дух переведем! — прислонившись спиною к старой лиственнице, взмолился Водилов.

— Еще немного... метров четыреста,— почему-то шепотом сказал Станеев и поманил его за собой.

Миновав широкую полосу лиственничного леса, они оказались на брусничной поляне. Водилов упал на живот и снова начал рвать ягоды, урча от наслаждения и размазывая ягоды по лицу.

— Не жадничай,— не выдержал наконец Станеев и позвал его с собой. В ответ Водилов лишь зарычал, изображая не то волка, не то росомаху.— Тут этого добра много.

— Погоди, душа требует.

Пришлось смириться и ждать, пока он насытится. Станеев выбрал сухую кочку, сел на нее и стал осматриваться. За поляной начинался осинник, сквозь который просматривалась река. Дальний берег ее, заросший рогозом и пушицей, незаметно переходил в болото, а дальше опять шел осинник, неподалеку от которого темнели не то шалаши, не то муравьиные кучи.

У самого обрыва был сложен навес, два пня в нем приспособлены под сиденья, третий, выбранный до самого основания, служил столиком.

— Жилище Берендея! — плюхнувшись на одно из сидений, сказал Водилов.

— Тише! — шикнул на него Станеев и указал пальцем на остров.

Тишину неожиданно вспугнули фанфары. Потом зазвучали колокола, и все вокруг потонуло в этих густых и многочисленных звуках. Илья не сразу сообразил, что слушает журавлиный оркестр. Журавлей на острове собралось множество. Вот два или три из них взлетели, один побежал, а скоро все птицы засуетились, забегали, то взлетая, то подпрыгивая. Некоторые дрались, но как-то странно. Нападал темный крупный журавль, а дымчато-светлый, поменьше его ростом, не сопротивляясь, принимал удары или убегал. Бежал, раскрыв клюв, неуклюже подпрыгивая; взмахнув крыльями, журавль взлетал, давал небольшой кружок над островом, но стоило сесть ему ненадолго, как темный журабль опять наскакивал на него, клевал и гнал прочь.

«Верно, другой породы,— решил Водилов.— Борьба рас».

— Там же смертоубийство! — сказал он, когда молодому дымчатому журавлю досталось от темного особенно.— Надо за слабого заступиться.

— Ни к чему,— прошептал Станеев, неотрывно следя за птицами. Глаза его разгорелись, лицо разрумянилось. В бороде завяз золотой осиновый листик.

— Как это ни к чему? Бьют слабых!

— Не бьют, а учат. Это журавлиный университет. Молодых к перелету готовят.

— А,— усмехнулся Водилов. Ему стало смешно. Не будь Станеева рядом, он вскочил бы сейчас и побежал прогонять обидчиков, которые попросту были наставниками.— Меня вот тоже к перелету готовят,— сказал он и тихо, зло всхохотнул.— Язык, говорят, учи.

— Языку научиться долго ли?

— Что ж ты, паразит, не убеждаешь меня остаться? Я уехать могу! — закричал Илья, подпрыгивая на своей не очень удобной табуретке.

— Никуда ты не уедешь,— спокойно отрезал Станеев.— Не валяй дурака.

— Точно. Не уеду. А она уверена, что уеду.

— Значит, плохо тебя знает.

— Она ехать решила, старик. Понимаешь? Она решила.

— Пускай едет.

— Но у нас сын... Понимаешь? Я люблю его,— остановившись перед Станеевым, хрипло сказал Водилов. Глаза его, обычно колючие и насмешливые, сделались влажными и растерянными. Губы вздрагивали.

— Сядь, успокойся,— слегка нажав на его плечо, сказал Станеев.— Все будет о'кэй, как говорят твои друзья-американцы.

Журавли смолкли, видимо, устроили перекур. Одни ощипывались, потягивали длинные, суставчатые ноги, другие, то приседая, то прискакивая, размахивали крыльями. Несколько молодых птиц забрели в самое болото и стали ловить лягушек. К ним подбежал вожак стаи, обругал, прогнал, и птицы виновато и трусливо побежали к стае.

Но вот раздался крик журавля-горниста, и журавли смолкли, точно после команды старшины, а по следующей команде, поднявшись в небо, сразу стали выстраиваться в клин. В острие клина летел вожак и давал окриком указания. Он летел плавно и величаво, а стая, вытянувшаяся углом в две нитки, была как бы продолжением его неутомимых родительских крыльев.

— Скоро к теплым морям полетят,— сказал Водилов, наблюдавший за птицами.

— А через год вернутся,— в тон ему отозвался Станеев, думавший о чем-то своем.— Родина есть родина...

13

«Чьи вы? Чьи вы?» — взлетев перед самым носом лодки, спрашивали чибисы.

— Не узнали? Стыдно, стыдно! Вот это Кювье... то бишь Станеев,— бормотал Водилов, едва заметно работая веслами.

Станеев знаком велел ему остановиться. Лодку сразу же потащило назад, развернуло и вытолкнуло в

узенькую, обрамленную ивняком протоку. Дальше по берегу изредка встречались кустики красной и черной смородины, на кочках, тая в себе солнце, рубиново светилась хрушкая клюква. Не это ли солнце выклевывал старый матерый глухарь? Склюнув ягодку, пропуская ее через зоб, задирал в небо великолепную черную головку. С ним рядом топорщилась раскормленная, вальяжная курица. Она уж и насытилась и, наконец избавившись от материнских забот, в полудреме изредка трепыхала крыльями. Ее птенцы давно уже встали на крыло и, быть может, забыли о своих родителях. Ну так что ж, так уж заведено самой природой. Глухариха и сама когда-то была несмышленой, беспомощной птахой. О ней пеклись, ее учили пить, есть, передвигаться, потом летать. И когда настала пора, она вылетела и больше не вернулась к своим родителям. И они, верно, так же вот наслаждались и дремали во время жировки, ни о ком уже, кроме самих себя, не тревожась. И пусть переваливаются меж сырых кочек ондатры, устроившие здесь свои нелепые хоромины, напоминающие неопрятные копешки, пусть дерутся очумевшие от осеннего великолепия турухтаны, шныряют травники... глухариха будет дремать. Ее охраняет ее муж, ее повелитель.

Великая завершающая пора года, когда все живое осознает свою полноту и значимость, когда красивое становится совершенным, цветок превращается в плод, плод дает семя — семя будущей новой жизни.

Крррах!

Это неосторожно скрипнул уключиной Водилов. Глухариха вздрогнула, еще не очнувшись от своих грез, захлопала крыльями и уже в полете увидала под собою двух мужчин в лодке, услыхала позади хлопанье крыльев своего супруга. И турухтаны, перестав драться, взлетели. Притаились меж кочек травники, две ондатры плюхнулись в воду, и, прочертив в ряске темные следы, исчезли в камышах.

Только бобры в своей деревне за ближним изгибом ничего не слыхали, Станеев правил к ним. За плотинкой, которую он помог зверькам выстроить, начиналась сложная система каналов. На сухом островочке из ивняка, сучьев и обрубков дерева возводились хоромы. Ветки и сучья рубил Станеев. Он же сплавил сюда плот из жердей, нагрузив его чурбаками, а чурбаки расколов на

поленья. Все это предприимчивые бобры пустили в дело.

— Вот это инженеры! — залюбовался Водилов, впервые увидав этих работящих умных зверьков. Одни рыли землю, другие «пилили» зубами сухие деревья, третьи укрепляли плотину, подмытую с одного боку. Никто этим не руководил, но каждый из бобров знал и без окриков, без понуканий исполнял заданный ему урок. Особенно рьяно старался молодой, светло-каштановый звереныш. Выгнув дугою взъерошенную спинку, оперевшись на задние перепончатые лапки, на плоский, как меч, хвост, он приплясывал около старой осины, скобля ее острыми своими резцами, сплевывал стружку и снова вгрызался в ствол, с мучительно-сладким урчанием обняв передними лапами дерево. За плотинкой, под кронами молодых осин, уже высились три хатки. Около них не было ни одного срезанного дерева. С веток на хатки упало несколько листьев, красно заполыхали, зацвели заревым, радостным цветом.

— Смотри, около домов ни одного дерева не тронули...— удивился Водилов.

— Хозяева,— отозвался Станеев.— Нагляделся? Теперь давай сплаваем на озеро.

Той же протокой они вывернули обратно в Курью, спустились вниз по течению и уже по другой протоке вошли в озеро. На самой его середине было воткнуто несколько кольев.

— Греби туда,— показал Станеев.

Вода в озерке была чистой, сквозь нее просматривалось дно, местами поросшее водорослями и травою. В траве ходили какие-то рыбины. Над озером кружили халеи, стремительно падали вниз и взмывали, схватив оплошавшую рыбешку.

— Давай попрошайки проверим,— взявшись за один из кольев, сказал Станеев.

— Э, успеется!— Илья разделся, нырнул и, восторженно вскрикивая и фыркая, поплыл саженками. Станеев, выдернув кол, достал попрошайку. «Ого! Вот это улов!» — вынув из днища плетенки пробку, вытряхнул рыбу: поймалось с десяток крупных раскормленных карасей. Двух из них Станеев отпустил на волю, снова настроил попрошайку, насыпав в нее приманки, и проверил другие плетенки. И в этих была рыба, но улов и без того оказался богатый, и потому Станеев взял из

всех попрошаек штук пять или шесть сырков, а всю остальную рыбу выпустил.

Рыбам жилось тут вольно, сытно. Подогреваемое теплыми подземными источниками озеро и зимой не застывало, и мальки росли быстро. Сырка тут раньше не было. Станеев выпросил мальков у ихтиологов, хозяйства которых располагались много южнее, запустил их в несколько теплых озер и теперь постоянно проведывал. Сырки прижились.

Причалив к берегу, Станеев развел костерок и стал чистить рыбу. Уха уже закипела, а Водилов все плавал и, как раскормленный по осени гусь, гоготал и плескался. Вот он натешился наконец, ступил на берег, но, взвизгнув, снова бросился в воду.

— «Дэту»! Давай мне «Дэту»! — Над водою клубились мошки. Опрыскавшись, Водилов стал одеваться и все ворчал, недовольный тем, что свирепствует здешняя мошкара.— Это ты их на меня натравил?

— Американца в тебе почуяли...— усмехнулся Станеев.— Уха готова. Тащи кружки из лодки.

Уха была вкусна, навариста, Водилов ел, похваливал и требовал добавки.

— А сырок здесь откуда? — спросил он, наливая себе новую порцию.

— Я запустил. Думал, не приживется. А ему тут понравилось.

— Слушай, а ведь это здорово!

— Что здорово? — не понял Станеев.

— Да все, что ты делаешь: бобры, рыба, лес этот...— Жизнь Станеева, вначале показавшаяся капризом рефлектирующего интеллигента, сторонившегося людей, теперь обретала в глазах Водилова иной, глубокий смысл. Он делает великое доброе дело! Никто его к этому не понуждает, никто не сулит за труды награды, а он печется о лесе и его обитателях, как муравей, неутомим и, как муравей же, бескорыстен.

— Ерунда! — рассердился Станеев.— Усилия кустаря... А в одиночку тут много не сделаешь. Леском заинтересовались ребята из института экологии, правда. Но они далеко. А здесь есть кое-кто поближе. И перед этими я бессилен,— глухо докончил Станеев и, не желая продолжать тяжелый для него разговор, спустился с чайником к озеру.

— И все-таки это здорово, старик! — твердил упрямо Водилов.— Вот Истома был одиночка. А твои деяния — это, так сказать, уже иной, более высокий виток спирали.

— Брось трепаться! — досадливо отмахнулся Станеев.— Деяния... что я, апостол? Порой башку бы разбил о дерево...

— Свою или чужую? — усмехнулся Водилов, сполоснув кружку и наливая в нее чаю.

— Свою бы разбил, да что пользы? Колотишься тут, доказываешь: мол, вы же хозяева на этом шарике! Чего ж вы глумитесь-то над ним? Люди! И сам видишь, что кричишь зря... Э, да ладно! — обрывая разговор, хмуро закончил Станеев.— Слушай, а ведь ты говорил, что не любишь детей!

— Я говорил? — недоверчиво покачал головой Водилов.— Я этого не говорил, чтоб мне сдохнуть.

— Это было пижонство. Но ты говорил.

— Теперь другое скажу... Сын для меня больше, чем я сам... Потому что сам-то я... трухлявое дерево. Но на этом дереве есть одна зеленая веточка.

— Завидую я тебе, Илюха! Люто завидую!

— Э, чувствуешь? — подняв палец и подмигивая, дурашливо, но не без скрытой гордости спросил Водилов.— Человек пустил корни...

Над ними, совершив облет, закурлыкали журавли. Шли они ровным, хорошо выстроенным клином. Вожак уж не оглядывался, не покрикивал — свыклись птицы со строем, летели крыло в крыло, и небо, облитое по горизонту красным вином, стало родней и понятней.

В эту ночь приятели домой не явились. Ночевали под навесом, закрывшись от комаров пологом. Под утро к ним прибежал Буран и привел с собой Сану.

— Смылись! Ах вы бродяги! — счастливо и виновато приговаривал Станеев, взяв на руки спаниельку.— Елена-то там одна... плачет, наверно?

Елена занималась гимнастикой по системе йогов и встретила их с улыбкой. Она подолгу втягивала через нос воздух, потом стояла на голове, приподнимала то одну ногу, то другую, склонялась и разгибалась и, лишь выполнив весь комплекс только ей известных и однообразных упражнений, стала одеваться.

— Вы заплутали? — спросила она.

— А ты? — вопросом на вопрос ответил Водилов.

Пожав плечами, женщина ничего не ответила и попросила отвезти ее домой.

— Ты, вероятно, останешься? — предположила она. Водилов кивнул.

— Что ж, прощай. Если все же надумаешь, я буду ждать тебя.

— Не жди. Не надумаю.

14

Почесавшись о елку, Филька задрал верхнюю, козырьком нависшую над нижней губу, фыркнул, сдунув с нее паука, и дал голос. Он не звал никого, потому что звать, в сущности, было некого, а трубил еще не оформившимся в бас срывчивым голосом потому, что был сыт, молод и чувствовал, как ходит в нем необоримая животная сила. И хоть вместо лосиной величавой короны на голове красовалась пока еще весьма уродливая лопата, хоть весил он каких-то девять-десять пудов, но лопата уже настолько окрепла, что ей нетрудно было свалить молодое дерево: ведь все эти пуды были сгустком могучих мускулов, внушительно перекатывавшихся под гладкой серовато-бурой шерстью. На голос Фильки никто не отозвался, хотя слышали его многие обитатели леса: пара бурундуков, запасавших на зиму орех, филин, дремавший в дупле, ко всему равнодушный еж, обнюхивавший норку куторы. Слышал и еще один зверь, который тоже был молод и набирал опасную силу. Он шел стороной и, поймав одного из бурундуков, разорвал его, почти не глядя на жертву, потому что следил за большим, уже когда-то встречавшимся зверем. Бурундук — всего лишь грызун, эпизод, которому волк не придал никакого значения. Вот если б взять того зверя! Да разве в одиночку его возьмешь! Вон он как буйствует, как крушит вокруг себя деревья! И рога у него появились, какие-то странные, мутовчатые, и копыта заметно выросли. Упаси бог угодить под такие копыта! Ах, как сильно пульсирует в лосиных венах кровь! Как много под этой красивой шкурой мяса! Не задремлет ли он, чтоб подкрасться, прыгнуть неожиданно из кустов, перекусить лен, а потом, уже ослабевшему, порвать горло. Кровь хлынет красно и горячо, прольется

наземь и, сладко дымя, будет дразнить росомах, всегда стерегущих чужое пиршество.

Не время еще, пока не время. Волк облизнулся, оскалил зубы и, увидав чью-то тень, опасливо прижал уши и отпрыгнул в сторону. На дереве притаилась рысь. Она тоже прицениваласъ к Фильке...

А Филька рыл копытами землю, терзал молодняк и воинственно фыркал, словно вызывал кого-то на бой. Его вызова никто не принял. Постреляв кисточками на ушах, рысь неслышно спустилась с дерева и исчезла. Меж Филькиных ног молнией метнулся горностай, сердито шикнул на лося: «Чего, мол, ты, дуроломʼ? Силы девать некуда?» Филька и его не заметил, как не заметил рябушки, которую спугнул, ударив рогами осину.

«За что ты ее?» — безмолвно вопрошали глаза птицы. А лось не слышал и не помнил, что именно с этого дерева недавно обгрызал молодые веточки, звонко хрумкал и сладко сглатывал слюну, поигрывая неспокойными ушами и шевеля серьгою. А если б он мог или захотел что-то ответить птице, он бы сказал ей глупую, ничего не значащую фразу: «Да ни за что. Просто так». Ведь выстрелил же в него просто так человек. А он умнее зверя. А другой человек просто так срезал бульдозером несколько кедров. А третий просто так отравил озеро, выпустив в него нефть. Просто так, просто так...

«Ну и дурррак! Дуррачина!» — сказал ему ворон, оскорбленный звериной недальновидностью, тихо снялся с вершинки и, горько сетуя, улетел.

Филька напоминал штангиста, который рвал и рвал вес за весом и упивался своей силой. В конце концов ему захотелось вместе со штангой поднять всю землю... Земля пока устояла... Надолго ли? Штангисты теперь изобретательны. У них есть кое-что посильней архимедова рычага. А в точках опоры они не нуждаются.

Перебесившись, лось оглядел все вокруг, остался доволен, что наворочал гору земли и деревьев, и, опустив голову, вышел на лесную тропу, ведущую к водопою. Свежело, и Филька дрогнул дымящимися, влажными от пота боками.

— Ум-ррэ! — прокричал он уходящему солнцу. Остановившись подле осины, лизнул на гладком стволе зо-

лотое пятнышко и ощутил на бугорчатом языке приятную горчинку. А закатное пятнышко ползло по стволу, а из лога тянуло росным холодом. Ельник справа потемнел и сбился в кучку, а когда со ствола осинки исчез последний лучик, ельник сделался синь и хмур.

Где-то уныло пискнул зяблик. Потом все смолкло, и солнце ушло за гору... Поляну, где бесчинствовал лось, вечер осыпал золою. Все ее пни, все заломы и выворотины, даже осинка, недавно обласканная солнцем, посерели. А лось стоял, опустив неразумную голову, на которой начинали ветвиться рога, подаренные ему природой для красоты, а не для разрушения. Лось слышал подспудный страх и понимал, что этот страх им заслужен. Страх явился откуда-то из темноты, где только что было все солнечно и понятно, где безнаказанно можно было резвиться и совершать все, что ты хочешь, без оглядки. Теперь же лес затаил в себе не то месть, не то зловещую усмешку. И потому гулко колотится сердце, и стук его слышен даже сквозь хриплое дыхание. Вот она, расплата! Над головою выстрелило что-то... лось всхрапнул и, вгорячах сломав о сосну едва наметившийся боковой отросток рога, ринулся через заросли. Он забыл, что хотел пить и что должен был спуститься к водопою, и мчался от мрака, пославшего такой страшный и неожиданный звук. Лось не знал, что это взлетел филин. Для филина настало время охоты. Лось мчался, не видя неба, на котором невнятные, нежные проступили звезды, а серебристый лишайник на земле стал еще более серебрист от инея. И вот уж деревья раздвинулись, но лось пролетел через большую поляну, решив, что именно здесь-то ему и заготовлена ловушка, вбурился в частый березняк и, ломая его боками, понесся, не разбирая пути и пугая себя самого. Он едва не наступил в темноте на волчицу. Ее-то и следовало бояться, а он боялся всего, что его окружало и что днем было ничуть не опасно. Пугали не только звуки ночи, но и смутные ее образы: то видение пня с птицей, похожего на затаившегося человека, то вставшего на дыбы медведя, то рыси, приклеившейся к сосне. Пугали запахи: пьяный — багульника, пряный — смородины, резкий — вереска, а более всего широкий, влажный, впитавший в себя все прочие запахи — запах земли. Ею пахли грибы, которые Филька так любил и которых те-

перь не замечал и, спинывая, размалывал копытами. Ею пахли деревья, трава, весь воздух...

Прорвавшись через березняк, Филька вымахнул к бобровой протоке, ухнул в тинистую воду, ломая добротные, надолго построенные зверьками каналы. Развалив две или три норы, порушив крайнюю хатку, в которой только что поселились молодые, отделенные родителями бобры, совсем ополоумев от их отчаянных криков, Филька ринулся через остров и с глазу на глаз оказался с рекою. Никто не гнался за ним, только река сама себя догоняла, морщилась нешибкой волною, названивала донною галькой и, мерно дыша, выпрямляла свое тугое змеистое тело. Река остудила Филькин страх. Услыхав знакомое шуршание волн, почуяв прохладное, мягкое их касание, лось, доверяясь реке, переплыл на другой берег. Здесь, в логу, весело наговаривал ручей. Чем дальше плыл Филька, тем спокойней билось вспухшее от испуга сердце, тем явственней начинал он ощущать под собой ноги, а место страха в груди и во всем теле теперь занял холод. Выскочив на берег, лось встряхнулся, хоркнул, вслушался в огромную, тихо звенящую тишину.

Неба не стало. Что-то белое, зыбкое затопило его, смыло все звезды, укутало землю и лес, недвижно зависнув над болотом. Филька лизнул его языком, ничего не почувствовал и потому опять испугался. Он лизал Ничто. Но как Ничто может видеться? Может, это и есть тот страх, вездесущий и неуловимый? Он обступил со всех сторон, ползет по шкуре, забирается в ноздри, в уши, в мозг, в сердце... Умрр!— жалобно и покорно промыркал лось и, подогнув ноги, лег и стал ждать своей участи...

15

Город в бешеной скачке прыгнул в болото, утопил в нем тыщонку-другую плит, труб, техники, по ним и по лежневкам прошел через топи, забыл об этом и, проложив поверху бетонные кольца, мчался теперь по всем пяти или шести кругам, соединившимся между собою то виадуками, то короткими проездами, то просто дорожками. Кто-то из местных интеллектуалов, кажется членкор Корчемкин, подсчитал, что тундра по своей

территории равна Луне. Но Лебяжий внес в эти расчеты поправки и, потеснив тундру, изменил ее границы.

— В этом городе есть что-то американское,— ожидая «Ракету», говорила Елена. Станеев бросал камни, «выпекая» блины.— Скажите, Юра, это вы на Илью повлияли?

— В каком смысле? — последний блин не выпекся, камень пошел ко дну, и Станеев досадливо поморщился.

— Илья хоть и не говорил, что поедет, но так категорически не отказывался. Вы знаете, что он болен? Ну так вот, у него туберкулез.

— И что?

— А то, что ребенка туберкулезному человеку я не доверю. К тому же... этот ребенок не от него.

— Скажите ему об этом сами,— отозвался Станеев, решив, что Елена придумала это в последний момент.

Эта женщина, словно птица, оставляет свое гнездовище. Птица возвращается, а Елена не вернется. От чего улетает птица, он знал. И совершенно не понимал, что заставляет бежать Елену. Деньги, которые перейдут по наследству? Разве она бедствовала здесь? Обида на ученых коллег? А там ее обижать не станут? Так что же ее все-таки гонит?

Он не хотел судить с налету, но про себя знал, что стерпел бы любую обиду, вынес бы любой голод, снова войну, снова разруху и безотцовщину, но только с ней, только с Россией, с людьми, которые не предадут ее в горькую минуту, но которые в минуту ее триумфа почему-то чаще всего остаются в тени.

«Ракета» отчалила. Держась за поручни, Елена грустно и безмолвно улыбалась, не смея помахать ему рукой. А вдруг не помашет ответно. И все же она отняла от поручней руку, помахала. Станеев помахал ей тоже и решил зайти к Степе.

Над городом высился черный человек с факелом, светил кому-то и думал бесконечную свою думу. Там, рядом с ним, была когда-то могилка Истомы. Честно говоря, Станеев предпочел бы посидеть сейчас не возле этого задумчивого гиганта, а подле тихой, неприметной могилки. Только нет этой могилки, на ее месте лежит бетонная плита, а на плите ржавеет парадно-старая

уралмашевская вышка. Наверно, та самая, мухинская.

Посидев у памятника, Станеев сорвал несколько веточек багульника и положил на плиту, щелкнул пальцем по крашеной ферме. «Скучно тебе? Ску-учно... Ну отдыхай, заслужила...»

Купив в гастрономе водки и плитку шоколада, он отправился к Степе.

— Дядя Юра! — Наденька встретила, как всегда, с радостным визгом.— А я тебя сегодня во сне видела!

— Вот видишь, сон в руку. Как учишься?

— А, надоело! — с легкой гримаской сказала Наденька и, подперев щеку пальцем, вздохнула: — Скорей бы замуж!

— Подсмотрела кого?

— Ага. Одного бородатого.

— Давай расти. Посмотрим, что скажешь лет через десять,— улыбнулся Станеев.— Где папа?

— Он в больнице... там сад рубить собираются...

— Сад?! — Станеев подобрался и, крикнув, что зайдет позже, побежал к своей лодке. Сегодня вышел на одном моторе. У второго прослабли кольца. А этот почему-то долго не заводился, но наконец кашлянул, взревел, и лодка, едва не зачерпнув на развороте, полетела вниз по течению. Однако у второго моста мотор заглох.

— Тьфу, пакость! — как назло, кончился бензин. Завалив мотор в лодку, Станеев сел за весла, громоздкая «казанка» продвигалась вперед медленно, а проходящие суда на буксир не брали. Прицепившись багром к самоходке, Станеев подтянулся поближе, привязал к якорной цепи трос и через час, почти с комфортом, прибыл на место.

У больницы была суматоха. На дороге стояло несколько самосвалов, а рядом с ней, по лежневке, полз «Катерпиллар». Другой по горушке поднимался к саду. Перед ним, словно богомолец, давший обет, пятился сухонький в очках человечек. У изгороди, отделяющей станеевский сад, стояли люди в пижамах. Среди них был Степа.

Перед пряслом «Катерпиллар» остановился. Из кабины выскочил рослый парень. Станеев знал его еще в бичах.

— А, Юра! — закричал Ленков. Человек в очках же-

стяным, скрипучим голосом приказал ему сесть в кабину.— Видал? — смущенно пожал плечами Ленков.— Меня заарканили.

Станеев подошел к толпе, поздоровался.

— Аэропорт начали строить,— пожав ему руку, сказал Степа.— Строят, а песку не запасли. Хоз-зяева, понял!

«Катерпиллар» уже сломал столбик изгороди, опустил нож, но, опередив его, в халате, кое-как накинутом на одно плечо, возникла Раиса. Она обняла куст, наступила ногой на нож бульдозера и дико, с ненавистью закричала:

— Только попробуйте! Только попробуйте!

Бульдозер, словно устыдившись своей бессмысленной жестокости, попятился и заглох. Рядом с Раисой плечом к плечу выстроились больные, Степа, Станеев.

— А, и ты пришел? — увидав Станеева, без удивления спросила Раиса и тотчас забыла о нем.

— Пришел, но, кажется, слишком поздно.

— Что это вы? Зачем себе позволяете? — подскочил к людям человек в очках, Нохрин.

— Пошел! Пошел вон, ублюдок! — тихо сказал ему Степа и легонько толкнул Нохрина в цыплячью грудь.

— Как это вон? Как вон? — опешил Нохрин и закричал трактористу: — Шуруй, Ленок! Нечего тут сантименты разводить. Шуруй, заснул, что ли?

— На людей-то? Я еще не рехнулся,— огрызнулся Ленков и выскочил из кабины.

— Этих испугался? Тогда я сам... Очистите площадку! Слышите, вы! Уйдите с площадки! Не применять же мне силу.— Он сел на место Ленкова. Трактор взревел и пошел на Раису, обнявшую куст.

— Ты что, оборзел? — бледный, со сжатыми кулаками, Станеев запрыгнул в кабину и вышиб оттуда Нохрина.

— Что тут у вас происходит? — в суматохе не расслышали, когда подошла машина Ганина.

Нохрин, слегка помятый, с синяком под глазом, ползал около трактора, разыскивая очки.

— Не пускают,— пожаловался он Ганину и всхлипнул.— Силу применили.

— Кто не пускает?

— Они... все.

— Что ж, ситуация ясна,— с жесткой усмешкой кивнул Ганин и крикнул второму трактористу, лохматому длинноносому парню, когда-то на барже певшему про волкодава: — А ну давай, Мошкин! Давай двигай!

Мошкин покачал головой и заглушил трактор.

— Тогда ты садись в кабину,— приказал Ганин уже пострадавшему Нохрину.

— Это мой трактор,— сказал Мошкин.— И в его кабину могу сесть только я.

— Ошибаешься, юноша,— все еще усмехаясь и как бы испытывая стойкость этих людей, сказал Ганин.— Толя, докажи ему это.

Шофер, могучий верзила, согласно мотнул коротко стриженной головою и, раскачивая мощными, налитыми плечами, направился к трактору.

— Стоять! — приказал ему Станеев и тише еще несколько раз повторил ту же команду. Толя остановился, словно забыл, зачем шел.

— Эт-то что за фокусы? — изумившись его непослушанию, высоко вскинул брови Ганин.

— Послушайте, убирайтесь отсюда к черту! — сказала Раиса. Грубость ее его покоробила.

— Это вы мне? — изумился он. Никто еще так грубо с ним не разговаривал. Да и сам Ганин был с каждым вежлив и очень редко повышал тон. Его ослушались. Ему нагрубили... Творится что-то невероятное. И если все эти люди вступились за сад, значит, сад им нужен. Ганину и самому нравится садик. Но прежде чем решиться на его уничтожение, он обыскал вместе с геологами все окрестности. Песку нет, и его по-прежнему завозят из Тарпа. Это и дорого, и сдерживает темпы. Аэропорт ждут нефтяники, строители, геологи, речники. Вчера был разговор на бюро обкома. Сроки назначены фантастические. Но Ганин выдержит сроки, чего бы это ни стоило.

— Вы же знаете... вы прекрасно знаете, что в этот сад мы вас не пустим,— сказала Раиса, не подумав извиниться за грубость.

— Понимаю,— иронически кивнул Ганин и заиграл выразительными бровями.— Вам дорог сад и не нужен аэродром. Верно?

— Неверно. Нам и аэродром нужен,— отозвался Станеев.— И одно другому не помеха.

— Вы что, действительно не сможете жить без этих кустиков? — быстро обернулся к нему Ганин.

— А вы можете жить без своих дорог, без мостов?

— Странный вопрос!

— Вот и я считаю точно так же. Этот сад посажен моими руками. Понимаете? И не для меня одного...

— Вопрос ясен,— скрывая раздражение, подытожил Ганин.— Вы задерживаете нас. Но... давайте вместе поищем выход.

— Подумаешь, сады Семирамиды,— подобрав треснувшие очки и приведя себя в порядок, угрюмо проскрипел Нохрин.— И не такие пускали под корень...

— А что, если это... если взять и пересадить, а? Можно же так, Андрей Андреич? — возбужденно заговорил Мошкин, Ганин неопределенно пожал плечами, признавая полную свою некомпетентность в этом вопросе.— Вон туда, допустим, в ограду.

В огромной больничной ограде росли две карликовые березки, и Раиса давно подумывала о том, что больничный двор пора уж озеленить.

— Как, Юра? — спросила она.— Может, попробуем?

— Честно говоря, я не рассчитывал на такой вариант. Но он... приемлем,— ответил Станеев.

— Вот видите,— пожал плечами Ганин, как бы сказав тем самым: проблемы-то не было.— Раиса Сергеевна, вы, кажется, послали меня к черту?

— Разве? — смутилась Раиса, которая и впрямь не помнила, что была не слишком почтительна с этим уважаемым на острове человеком.— Ну извините меня, пожалуйста.

16

Елена уехала, и, как это ни странно, расставанье прошло без сцен.

Выяснив, что ребенка не отдадут, прощаясь с Ильей, она тронула ладошкой свой вздувшийся живот: «Этого-то по крайней мере вы у меня не отнимете! И Витьку зря берешь... он от Горкина».

— Чей бы бычок ни прыгал — теленок мой,— усмехнулся Водилов и, взяв мальчика за руку, пошел к самолету.

«Врешь, женушка! — глядя на сына, думал Водилов.— Я знаю, зачем ты врешь!»

Витька был светловолос в Илью, но глаза достались материны, черные, с длинными густыми ресницами. Блондинов в родне Елены не водилось.

Первое время Витька жил у Рыковановых и чувствовал себя там превосходно. Между детьми возникла тихая, нежная дружба. И Наденька на правах старшей опекала мальчика, каждый день брала из садика, а на выходные уводила к себе, поскольку в квартире Водиловых было пусто и неустроенно. В одной комнате стояла раскладушка, в другой — наскоро сколоченный из деревоплиты стол и несколько табуреток. Сегодня на столе ночевал приехавший за почтой Станеев. Сейчас он перечитывал одно из писем, а Витька с отцом, лежа на полу, сражались в Чапая.

«Старик,— писал Леня Меньков, сотрудник из института экологии, назначенный директором Лебяжинского заповедника,— поздравляю. Наконец-то сбылось; передо мной официальная бумага: все сто тысяч заповедных гектаров теперь наша с тобой вотчина. Вербую охотоведов, ботаников, зоологов. Ты в свою очередь подыскивай лесников на кордоны. Контора будет, вероятно, в Лебяжьем. Хлопот выше головы, но пусть тебя утешает мысль, что теперь ты не одиночка... И в новом законе есть строки о нас».

Станеев знал письмо наизусть и перечитывал от нечего делать. За окном гоняли футбол демобилизованные солдаты. На футболках — факел и вязью «Русь».

Августовский ранний снег стаял, и сентябрь стоял теплый, с утренними заморозками, с легким ледком на лужах, на которых золотою чешуйкой шуршали опавшие листья. В бусом небе где-то над ветром, над тучами курлыкали журавли, сыто кагали гуси и сторонкой обходили Лебяжий. Станеев и сам его обходил, а бывая здесь, почти не появлялся на улицах, боясь столкнуться случайно с Раисой. Вчера, выходя с почты, он увидел ее с Ганиным, не утерпел и окликнул. И — снова ни радости, ни удивления. В глазах задумчивость и тревога.

— Вас ждать, Раиса Сергеевна? — садясь в машину, спросил Ганин и бросил на Станеева, как тому показалось, насмешливый взгляд.

— Нет,— улыбнувшись ему, сказала Раиса,— поезжайте.

«Дурак! — обругал себя Станеев.— Испортил людям песню».

Он ревновал Раису к этому уверенному красивому мужику, который чувствует себя хозяином на земле и берет все самое лучшее.

— Поезжайте, Андрей Андреич,— вздохнув, сказала Раиса.— Поезжайте. Что-нибудь стряслось, Юра? — отвернувшись от Ганина, спросила она.

— Ну да...— с трудом расцепив сведенные судорогой губы, промычал Станеев. В минуты гнева он совершенно не владел собой, становился жалок и косноязычен.— В общем, да...

— Минутку! — вежливо, но властно сказал Ганин и за плечи повернул Раису к себе.— Я никому вас не отдам, Раиса Сергеевна. Запомните это.

— И вы запомните,— снимая с плеч его руки, отчеканила Раиса,— я сама решаю. Всего доброго!

— Мы еще вернемся к этому разговору,— пообещал Ганин и уехал.

Стемнело по-осеннему рано. Небо над островом, вечернее, выстуженное, клубилось и полыхало отражениями дальних факелов. Казалось, вверху клокочет вулкан, широко и грозно извергая из невидимого кратера красно-сизые волны. Огненная лавина падала вниз и, не касаясь земли, гасла и пропадала. Под этой кромешной преисподней мерцали электрические огни, куда-то спешили с авоськами женщины. В музыкальной школе кто-то наигрывал «Баркароллу».

— За город! — прохрипел Ганин, обессиленно рухнув на заднее сиденье.— Куда-нибудь подальше!

— Может, на озеро? — спросил Толя.— Ружье и палатка в багажнике.

Ганин не ответил, сдернув с себя галстук, рывком распахнул ворот рубахи.

— Так что у тебя стряслось? — переспросила Раиса, когда они остались вдвоем.

— Я насчет Ильи... Давно хотел спросить,— заспешил Станеев, краснея от собственной лжи. Впрочем, лгал он наполовину, но полуправда — та же ложь. Он знал, чем болен Водилов, да и сам Илья не скрывал. После больницы он как-то усох, сморщился и сразу по-

старел. Однако работал много, запойно и казался счастливым. А может, и в самом деле был счастлив.— Это опасно?

— Нужно лечиться, а он не хочет...

— Я заставлю его! Я его вылечу...— заволновался Станеев, выкинув с силой кулак, точно клялся в том, что говорил. А клятвы от него как будто не ждали.

— Ты очень хороший друг, Юра. Заботливый друг,— подавив вздох, сказала Раиса и не прощаясь ушла.

В словах ее слышалась горькая насмешка не то над собой, не то над Станеевым, который ничего-ничегошеньки не понимает в женском характере, тем более в характере Раисы. Да и откуда ему постигнуть непостижимый женский характер, в котором даже для искушенных, вроде Ганина, сердцеедов еще немало тайн и загадок. Не-ет, в лесу все проще...

— А не сходить ли нам к Степе? А, мужики? — проиграв сыну в Чапая, спросил Водилов.— У него сегодня пельмени.

— К Наденьке, к Наденьке! — захлопал Витька в ладоши, сразу потеряв всю серьезность, и побежал одеваться. Шапку напялил, конечно же, задом наперед, кое-как, наперекосяк, застегнул пальто и совсем запутался в шарфе.

— А ну посмотри на себя в зеркало! — сказал ему отец.— Это не ты, а перевертыш какой-то...

— Я не перевертыш. Это шапка моя перевертыш,— возразил Витька, но шапку и шарф поправил.

На улице Станеев взял мальчика на руки, но Витька запротестовал:

— Я сам... я уже большой.

— Прости, я иногда забываю об этом,— отпустив его, сказал Станеев и пошел сзади. Отец и сын, заложив руки за спины, шагали рядом и посматривали на встречный поток машин.

— Едут и едут куда-то,— жмурясь, когда свет фар бил прямо в глаза, ворчал Витька.— Куда едут?

— Ага, едут,— кивнул Водилов.— Вся страна едет.

— А мы вот идем. Мы что, не из этой страны?

— Мы, Витя, как раз из этой,— ответил Водилов.— Но иногда и пройтись не мешает.

Сзади взвизгнули тормоза, и, чиркнув колпаком о

поребрик, остановилась голубая машина. Из нее выскочила Наденька.

— А я за вами,— сказала она, вытирая Витьке нос.— Пельмени уже настряпаны.

В машине, видимо поджидая Наденьку, сидела красивая, нарядно одетая девушка.

— Кто это? — спросил Станеев.

— Дочка Ганина. Папаша подарил ей машину. Сын, ты не прочь получить такой подарок?

— Вместе с тетей?

— Ну, брат, у тебя запросы! — рассмеялся Водилов, но Витька, не слушая отца, забрался в машину и манил к себе Наденьку.

— Тетя Юля, вы нас прокатите?

— Разумеется,— ужав пальцем в перчатке прохладный его носик, улыбнулась девушка.— Если позволит твой папа. Можно?

— Только недолго. Нас ждут пельмени.

— Это вас ждут,— возразил Витька.— А мы не хотим. Поехали, поехали!

— Красивая девчонка! — глядя вслед укатившей машине, сказал Станеев, снова люто завидуя Ганину, у которого все имелось, чтобы сознавать себя в этом мире счастливым.

— Красивая, но не красивей Раисы,— подмигнул Водилов и ткнул приятеля в бок.

Степа встретил их в прихожей, где так же, как и в комнатах, все было вымыто, вычищено. На мебели ни пылинки, ковры свежи, словно только что из магазина.

— А я заждался вас,— пожимая им руки, говорил хозяин. Черные очки он снял, заменив их повязкой. Правый, незашоренный глаз, казался здоровым, Водилов не удержался и помахал перед ним пальцем.— Че перед глазами-то машешь? Думаешь, вижу? Не вижу, только чувствую.

— А мне все кажется, что ты зрячий.

— Не худо бы хоть ненадолго прозреть,— вздохнул Степа и перевел разговор.— А где ребятишки?

— Дочка Ганина их катает.

— А, хорошая девка, небалованная.

Из кухни, раскрасневшаяся, выплыла Сима. На блюде горкой дымились пельмени.

— Присаживайтесь к столу, гостеньки дорогие! — пропела она и удивленно спросила: — Больше-то разве никто не придет?

— А кого еще надо? — доставая рюмки, оглянулся на нее Степа.

— Раиса Сергеевна сулилась... Может, заглянет?

— Вот было бы славно! Я уж забыл, когда за одним столом собирались старые-то лебяжинцы!

— А вот и Рая! — выглянув в окно, сказала Сима. У подъезда остановилась «скорая помощь».

Душа Станеева зашлась жаром. Жар перекинулся на лицо, на шею. Кожа покрылась красными пятнами.

Но вместо Раисы порог перешагнул пожилой, рябоватый человек.

— Кто из вас Станеев? — угрюмо спросил он.

— Я,— поднимаясь, сказал Станеев. Внутри все тревожно замерло. Кровь отхлынула, и лицо теперь побледнело.— А что... что случилось?

— Скорей в машину! Вас зовет Раиса Сергеевна.

Забыв одеться, Станеев выскочил на улицу и, сидя в машине, ликующе повторял: «Наконец-то! Наконец-то!»

— Там «Жигули» с КРАЗом столкнулись,— глухо сказал шофер, на бешеной скорости выруливая на проспект Геологов.— Раиса Сергеевна наказывала никому, кроме вас, не говорить. Ганина ищут. Там дочка его была и... двое детишек.

17

Отпустив шофера, Ганин взвалил на загорбок тяжелый рюкзак, принюхался и ступил в чащу широко и неслышно.

День истаял. И вечер уже готов был уступить место ночи. Истекали последние капли зари вечерней. Прохладный сумрак скрадывал стволы подтянутых сосен, мохнатых елей, обманно искажал видимое пространство. Ружье билось о плечо, но Ганин чувствовал, что сейчас оно не понадобится. Постукивая пальцами по ножнам, он спокойно шел на зверя, который оказывался либо вывороченным пнем, либо кочкой. В груди сладко замирало и смеялось. Как в молодости, бывало, перло озорство; хотелось схватиться и победить. Темнота влекла издавна: сперва потому, что пугала и нужно

было пересилить испуг, теперь — превращала в дикое и опасное животное, полное хитрости и хищной отваги. Если бы сейчас встретились в лесу рысь или медведь (а они здесь встречались), Ганин не уступил бы им дорогу, не прибавил бы шагу, а так же спокойно и неколебимо продолжал свой путь. Человеку, осилившему свой страх, уступает дорогу всякий.

«Хоть бы встретились... хоть бы!» — как заклинание твердил Ганин. Кровь звала. Кровь вела. А чутье подсказывало, что зверь, который, возможно, рядом, осторожно обходит его стороной.

«До чего дошло: за бабами стал гоняться... Тьфу!»

Над головой сонно бормотала хвоя, вяло всплескивали золоченые листья, а выше, на темном лоскуте неба, загорались и тухли бледные звезды.

Пришествие ночи возвестил со стороны озера проснувшийся филин; он грозно и мрачно ухнул, шумнул крыльями, потревожив уснувшего чибиса.

Под ногами захлюпало.

«Значит, близко»,— прикинул Ганин и снова вспомнил о Станееве, о Раисе, о недавно пережитом унижении. Скрипнув зубами, прибавил шагу и стал думать о Юльке, о долгожданной охоте, о воле, границы которой в ночи приблизились вплотную и отодвинулись в бескрайность, и, быть может, конечность мира слилась с бесконечностью и Ганин плывет и не тонет в этом мощном потоке.

К заветному месту по крутояру вела тропа. Осталось спуститься и с километр пройти низинкой, где в камышах спрятана лодка, а выше ждет уютный и тихий шалаш.

Болотина и хлюпкие камыши убрали след. Ход был опасный. Раньше, случалось, и днем оступался, вяз по горло и сбрасывал с плеч рюкзак. Теперь нога сама находила опору, легко переносила большое нагруженное тело, в котором жили в лад каждый мускул, каждая жилка. И только сердце билось часто и гулко, но и оно уже воспринимало короткие точные приказы мозга: «Спокойно! Чего ты расстучалось? Забыть!»

Хлябь колебалась, коварно заигрывала с человеком, но сердце теперь уж билось ровно. Оно подчинилось разуму, оно успокоилось. И боль не в сердце засела, а где-то в памяти.

Года четыре назад было иначе. Поднимался в обкоме на третий этаж, вдруг выключился, не стало ни рук, ни ног. Один зияющий рот, в котором немо ворочался почерневший язык.

И начались хождения по врачам, тоскливое ожидание преждевременного конца... Кабинет пропитался запахами лекарств. «Не курить, не пить, не волноваться, не...» Что бы ни делал, всюду преследовало это усеченное куцее «не».

«Вот и финал»,— решил Ганин, поскольку соблюдение всех этих «не» (за исключением «не волноваться», соблюсти которое никогда не удавалось) все же не помогло. Ну и черт с ним! Он плюнул на все и вместо очередного медицинского осмотра уехал на охоту. «Помру, так хоть на ногах»,— думал, тащась за стареньким, знакомым еще по Гарусово егерем.

— Не отставай, не отставай, парень,— сердито подгонял Вьюн и мелко семенил тонкими, как былинки, старческими ножками, на которых потешно болтались холщовые штаны с суконной заплатой на заднице. Он вел Ганина вот этой самой тропой и этой же болотиной.

Потом была зорька, и о сердце не вспоминалось. У костра вопреки всем «не» пили коньяк и рвали зубами дымное мясо.

— А и дохлый же ты, однако,— посмеивался чуть рассолодевший от спиртного старик.— Такой телесный мужик, а ровно карась во время загара. Пересидел — вот и вся твоя хворь. Приезжай сюда почаще — мигом выправлю. Да это... отраву-то свою привози. Веселая отрава — жгет.

И день в неделю Ганин стал урывать для охоты, а кроме, утром — час для прогулки. Организм, окрепнув, возмутился, потребовал более энергичных движений. И в сорок восемь лет Ганин стал бегать. Немного погодя, прочитав брошюру Гилмора, полностью принял все ее положения, хотя бы потому, что в них не было ненавистных «не».

Теперь пройти с рюкзаком пятнадцать — двадцать километров или пробежать налегке — забава. Спасибо Вьюну — поставил безошибочный диагноз.

Болотина кончилась. Крутой лесистый подъем,— и узкая тропа, протоптанная лосями, выведет сейчас к шалашу.

В рюкзаке на случай непогоды палатка и надувной матрас, но Ганин ими почти никогда не пользовался. Наломав пахучих лиственничных лап, не разжигая огня, съел пару бутербродов с икрой, запил чаем, разбавленным коньяком, и, едва смежив глаза, мертвецки уснул.

Над шалашом висели назревшие крупные звезды. Прозрачно звенела, лилась серебряным ручеечком тихая песнь полуночного неба. Трепыхала мягкими совьими крыльями посветлевшая ночь. От ее взмахов тонкие запахи леса стали явственней. Ганин и во сне сладко втягивал их, вздрагивая дырчатыми ноздрями.

Проснулся, когда восток забросало розовой пеной. Из пены выплыло белое облако и, сыпанув на шалаш колючей снежной крупою, распалось. Ганин зарядил на ощупь штучную тулку и задом выполз из шалаша. Еще не дойдя до лодки, снял на лету сытую кряковую и сам поздравил себя с почином.

Он правил к камышам, подле которых обычно охотился. Не дотянув до них, закинул капроновую сетку: на ушицу.

Земля восстала ото сна и разноголосо затрубила, а солнце только-только блеснуло малиновым околышем, но скоро взошло, стегнуло по глазам пучком лучей, и на мгновенье стало темно.

— Полегче! — погрозил светилу Ганин.— Кому говорят, полегче!

Он, не мигая, уставился из-под полуопущенных век на солнце, и солнце спряталось за бледный пластик луны. Ганин скосил глаза: нет, луна тлела на месте. Но эта пленка на солнце в точности была похожа на нее.

«Плутуешь? А ну еще!» — Ганин не умел опускать глаза, и дерзость оправдала себя: глаза скоро привыкли.

С озера поднялся стремительный табунок, описал полукружье и вышел прямо на Ганина. Дуплет даром не пропал. Подобрав подстреленных птиц, Ганин поплыл краем камышей и, выждав с полчаса, подпустил в зону досягаемости чирка, но промазал. Затем он палил впустую часов до семи, натешился и, слегка разозленный неудачами, стал выгребать к берегу. По шуму крыльев услыхал крупный лет, вскинул ружье и, почти не целясь, снял шилохвоста. Этого было довольно.

В сетке били радужными плавниками окуни и с десяток ершей. Подле грузила застрял в ячее огромный,

как лапоть, карась. «Килограмма на четыре, не меньше»,— взвесив его на ладони, прикинул Ганин.

У шалаша вился дымок. «Кто это там распорядился?» — досадливо поморщился Ганин, но, привязав лодку и выбрав из нее охотничьи и рыбацкие трофеи, довольно покряхтел: с этакой добычей хоть перед кем не стыдно показываться.

— А я вас по выстрелам разыскал,— человек, лежавший у костра на плащ-палатке, сдвинул берет, поморгал крохотными фарфоровыми глазками и, пригладив кудрявый ленок на голове, принялся чистить рыбу. Сам Ганин занялся дичью.

Огонь весело потрескивал, курчавился запашистый дымок. Под ложечкой посасывало. Закатав уток в глину, Ганин сунул их в самый жар, разделся и осторожно вошел в воду. Волосатое, прочно скрепленное с гибким остовом тело ожгло и вытолкнуло на поверхность. Пересиливая страх перед холодом, прыгнул в самую глубь и, не окуная голову, поплыл, размашисто, сильно загребая. Плыл так, словно обгонял кого-то: «Тридцать шесть ему... тридцать шесть... аф-фа... пятьдесят два — тоже не старость... аф!»

Выскочив на берег, втиснулся в тренировочный костюм и припустил вдоль озера; согревшись, не остановился, но чуть-чуть сбавил темп и затрусил неспешной валкой рысцой.

«Еще посмотрим, кто крепче... Посмотрим! Меня на двадцать лет хватит... Учтите это, Раиса Сергеевна! На двадцать, как минимум!»

Медленный бег не утомлял. Чувствовались лишь ноги, а тело, легкое и словно опустевшее, само несло себя по воздуху. Он бежал и все спорил с Раисой, вспоминая вчерашний разговор: «Люблю, но меня смущает его возраст... Все-таки семь лет разницы...»

— А мой не смущает? — в лоб спросил Ганин.

— При чем здесь вы?

— Нужны признания или обойдемся без них? — усмехнулся Ганин, поняв, что впервые у него нет никаких шансов. А женщина эта влечет безумно. И рано или поздно, но Ганин ее завоюет. «Дайте мне время... дайте только время!»

Аппетит к завтраку нагулял волчий. От ухи и от печеных уток остались одни кости.

— Спорнем? — из кучи костей Толя выбрал ельцовую дужку, и они разломали.— На словах или на деле?

— Я человек дела. Выспоришь — дважды прокачу вдоль озера. Соответственно и ты.

— Принято,— деловито кивнул Толя и, вручив Ганину кружку с чаем, лукаво сощурил белесые глазки.— Елец!

Ганин рассерженно подскочил, отбросил кружку: надо было сказать «помню». Сказывается возраст, а может, это позднее необоримое чувство.

— Это вас рефлекс подвел,— объяснил Толя.— Рефлекс человека, которого всегда обслуживают. Я на то и рассчитывал.

Ганин, словно боясь обжечься, коснулся кончиками пальцев кружки и подкатил ее к себе.

— Ладно уж, психолог! — проворчал он добродушно, сознавая, что сердиться из-за такого пустяка на Толю просто смешно.— Садись в лодку.

Толя дремал или делал вид, что дремлет, не мешая начальнику выполнять условия спора. Берет сбился на розовое чуткое ухо. Ухо было нацелено. Ганин сделал крутой разворот и, метнувшись к шоферу, попробовал в шутку столкнуть его в воду. Только что расслабленное тело мгновенно напружилось, стало тугим и скользким, рука Ганина оказалась непочтительно заломленной за спину.

«Артист!» — мысленно похвалил Ганин. Вслух же с опасною кротостью, таящей взрыв, упрекнул:

— Хочешь безруким меня оставить?

— Прошу прощения, Андрей Андреич! Сон мне приснился, будто дремлю на посту, а на меня с ножом сзади...

— Ты на границе служил?

— Нет, в охране...

Ганин рассмеялся.

— А ведь лет двадцать назад я мог бы оказаться под твоим попечением, а?

— Могли бы,— согласился с ним Толя.— Я ведь что, как говорится, куда Родина пошлет.

— Да. Ну что ж, пора двигать.— Ганин торопливо и молча собрал рюкзак и первым двинулся через болото. Толя плюхал за ним.— Костер не потушили,— спохватился Ганин. Он никогда не оставлял в лесу огня.

— Сам погаснет,— сказал Толя.

Ганин хмыкнул и, передав ему рюкзак, вернулся и залил костер. Так учил его покойный заботник о лесе Осип Матвеевич Вьюн, с которым провели здесь не одну утреннюю зорьку. Старик всю жизнь прожил в лесу, ревниво берег его и любил.

— Ты вот охотник, Андрюха,— говорил он, обычно чуть-чуть приняв,— из трезвого слова не вытянешь.— Хреновый, конешное дело, охотник. Зато с совестью. А есть такие, знашь, ухари, которым выше глаз дай, и все мало... Таких я сильно не уважаю. Даже зло на их имею...

Верно, ухарей-добытчиков развелось много. Ганин и сам их не уважал. Охота — не промысел, а удовольствие. И все же этот лес мог бы стать великолепным подспорьем. В поселке нередки перебои с мясом, не говоря уже о хорошей рыбе, грибах и ягодах. А здесь всего этого вдоволь. И если организовать промысловую бригадку, это будет совсем неплохо. Пускай Лукович этим займется... Можно привлечь и того косматого чудика... которому тридцать шесть лет. Как же это я раньше-то не додумался? — укорил себя Ганин.

Той порою вышли к машине, которую Толя поставил подле релочки. Переодевшись, Ганин включил переговорное устройство и вызвал диспетчера:

— Как там на первом объекте?

Первым объектом был аэропорт.

18

Солнце в лесу пробивалось редко. Мели метели, свирепствовали холода. Избушка Станеева в углах промерзла, окна застыли, а у порога висели синие бугристые сосульки, которые оттаивали, текли на пол, когда в жилище становилось тепло. А потом они нависали еще сильней. Зима эта началась рано, в середине сентября, и будет тянуться бесконечно долго, уныло. Однако такой счастливой зимы Буран не помнит. Он до краев переполнен невиданным счастьем, которое пришло в лес вместе с маленькой Саной. Она подросла, но все так же шаловлива и проказлива. Буран изредка наказывал ее, но чаще — для вида, учил добывать пищу, знакомил с лесом. Ноги ее с каждым днем крепли, наливались си-

лой, и в груди уж во время бега не покалывало. Хотя, конечно же, за Бураном не угонишься. Забудется иногда, брызнет в азарте за какой-нибудь живностью и оставит свою подружку далеко позади. Потом воротится, поделится добычей. А если погоня затягивалась, Сана возвращалась домой одна.

А дома угрюмый, вечно задумчивый хозяин. Он что-то пишет, звенит кольцами, заготовленными для зверей и для птиц, или просто сидит у заледеневшего окошка. Сана приляжет в углу и, словно маленькая старушка, вздыхает, сочувствуя человеческой тоске. Ей подчас невмоготу от чужой тоски и безысходности. «Ведь прекрасно вокруг! Весело! И Буран есть, вон какой заботливый! И лес замечательный! Чего же еще-то?»

Повздыхав, Сана начинает играть с собственным хвостом. Сана красива: и волнистая чистая шерсть, симпатичнейшие длинные уши, чуточку великоватые для маленького роста лапы, а вот хвост подгулял. Ну прямо совсем крысиный хвост, длинный, голый, вовремя не отрубленный, бесстыдная нагота которого Сану всегда раздражает. Она гоняется за хвостом, повизгивает и забывает о причинах, вызвавших ее злость. Подолгу Сана не умеет сердиться даже на себя самое. А на других так вообще не сердится. При чем здесь другие, кто бы они ни были — люди или звери? Если что-то плохо вокруг, нужно постараться, чтоб стало лучше, и не ждать, когда тебе об этом скажут. Ведь вот старается же Сана, неунывающая собачонка. Она могла бы сейчас лежать и грустить, вместо того чтоб кружиться, шлепать по полу мохнатыми коричневыми лапами. Скоро прибежит Буран, и будет еще веселей. Да вот он, уж в дверь скребется.

Сана ткнула носом задумавшегося хозяина. Тот длинно вздохнул и отвлекся от своих, наверное, очень важных мыслей.

— Опять? — пасть Бурана была в крови. Хозяин не столь больно, сколь обидно толкнул ногой волкодава. Буран заворчал и оскорбленно отпрыгнул. Он не желал, чтоб его наказывали при подружке. Он вообще не желал терпеть ни за что какие-либо наказания. Если ты человек и, следовательно, умное существо, то прежде подумай, а уж потом давай рукам волю.

Пес отошел, лег на подстилку и положил голову на

вытянутые лапы. Сана подбежала к нему и принялась слизывать в углах рта загустевшую кровь. Эта кровь пахла зайцем. Буран, верно, припрятал в снегу и для нее лакомый кусочек. Он, бедный, много бегал, прежде чем загнать зайца. Волкодав не гончая: на ходу быстр, однако не слишком увертлив. Но для подружки своей постарался.

Заглушив обиду, волкодав толкнул лапами тяжелую отсыревшую дверь и позвал с собой Сану. Ну так и есть: под елкой свежий сугробчик и следы.

«Ищи!» — приказал он Сане, а сам, облизываясь, уселся в сторонке. Сана тотчас же извлекла из снега кусок зайчатины, вонзив в нее свои острые зубы. Буран, подразнивая ее, заходил то справа, то слева, спаниелька гневно ворчала и отворачивалась, забыв, что этот кусок для нее добыл волкодав. Хорошо зная собачий народец, Буран не обижался и дразнил, чтобы научить ее драться за свой кусок мяса.

«Ну что, не наелась? — спросил Буран, когда зайчатины не стало. Он и сам знал, что мяса мало. Но, возвращаясь домой, почувствовал голод, отхватил один кусок зайца, другой... немножко увлекся. Но устыдился и тут же одернул себя.— Ничего, сейчас еще раздобудем!» — утешил он Сану и затрусил прежним своим следом. Спаниелька протестующе залаяла: дескать, иди сам и добывай, зябко поджала одну лапку, потом другую, выщелкнула зубами снег, застрявший между подушечками, жалобно повизжала, но, увидав, что протест не принят, стала нагонять своего покровителя.

Они выбежали на лесную тропку, по которой спустились к оврагу.

«Нужно вниз!» — сказал Буран, но спаниелька попятилась, испугавшись обрыва, и села на задние лапы. Буран вежливо, но решительно столкнул ее с обрыва, выждал, когда она перестанет кувыркаться, и не спеша съехал сам. Перебежав через вымерзший, покрытый наледями ручей, они оказались на острове. Тут снег был и свежей и ярче. В домиках, занесенных, словно зароды сена, спали бобры. Хорошо им в теплых-то зимовьях! Поворошить бы, да ведь все равно не достанешь: от домиков тянутся под водою норы. А кроме того, бобры — звери неприкосновенные. Хозяин строго следит, чтобы никто не смел их обижать.

Миновав остров, собаки пересекли Курью и оказались в ельнике. По стволам, черным и заледеневшим, вис седой буроватый мох. На осинках, зачем-то забравшихся в темный ельник, еще названивали редкие листья. Они запоздали умереть, а заново родиться уже не смогут. Листья покорно и упрямо ждут своей участи и чуть видно колышутся от легкого ветра. Вот один из них, искрученный, отрепанный вьюгами, спланировал на Сану. Она поежилась, тявкнула и прижалась к волкодаву. «Экая ты трусиха!» — покосился на нее пес, но не остановился: подумаешь, листок упал на спину!

Пробежав по прямой ельник, они еще раз спустились на лед какой-то речушки, пересекли ее, взобрались на берег и очутились в чистом, светлом березняке.

Издали послышался трубный рев. Буран остановился, навострил уши. Звук был знакомый: трубил лось, быть может, Филька. Ему отозвался другой лось, где-то совсем близко, в березняке. Вскоре он выскочил на опушку, задиристо обругал соперника высоким, еще не устоявшимся басом и оглянулся, кого-то поджидая. У осинки, которую только что пробежали собаки, стояла самка и, отряхивая листья, грызла кору.

«А-ав! Аав!» — тявкнула Сана. Лось, удивленный ее дерзостью, шагнул навстречу, но, увидав что-то маленькое, не заслуживающее его внимания, пренебрежительно фыркнул и ударил копытом. Теперь и Буран подал голос: «Эй, не очень-то разоряйся! А то живо призову к порядку!» Лось, долго не думая, кинулся на блюстителей порядка, выставив мощные ветвистые рога. Собаки скрылись в густолесье и оттуда полаивали на него. Буран — стыдливо, приглушенно и как бы с усмешкой, Сана — истово, во весь голос. Лось скребанул копытом раз, другой, но, услыхав издали грозный голос соперника, забыл о собаках и бросил вызов ему, оглянувшись на лосиху, которой следовало бы оценить его смелость, а самка, словно это ее не касалось, постреливая ушами, огладывала осину.

Лось, встречный, одинокий, был уже близко. Под ним трещали кусты вереска, пригибались молодые березки, гулко оседали затвердевшие губастые сугробы. Перемахивая через кочки, минуя овражины, ломая кусты, лось врезался в рям, с гулом выбрался из него и, пригнув голову, водил красными, налитыми яростью

глазами. Его сотрясала буйная плотская сила, звала в бой ради обладания самкой, около которой бил копытом более молодой и более слабый соперник. Низко, угрожающе загудев, матерый самец мотнул головой и походя сломал березку, уронив на нее желтую пену. А по ту сторону густых зарослей столь же яростно протрубил молодой соперник. И лось, ослепнув от гнева, ринулся на него, набирая разбег, ломая деревья и оставляя после себя безобразную узкую просеку. Снег здесь был слишком рыхл и глубок и весь истыкан густым черемушником. Лось обогнул его и, высоко, сильно прыгнув, втиснулся между двумя сросшимися внизу соснами. Рога зацепились за нижний толстый и ядреный сук, а задние ноги провисли в воздухе: сосны росли над самым обрывом, который скрадывал снег и который сейчас оголился, так как снег от возни зверя сползал вниз с глухим зловещим шелестом. Лось рвал в бессилье свои рога, раскачивал сук, одурев от испуга, сменившего неистовую ярость. Зверь почти повис на рогах, бился всем телом, выворачивая мощную морщинистую шею, пытался сняться с дерева, но еще сильней проседал в снег теперь уже и передними ногами. Задние ноги наконец уцепились за какую-то мерзлую глызину или кочку, она сорвалась, и копыта снова поехали, и вся тяжесть и вся сила пришлись на копыта, у которых не было точки опоры. Передние ноги зверя лежали на краю обрыва, и он не мог на них стать и оттолкнуться, потому что задние остались без опоры, и только живот чуть-чуть касался крутого холодного среза.

Удачливый соперник опять оглянулся на лосиху, победно взревел и, подбежав к поверженному без боя сохатому, толкнул его в шею, оступился и отступил. Ах, если бы он боднул посильнее! Лось смог бы, наверно, сорваться с сосны и юзом скатиться вниз. Противник его оказался осмотрительным и счастливым. Натешившись его беспомощностью и ничуть не пострадав, он уводил с собой самку, которой все равно с кем уходить. Ей нужен был самец, и он нашелся. Может быть, и даже наверняка, не самый лучший и не самый достойный, но зато удачливый.

Буран побрехал на удаляющуюся пару и надумал известить о случившемся своего хозяина. «Охоты не бу-

дет!» — сказал он Сане, которая нисколько не огорчилась. Пес гаркнул на нее, позвал с собой, но спаниелька на этот раз его ослушалась. Да и сам он решил, что один обернется скорее. А Сана пускай посторожит попавшего в беду сохатого. И он убежал, а Сана осталась.

Лось мучился и хрипел и теперь уж не думал о своем счастливом сопернике. Он весь наполнился болью. Боль проникала в голову, сводила шейные позвонки и волнами перекатывалась по всему огромному сильному и теперь совершенно беспомощному телу.

Сана, любопытствуя, подошла ближе. Этот невиданный исполинский зверь был ей не страшен. Выкатив налившиеся кровью глаза, он, задыхаясь, храпел и брызгал окровавленной пеной. Облаяв его, Сана обежала вокруг сосны и еще раз обежала, зазывая сохатого поиграть с ней и не понимая, что зверь в агонии. Чтобы обратить на себя внимание, она куснула лося за переднюю ногу чуть повыше копыта. И если он не почувствовал этого дружественного прикосновения, то лишь потому, что рядом с маленькой болью жила большая, невыносимая, совершенно его измучившая. Сана куснула его снова, посильней. Могучее копыто сохатого поднялось и опустилось вовсе не от ее жалкого укуса. Раздался щемящий слабенький писк... Но Сана жила еще, она еще нашла в себе достаточно сил, чтобы откатиться в сторону.

Два существа мучились в лесу. Два ни в чем не повинных существа умирали. К ним, чуя поживу, подбирались волки. Но даже пятерым нелегко справиться с таким богатырем, как лось. Его копыта страшны, его рога еще страшнее. Правда, теперь он совсем беззащитен...

Буран и Станеев подоспели, когда пиршество кончилось. Глазам их предстало жуткое зрелище. На суку висел чисто обработанный скелет. Под сосною, шагах в десяти, лежала Сана. Ей прокусил горло все тот же волчонок. Прокусил не потому, что был голоден, а потому, что был волк.

— Опоздали мы с тобой,— сказал Станеев.— Опоздали.

На плече у него висело фоторужье, но сегодня оно не «выстрелило». Буран обнюхал свою маленькую под-

ружку, задрал морду, жутко и протяжно завыл. Его вой слышали волки. Они славно попировали.

19

Цветное табло каждый час напоминает: «До ввода аэропорта в строй остается 93, 92, 91... дней». Вчера министр шутливо, как бы между прочим, однако не без надежды в голосе поинтересовался: «Андрей Андреич, а месячишко еще не выкроишь?» — «Мы и без этого выкроили два года...» — вспылил Ганин, но тотчас пожалел о своей горячности. Ведь и с министра требуют: «Скорей! Скорей!» Темп — идол современного человека. Человек молится ему истово, до изнеможения. Человек забывает о себе и о том, что этот темп для него же. И Ганин — быть может, один из самых фанатичных служителей этого бога — не удержался и приказал шоферу везти себя на стройку.

На временно оборудованной площадке приземлился «Антей». И люди, как муравьи, облепили его, майнали, вирали, а тягачи и машины подхватывали груз и развозили по участкам. А там его подхватывали электрики, монтажники, сварщики, примеряли, подгоняли узлы и блоки и устанавливали на место. Авиация и блочный метод строительства, впервые здесь примененный, сделали возможными самые невероятные сроки. Аэропорт строили тридцать субподрядных организаций, и всем этим скоплением людей и техники командовал Ганин. За сутки вырастали горы земли, стены, крыши, нашпиговывались сваями фундаменты и ростверки, соединялись в одно целое тысячи тонн и сотни километров металла... Сутки в этих условиях стоили человеку года. Дул ветер, сквозной и роняющий. Термометр показывал минус пятьдесят один.

— С приездом, Андрей Андреич! — прокричал Водилов, оттирая рукавицей сизое закаменевшее лицо. Он пропадал здесь сутками, оставив Витьку Раисе, и был незаменимым человеком. Большая группа технарей, которых с легкой руки Ганина называли думачами, вместе с заказчиком, с главным инженером проекта, маракавали над каждым узлом, над каждым блоком, увязывая, утрясая, упрощая... Графики составлялись с недельным запасом. Самолеты делали двадцать — три-

дцать рейсов в день, и через каждые трое суток временную взлетную полосу, сооруженную из металлических плит, обновляли. На заводах-поставщиках сидели свои люди. Связь с областью и с Москвой была круглосуточной.

— Как делишки, Илья Борисович? — присматриваясь к Водилову, буднично спросил Ганин. Он знал, что Водилов тяжело болен и что ему нужен особый режим, а режим здесь такой: вертись, пока ноги держат.

— Ничего, живем,— Водилов, по-видимому, забыл о своей болезни, а ему не напоминали, и выглядел неплохо, казалось, даже окреп и округлился.— Как говорится, вашими молитвами.

— От моих молитв бог морщится.

— Это точно. У сварщиков не были?

— А что? — насторожился Ганин.

— Зайдите. Там же морозильник! Хоть бы «козлов» штук пять поставили.

Сварщики жили в бывшем овощехранилище. Им и монтажникам доставалось всех больше: весь день на ветру, на морозе, и, как бы ни был тепло одет, под тобою и вокруг тебя холодный металл, который иногда не выдерживал здешней температуры и лопался или рвался.

Маленький очкастый бригадир двенадцать часов торчал посреди перекрытий и едва ворочал языком. Щеки были в язвах, оставленных морозом.

— Сними его! — приказал Ганин своему шоферу.

— Нне лезь! — закричал Нохрин, покрыв Толю отборным матом.— Ммоя ссмена ккончается ччерез час.

И его оставили в покое.

— Что вам сделать, ребята? — смахивая слезы, нанесенные лютым, пронзительным ветром, растроганно спрашивал Ганин.— Скажите, чего вы хотите?

— Ммне бы ммолочка топленого,— пробормотал Нохрин и уткнулся в щиток, брызнув в Ганина искрами сварки.

Ганин вызвал Луковича, всех снабженцев и весь постройком и провел с ними получасовую летучку.

— Свежо, уважаемые? — спрашивал он с ехидцей, видя, как некоторые корчатся и щелкают зубами, похлопывая рукой об руку.— Вы пробыли здесь тридцать одну минуту. А люди сутками мерзнут. Обеспечьте их куревом, горячим кофе или чаем. Ясно? А вон тому, ма-

ленькому, в очках... вместо чая литр топленого молока.

— Да молока нет во всем поселке,— заикнулся Лукович.— Получаем только для детсадов.

— Найдешь. Ясно? Вопросов нет. Комсомол! — окончив летучку, он поманил к себе совсем еще молодого, но уже заимевшего брюшко начальника штаба ударной стройки.— Нужна световая газета. Сделаешь?

— Если нужна — разобьюсь, но сделаю.

— Разбиваться не надо. Но к пятнице газета должна действовать. Первым отметишь в ней комсомольца Нохрина. Ясно?

— Да он не комсомолец, Андрей Андреич! Он же из бичей...

«Антей» взлетел и, сделав круг над островом, едва заметно качнул крыльями; Ганин махнул ему благодарно рукой и, опустив голову, пошел к машине.

Ганин все еще не навестил Юльку, а эти люди, кажется, не дадут ему отлучиться. Где-то застряла бригада Ленкова... Отправили их в Тарп. А до Тарпа по зимнику около двухсот километров... и — пятьдесят шесть мостов. По подсчетам, должны быть здесь тридцатого. Сегодня второе... Нет людей, и нет котлов. Под угрозой график... Ведь предупреждал, что заявки надо составлять с опережением. Предупреждал или не предупреждал? Нервы, натянутые как струны, не выдерживали. И Ганин сказал, что через полчаса вернется и сам вылетит в Тарп.

Котлы для главного корпуса, уже обмурованные, обвязанные, полностью готовые к монтажу, приходили с завода-изготовителя в Тарп. Там железная дорога кончалась. И дальше их доставляли санным обозом. Обоз застрял, и надо выяснить, почему он застрял. Но это потом, потом.

— ...Вы будете моей, Раиса Сергеевна. Учтите это. Я слов на ветер не бросаю,— недавно сказал он Раисе.— Хотя должен предупредить: со мной вам будет трудно.

Она усмехнулась, задумалась и сочувственно сказала:

— Не тревожьтесь, Андрей Андреич. Живите, как жили... без меня.

Это был отказ, вежливый, но решительный. И Ганин понял ее верно.

— Как жил — не выйдет. Нет, не выйдет, Раиса Сергеевна. Был я недавно в Художественном театре. Там

барончик один мечтал: вот-де через пять-десять лет все будет проще. Люди начнут летать на воздушном шаре, поймут тайну шестого чувства, и все поголовно будут счастливы. Уж на Луне побывали, лазер изобрели и прочие тайны постигли, а проще не стало. Наоборот, сложней стало...

Об этом он думал, когда летел вдоль зимника в Тарп. И еще о том, что теперь из всех женщин для него существует одна Юлька, которой Ганин посвятит остаток своей жизни. Он отдаст ей все то, что не успел в суматохе дней отдать Юлии Петровне, перед которой бесконечно виноват.

«Все. Хватит об этом!» — приказал себе Ганин и крикнул радисту:

— Если увидите людей — сядьте.

— Одного вижу. Идет вдоль зимника на лыжах,— передал радисту командир вертолета.— Садимся?

«Это, наверно, тот... Станеев»,— выглянув в иллюминатор, подумал Ганин и покачал головой.

Вертолет пролетел над речкой, выписавшей тут замысловатую кривую, миновал островок, пятнистое ржавое болотце и вскоре оказался у границы заповедника. С краю, почти неразличимые на снегу, ютились березки и, словно нищенки, просили пустить их в лес, но лес охраняли хмурые лапчатые ели, мощные горделивые лиственницы.

— Вон они, голубчики! — показал радист, увидав на старом полуразрушенном мосту санный караван.

Вертолет приземлился.

На льду тарахтели три трактора, от каждого трактора к саням тянулся трос — поводки, которые удерживали груз на мосту. По настилу, впереди тягача, пятился человек и знаками и осипшим голосом указывал направление движения. Промасленная шуба его была распахнута, с плеч за спину свисал толстый мохеровый шарф.

— Не суетись, Валя. Не суетись! Стоп! Чуток вправо! — приговаривал он и вытирал со лба пот. Почти все двести километров от Тарпа он прошел так же вот, задним ходом. Это была последняя трудная переправа.

В кабине сидел знакомый Ганину губастый парень. Цигейковая заношенная шапчонка задрана на затылок,

лоб напряженно наморщен, сощурены острые внимательные глаза.

«Боится, наверно»,— подумал Ганин и ободряюще подмигнул трактористу. Тот заморгал ответно обоими глазами, рванул рычаги неосторожно — трактор дернулся и чуть больше взял влево, под уклон. Настил под гусеницами прогнулся и затрещал.

— Назад, Валя! Назад! — закричал, замахал руками Ленков и кинулся к трактору. Проломив прогнившие, источенные временем бревна настила, трактор сползал вниз, на лед. Тракторист все еще улыбался, еще не осознал всей опасности. Он включил заднюю скорость, а трактор тащило вперед, вниз. «Амба! — взглянув в пролом, ужаснулся он. Лед бугрился торосами внизу, метрах в пятнадцати.— Разобьюсь в лепешку!»

— Прыгай! Прыгай! — закричали Ганин и все, кто оказался поблизости. Мошкин, почти не сознавая, что делает, отпихнул ногой дверцу, схватился за скобу, но выпрыгнуть не успел. Трактор, оборвав трос, рухнул на лед, проломил его и ушел на дно. На льду осталась сорванная дверца, а в черной майне клокотала вода. Схватив с саней длинный с железным крючком багор, Ленков прыгнул с моста в сугроб, увяз в нем, с матерками выбрался и побежал к майне. По краю майны сползал трос. Ленков машинально ступил на него — трос замер. Из воды показалась красная, словно ошпаренная рука. Пальцы, как клешни, вцепились в трос, медленно перехватились, и Ленков потянул за трос, боясь, что руки Мошкина, потерявшие чувствительность, могут расцепиться и соскользнуть. Вот и вторая рука показалась, затем голова все в той же шапчонке, чумазое лицо с испуганно вытаращенными и часто моргающими глазами.

— Держись, Валька! Держись! Я щас! — приговаривал Ленков дрожащим от волнения голосом. Став на колени, он схватил Мошкина за воротник, подтянул ближе и, взяв под мышки, выволок из майны.

— Бегом в вагончик! — приказал Ганин, толкая парня в мокрую спину.— Бегом!

— Там, это,— отряхивая шапку о колено и брызгая ею на стоящих около майны людей, не попадая зуб на зуб, косноязычно говорил Мошкин.— Там тррр... трос не упустите!

— Беги, тебе сказано! — незлобиво выругался Ленков.— А мы как-нибудь сами сообразим,— и сам повел «утопленника» к вагончику, который тащился за санями и в котором теперь отдыхала вторая смена.

Насухо вытеревшись и переодевшись в теплое белье, натянув свитер и ватные брюки, Мошкин забрался в пуховый спальник, но все еще щелкал зубами и ждал чего-то от бригадира.

— Грелочку, Валя... грелочку под себя,— налив кипятку в грелку, сказал Ленков. Мошкин отвернулся и надул толстые губы.

— Зажал, да? Эх, ты! Друг тоже! — обиженно пробормотал он.

— Не бухти, Валя,— плеснув в колпачок спирту из неприкосновенных запасов, усмехнулся Ленков.— Грелка для подстраховки.

— А, тогда другое дело,— заулыбался Мошкин и одним махом осушил колпачок.

— А ты скупой, бригадир! — сказал Ганин, доставая свою фляжку.— На, Валентин, погрейся.

— Будешь скупым! — ответил Ленков.— Семь суток в пути... За это время всякое может случиться... Ну, что делать, братва? — разбудив отдыхающую смену, спросил он.

Ганин не вмешивался, предоставляя им решать все самим.

— Изладим мост и — дальсе,— откидывая капюшон теплой малицы, быстро отозвался ненец. Волосы его были густы, жестки, побиты легкою сединой.— Сё мозги-то студить?

Шипящих он не выговаривал, и потому слова с шипящими произносил мягко: «сё», «дальсе».

— Легко сказать, Вэль, изладим... Ладить-то не из чего,— задумчиво качнул головою Ленков.

— А это сё, не дерева́, сё ли?

На противоположном берегу раскинулся на многие километры лес, но все знали, что он заповедный. Об этом сообщалось недавно в областной и в местной газетах.

— За те деревья, Вэль, с нас головы поснимают.

— А может, по льду, братцы? — подал голос слегка захмелевший и потому особенно улыбчивый и всем довольный Мошкин.

— Снова понырять захотелось? — шлепнул его по затылку бригадир.— Поспи-ка лучше, дружище!

— Не, я пойду деревья рубить,— заупрямился Мошкин.— Я братцы, два месяца сучкорубом был. Де-енежная работенка!

— Здесь с нас за каждый сучок спросят. Штраф как минимум. А то и срок намотают...

— Рубите,— вмешался до сих пор молчавший Ганин.— Рубите. Беру ответственность на себя.

— Ну, что я вам говорил? — Мошкина вконец разобрало. Слова выговаривались с трудом, и потому он дополнял их жестами. Помахав пальцем перед шишковатым огромным носом, запел: — Дайте в руки мне то-опооор...

— Лежи, фраер! Еще лапы себе отрубишь.

— Я-то? Я два месяца сучкорубом был...

— Лежи, кому сказано! — прикрикнул бригадир, вышел, и вскоре на том берегу застучали топоры.

Ганин стоял подле вагончика и курил, снова — в который уж раз! — дивясь мужеству и выносливости этих парней. С такими людьми, как говорится, можно без страха идти в разведку. Это люди высокой пробы.

С горки скатился на лыжах Станеев. Он еще издали услышал стук топоров. «Начали... теперь их никакими силами не остановишь...» — думал он, спеша к мосту. В том, что зимник пролег рядом с заповедником, Станеев был виноват сам. Он собирался прокладывать маршрут, но головной отряд машин ушел без него: в тот день хоронили Наденьку. Надо бы подойти к рубщикам, отнять топоры, записать фамилии и дальше действовать по закону. Не только деревья, но даже кусты и травы в этом лесу неприкосновенны. Все должно остаться как было. Чтобы потомки хотя бы по этому кусочку девственной природы лет через сто увидели, какой была в семидесятых годах двадцатого века сибирская тайга.

— Это вы им разрешили? — спросил Станеев оглянувшегося на него Ганина.

— Я.

— Вы что, не знаете, что здесь теперь заповедник?

— Знаю,— спокойно ответил Ганин и отбросил щелчком сигарету.— Знаю,— повторил Ганин, сунув руки в карманы полушубка.— Но этих людей я не стану морозить... даже ради всего вашего заповедника. Ясно?

— Но вы нарушаете закон... Вы же депутат! — слабо, вяло возражал Станеев, понимая, что все, что он говорит, для Ганина пустой звук.

— Подавайте в суд... отвечу.

— И подам! И ответите! — распалившись, вдруг закричал Станеев.

Дверь вагончика распахнулась, и оттуда, минуя ступеньки, с грохотом вывалился Мошкин. В руках у него была гитара. Лежа на снегу, точно на перине, он ударил по струнам и хрипло заблажил:

В тайге сорочий смех, сорочий смех.
Снег выпал — для сорок пора забав.
А через снег — морзянкой алый след.
А по снегу хромает волкодав...

Ганин деликатно отвернулся, дав Станееву время успокоиться. Но того встряхивало от обиды, и слезы, крупные, детские, бесконечной цепочкой текли по лицу и застывали шариками на щеках, на свернутой в сторону густой бороде. Покосившись на него, Ганин отошел и начал уговаривать Мошкина:

— Вставай, Валентин! Простынешь.

— А мне не холодно, шеф! Понял? Мне не холодно! Я два месяца сучкорубом был,— куражился Мошкин и тренькал негнущимися обмороженными пальцами по струнам. Одна из струн лопнула.— А хочешь — нырну опять и трактор достану? Во! — Швырнув гитару в сугроб, он начал расстегивать шубу.— Щас достану... Мой трактор!

— Твой, твой,— согласился Ганин и затолкнул его в вагончик.— Но ты сначала поспи, потом достанешь. Вместе достанем.

— Вместе?! Ладно, шеф! Я тебе верю. Ты человек! — засыпая, бормотал Мошкин.

— Чем ваши звери лучше моих людей? — справившись с ним и закрыв вагончик на защелку, тихо, с непонятной Станееву болью, заговорил он снова.— Охраняете... они жрут в этом лесу самое лучшее мясо, дышат самым чистым воздухом, разбойничают... Мы для зверей живем или зверье для нас? Вон парень тот пьяный под лед провалился... Он что, ради удовольствия туда нырял?

— Глупости вы говорите...— сопя и сморкаясь,

угрюмо бухтел Станеев и отворачивал уплаканное замерзшее лицо.— И вы сами прекрасно знаете, что лес этот трогать запрещено.

— А я и не трону его больше. Я даже людей вам выделю для охраны... Найдутся люди... Но сейчас, поймите, особый случай...

— Глупости, глупости...— опять пробормотал Станеев и, пристыженный тем, что оказал слабость, что снова уступил силе, все умеющей объяснить, сгорбившись жалко, съехал вниз. Внизу не удержался, упал, и все это видели. Но никто не смеялся.

— Подождите! — окликнул его Ганин.— Я вас подброшу на вертолете.

Станеев не отозвался. Поднявшись, отряхнул с себя снег, надел спавшие лыжи и медленно, словно шел без отдыха много дней, пересек зимник. Скоро он скрылся за деревьями.

— Ленков! — крикнул бригадиру Ганин.— Я тебе еще нужен?

— Теперь уж сами... без вас справимся,— не глядя на него, отрывисто и глухо сказал Ленков и попросил закурить. Прикуривая, указал в ту сторону, куда вела только что проложенная Станеевым лыжня.— Юра-то — корешок мой... вместе бичевали. А я его вон как... топором по сердцу.

— Ты, оказывается, сентиментален, Ленков? — усмехнулся Ганин.— Никогда бы не подумал. Ну ладно, скажи ребятам... потом, когда все это кончится, представлю к наградам.

— А это когда-нибудь кончится? — хмыкнул Ленков и, не дождавшись ответа, отправился к своим. Едва не задев его, рухнула лиственница, приминая молодую поросль. Около другой приплясывал Вэль, делая на комле подруб. Ленков завел бензопилу и, отстранив ненца, коснулся цепью ствола.

Ганин сидел в вертолете, курил, сутулился и думал свою, только ему известную думу.

— Смотрите, волки! — закричал летчик, указывая влево. Через островок неспешно трусила волчья стая, только что расправившаяся с сохатым.— Может, пальнем?

Ганин нетерпеливо шевельнул трагически изломанными бровями, и вертолет взял курс на Лебяжий.

20

Они славно попировали и теперь, довольные собой, довольные удачей, уходили в глубину леса. А следом за ними мчался Буран. Он и хозяин уже схоронили Сану. Станеев отправился домой. Буран отстал от него и свернул в сторону.

Их было пятеро. Он увидал это, когда наискосок перебежал рям. Пятерым хищникам пес не страшен. Однако, увидав волкодава, звери перетрусили: ведь следом за ним мог появиться охотник.

Охотник не появлялся. И, отбежав подальше, они, не сговариваясь, оцепили волкодава, постепенно сужая кольцо...

— Буранушко! — кинулась к нему женщина.— Ты меня встречаешь? Какой же ты молодец!

Нет, это уже не виденье. Этот голос, эти терпкие запахи, эти руки, оглаживающие его искалеченное тело,— все, все подлинное, живое!

— Ты дрался? Ты с кем дрался, дружок? — Пес прижался к ее ноге, жалуясь и слабо, но все-таки счастливо поскуливая от того, что увидел ее и что теперь есть кому пожаловаться.— Волки?! Опять эти твари? Ненавижу! Ненавижу их! — вскрикнула женщина, и пара волков, услыхав ее яростный возглас, кинулась опрометью в лес.

Раиса достала платок и принялась перевязывать заднюю, откушенную Буранову лапу. Шарфом накрыла рваную рану на шее и повела волкодава к избушке, наговаривая ему самые ласковые, самые искренние слова.

«Мне хорошо теперь,— читалось во взгляде Бурана.— Мне покойно. Я ждал тебя и потому не умирал...»

— Я знаю, ты ждал. Ты славный, Буран! Ты очень славный парень! Как жаль, что меня не было с тобой!..

Но вот и избушка. И навстречу с фоторужьем вышел хозяин. Размахнувшись, грохнул ружьем об угол избушки, и оно рассыпалось. Станеев наклонился и долго рассматривал останки фотографического прибора, словно никогда их до этого не видел.

— Неладно что-то в Датском королевстве,— сказала Раиса, подойдя к нему вплотную. Пес отстал от нее

и теперь раскачивался метрах в пятнадцати.— Бурана волки порвали.

— А? — Хозяин нехотя оторвался от своих наблюдений, рассеянно кивнул ей, поздоровался.

— Я говорю, волки Бурана порвали.

— Где он?

Пес был уже нигде. Он перестал раскачиваться, подогнул ноги и умер.

— Вот так-то, Юрий Павлович,— склонившись над ним, проговорила Раиса.

Станеев вырыл в снегу глубокую яму, устлал яму лапником, а поверх всего Раиса положила старую шубу, в которую завернули скончавшегося Бурана.

— Ему много досталось на этом свете... Пусть хоть на том свете будет тепло,— прощаясь с волкодавом, сказала Раиса и, как на могилу близкого человека, бросила ком снега.

А когда могилу зарыли, эти двое долго еще стояли около могилы и молчали.

21

— Суп на плитке,— сказал Станеев, опоясываясь патронташем.— Разогреешь сама... мне нужно отлучиться.

— Надолго?

— Не знаю. Но ты без меня не уходи. Ладно?

— Хорошо,— кивнула Раиса и тронула его за бороду.— Ты сильно поседел, Юрий Павлович.

— Мне тридцать шесть, Рая.

— А мне уже сорок три. Старая, правда?

— Я бы не дал тебе столько.— Станеев снял с гвоздя ружье, зарядил его и по привычке посмотрел в угол. Там должен был лежать Буран. А Бурана не было ни в углу, ни в этой жизни. И подружки его не было, и Фильки...

«Сорок три...— прислушиваясь к стихающим его шагам, думала Раиса.— Это глупо рожать в мои годы... Но я рожу!»

Наверно, следовало сказать об этом Станееву, но на его плечи слишком много всего свалилось. Боль близких Юра считает своей болью. Степа, Сима, Илья, Витька... А самое страшное — гибель Наденьки... Станеев ни разу о ней не обмолвился, но эта седина в бороде и в

волосах пробилась не случайно. Наденька была его любимицей...

«Я рожу ему... я рожу» — улыбаясь сквозь слезы, твердила Раиса, вслушиваясь, как толкается в ее животе ребенок. Ей стало душно в избушке, и, накинув на плечи шубу, Раиса вышла. Ни звука в лесу, тишина мертвая. Теперь уже не гаркнет Буран, не затявкает Сана. Тишина...

С кедра осыпался куржак, высеребрив мощные, гривастые Раисины волосы. На плечо упал какой-то зверек. Раиса от неожиданности вскрикнула, рывком сдернув с себя белку. Пробежав по снегу, белочка молнией метнулась на старый кедр и застрекотала.

— Ай-я-яй! Как же ты меня напугала, плутовка! — рассмеялась Раиса и, разыскав в избушке орехи, насыпала в кормушку.— Прости, я не хотела тебя обидеть.

На осинке, которую Станеев скрещивал не то с тополем, не то еще с каким-то деревом, желтел единственный листок. «Вот упадет он, и будет осинка голая... Голая, но живая! Весной зеленые свечечки на ней зажгутся»,— думала Раиса и вслушивалась в ту неизвестную жизнь, которую несла в себе. Та жизнь, человечек, дорогой и незнакомый, бил и ручками и ножками и просился на волю. Теперь его нужно беречь и беречься самой...

— Давай, белка, и ты рожай! Нечего отлынивать,— сказала Раиса.

Белочка, разгрызавшая орех, повела на нее бисерным глазом, вызволила из скорлупы ядрышко и вдруг метнулась в гущу ветвей. Ее напугал дальний выстрел. Белка спряталась и настороженно высматривала того, кто посмел нарушить заповедную тишину. Вслед за первым раздался еще один выстрел, потом еще, еще... и все смолкло.

— Это там,— пояснила Раиса.— Это Юра наводит порядок. Ешь, не бойся.

Но белка уже не доверяла тишине, забралась еще выше, перемахнула на соседнее дерево и скоро потерялась из виду. Огромные, стремительные, как время, тучи неслись над лесом, а ветер подталкивал их: «Скорее! Скорее!», сердился, визжал, злобствовал и мчал неизвестно куда. Под тучами, под хмурым этим небом жили люди и звери. По-разному жили: разумно и не-

разумно. И происходило много разных событий. В общем, текла обыкновенная жизнь, в которой большинство людей стремилось к добру и справедливости.

Раиса вошла в избушку и снова слушала своего ребенка. Из лесу на опушку медленно выбрел Станеев, обмел голиком ноги и вошел в избу.

— Жить будем,— сказала Раиса, стряхивая с него снег.— И не воображай, пожалуйста, что ты один. Нас уже трое...

1979 г.

Рассказы, очерки

Элигий Ставский
ИСТОКИ ЭНЕРГИИ

Илья Фоняков
ВЫШКИ И ФАКЕЛЫ

Михаил Заплатин
ТАЙНЫ ПРЕДРАССВЕТНОЙ ТАЙГИ

Евгений Богданов
ПОРТ НАЗНАЧЕНИЯ

Валерий Осипов
ПРОЦЕНТ УДАЧИ

ДНЕВНИК ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ

Элигий Ставский

Истоки энергии

Кто может сказать, как надо писать о Тюмени?..

...Была зима, как раз самая ее середина, когда и без того холодная северная земля спит особенно вьюжно, заморно. Вот уж верно — край света. Будто и нет здесь ни рек, ни озер, ни знаменитых болот, на которые улеглось бы сразу чуть ли не пол-Европы, все выморожено до хрупкости и так подметено ветром, что, кажется, лишь по наивным письменам куропаток можно вычитать, что где-то еще здесь осталась, прячется жизнь. В такую вот именно пору, оборачивая себя километрами, я и пытался ответить на собственный вопрос, что может поведать о жизни, что может сказать о времени и народе нынешнее движение страны в этот дикий и трудный, затерянный за Уралом угол России, я хотел открыть для себя, нет, не экономический, не хозяйственный, а сокровенный нравственный смысл того, что сейчас являет собой еще совсем недавно мало кому известная Тюмень, то ли город, то ли станция, то ли по привычке оставленный на карте кружок.

Низкое ржавое солнце обстругивало стволы невысоких, но старых сосен, какими-то чересчур густыми синими тенями резало неправдоподобно чистый, искрящийся покров, радужно, жирно играло на странно черной, как пропасть среди белой равнины, дороге, которая ошалело и одиноко летела куда-то в синеву тайги, и студеный прозрачный воздух слепяще сиял неземной, пустой желтизной. Ни жилья, ни дымка, ни голоса.

Что же, что находит для себя человек в этом холодном просторе? Я повторю, я скажу снова: *для себя*. Какая сила может удерживать его среди этой зевоты

болот? Ведь он же свободен! Почему, глотнув этого сверкания, опомнившись, не схватит пожитки, не убежит в сады, в нагретую гладь истоптанных лестниц, а бурит, обустраивает эту землю и готов даже спать всего лишь под парусиной палатки и варить себе обед на костре или паяльной лампе? Как это понять? Нет, закопанные здесь природой драгоценные газ и нефть сами по себе еще ничего не могут объяснить в человеке, даже если этот погреб с энергией оказался бездонным. А ведь оказался!

Ах, как бело... Бело до цинкового блеска...

Перед стеклом нашего проворного, под цвет горчицы, «газика» давно уже катил, покачиваясь, большой грузовик, который тащил на себе две непомерно длинные, диаметром метра по полтора стальные трубы. Мы, как ни старались, не могли обойти эту громоздкую, заслонявшую горизонт махину, прямо перед глазами два жерла, в которые можно было видеть серо-голубоватую северную сторону неба и время от времени пушистые, покрытые снегом верхушки деревьев, то пропадавшие куда-то, то возникавшие вновь. И оттого, что в эти трубы невольно приходилось смотреть, они вдруг представились мне гигантским биноклем, словно бы приспособленным, чтобы видеть не только то, что закрыто морозным туманом и расстоянием, но и временем тоже.

Однако сначала я поглядывал то вправо, то влево, стараясь уловить приметы новой для меня, суровой земли, вобрать в память, а то даже и принять душой непривычные мне картины скупой и хрупкой этой природы. Я заметил, что краски здесь разложены по-другому, не так, как у нас в средней полосе, где всего густо, а потому слишком много всевозможных штрихов, деталей, подробностей. Здесь же не так разноцветно, не так пестро, переходы здесь не размыты, предметы подчеркнуто обнажены и, самое главное, вокруг нет запутанных линий, и не это ли вселяет ощущение какой-то внутренней свободы. Все ясно и понятно, любой открывающийся вид — прежде всего синева воздуха, простор, бытие самого пространства, а все остальное уже только штрихи, которые лишь подчеркивают эту первородную, вечную бескрайность и земли и неба. Если два человека стоят здесь рядом, это значит, что они должны быть едины, потому что вдвоем они сильнее. Если среди этой

белой равнины сыщется обогретый дом, он, само собой разумеется, будет убежищем для любого. Неожиданно я поймал себя на мысли, что нахожусь не просто среди природы, а в северном храме ее, погруженном в величавое молчание, в самосозерцание, и потому-то все так искристо и так покойно, все высоко, все постижимо и обращено прямо к душе, которая здесь может услышать сама себя. Тишина этой равнины тоже ведь так естественна, потому и не пугает, не настораживает. Неподвижная равнина вовсе не мертва, она ощутимо дышит, что-то сулит, куда-то зовет, кажется. А что если этот тянущий вдаль олений простор способен одарить человека мыслью о собственной бесконечности, напоить новой верой в себя, а потому и наполнить новой силой? Может быть, эта хрустящая равнина, раскрытая, как чистый лист, сама собой призывает к действию, к труду? Может быть, погружение в Север очищает, рождает не только зоркость, а мудрую пристальность, тем и притягивает? И, поглядывая по сторонам, уже привыкая к игре голубого света, я подумал, что дикий необозримый Север, возможно, способен кого-то лишь поразить, ошарашить и отпугнуть, а кого-то даже завлечь, приманить своей трудной, но понятной и открытой простотой, мужественной ясностью своих линий. Для всех ведь мороз одинаков, но кто-то уедет, а кто-то останется. И Север, значит, есть испытание в каждом не физических сил, а чего-то составляющего самую суть человека, стержень личности и характера, чего-то самого чувствительного и важного, что питает человека энергией и в конце концов управляет его поступками, им самим, высвечивает его натуру многими и самыми разными оттенками. Да, конечно же, Север — есть проба вовсе не тела. Но тогда чего же в человеке?

Так, может быть, это дисциплинированный разум позволяет человеку забыть о самом обычном уюте, выдерживать шквалистый сквозняк этой равнины, терпеть то железные, то липкие объятия болот?

Ах, как широко вокруг! Как просторно! Как звонко! Словно давным-давно ударил в небе гигантский колокол, и глубокий, могучий звук его, осыпавшись, сделался этим снегом, этими синими, округлыми, накинутыми на кусты сугробами, этим разлегшимся на соснах нетронутым пухом...

Колко искрился снег. Упорно тянул непосильную, шаткую ношу свою, раскачивался и сипел неудержимый грузовик, мелькали за стеклом уже другие березы, впрочем такие же хилые, удивительно тощенькие, иззябшие, слабые, на каких только соках выросшие, сколько же нужно такому маленькому отважному бойцу, чтобы подняться к небу всего-то на какой-то сантиметр, а ведь вполне возможно, что целый год; пронеслись, порхая как бабочки, две вспугнутые белые куропатки, озарив этот простор ярким, теплым трепетом жизни, и по-прежнему единственным, что было нарисовано на полотне этой бесконечной равнины рукой человека, была эта сверхсовременная, сверхнадежная дорога, такая ровная, что казалась она цельной, развернутой на снегу лентой. Не вообразить даже, сколько труда вобрала в себя эта стелющаяся по болотам гладкая дорога.

Но может ли она, не скажу — открыть, а пусть приоткрыть, что-то сообщить о человеке, который делал ее, грелся у костров, о том, что он чувствовал, о чем размышлял, чему радовался, о чем горевал, а теперь ушел неизвестно куда, может быть, дальше в тайгу, а может быть, уехал к себе куда-нибудь на Орловщину или к теплому Азовскому морю? Само собой, что промерзшая эта дорога молчит, хотя, конечно, в какой-то мере способна наверняка стать собеседником инженера-строителя или, к примеру, чужого, из-за дальнего моря газетчика, давным-давно взявшегося открыть природу нашей энергии, а потому-то на исходе XX века и кажется ему особенно важным, чуть ли не главным, витающий здесь запах нефти, и вот запихивает в свой объектив заснеженные буровые, тесные общежития, прилавки магазинов в Сургуте и вообще ведет свой диалог о непонятной ему энергии целого народа почему-то вот именно с предметами. И уже совсем между прочим: дорога ничего бы не смогла объяснить даже в том случае, если бы лежала вся в буграх и ямах и петляла бы как ей самой вздумалось. Ведь именно по таким дорогам и ходили некогда наши деды и прадеды, передавшие и нам энергию духа...

Зато, правда, идеальное это, лежащее на болотах и уже этим невероятное шоссе может сказать очень много о *времени*. А еще точнее и прозаичнее: о времени и мускулах человека. Вот, оказывается, что способен смастерить человек, что стало в наши дни возможно, доступно

его *рукам*, да, его рукам в эпоху, когда снаряжены спутники, прощупывающие нашу землю насквозь, когда уже не удивительна мгновенная реакция счетных машин, и превратился в нечто обычное, даже обычнее самовара, диковинный совсем недавно вертолет, таскающий по небу асфальт, железо, тяжелые машины. Сама по себе дорога к нефти, глубоко припрятанной под трясиной, есть главным образом деталь времени, продукт технической революции, но вот к нравственной характеристике общества отношения, можно признать, в общем не имеет, и я не узна́ю, о чем думал, размышлял строивший ее человек. А может быть, этот строитель умел своим разумом просто-напросто заглядывать в будущее, и картина, которую он воображал себе, стоя на лютом ветру, его и согревала, удерживала здесь, ободряла, давала силу его духу? Ведь способен же пыл, жар воображения при нашей натуре создавать не только воздушные маниловские мосты, но и металлические лаборатории, которые живут даже над воздухом, в космосе?!

Мы ехали уже долго, но рыжее, мохнатое солнце, не поднимаясь, по-прежнему висело прямо в окне машины. Откинувшись на спинку сиденья, я тоже погрузился в мечтания и, глянув сквозь морозную мутноватую синь невысокого здешнего неба в тот самый бинокль, сложенный из двух труб, предназначенных то ли для нефти, то ли для газопровода, тоже увидел за горизонтом густо заштрихованное проводами, безбрежное, вот именно в пол-Европы, ослепившее и меня царство электричества, стеклянную и шумную, наполненную движением и голосами молодую страну электричества. Бежали из раскопанного Урала вагонетки с дорогой рудой, и под прозрачными крышами зрел фантастический разноцветный урожай. И все это на том, не принадлежавшем прежде человеку пространстве, где хлюпали болота, испаряя, рождая кошмарные тучи гнуса, и гнили упавшие, изжеванные сыростью деревья. Увидел я и перевитые и распрямлявшиеся кольца других дорог, пестрых от бесконечных цепочек автомобилей, и над синим рубцом глухариной тайги высокие стены удобных современных городов, где было, конечно, все, что может придумать себе человек: и театры, и бассейны, и бесшумные лифты в гостиницах, и хорошие магазины, и чистые тротуары, и сосновые аллеи у подъездов.

Я вообразил эту совсем несказочную картину, увидел ее перед глазами, а потом попробовал прочувствовать ее в себе, как бы войти в нее, чтобы проанализировать свои ощущения.

Да, это правда, что созданная воображением картина довольно близкого будущего Тюменского Севера способна и согреть и захватить. Но есть, существует, однако, еще и другая правда, которую тоже надо признать: ведь ровным счетом в наше время ничего не стоит махнуть в ближайший аэропорт и купить билет в сегодняшний день. Нужно и всего-то каких-нибудь два-три часа, чтобы добраться до уже построенных, реальных оранжерей и городов, современных, обжитых и понятных, рассеивающих вокруг реальное тепло и ритм самой обычной жизни. Такие города наросли повсюду: и на западе, и на юге, и в безлюдной недавно Сибири. А потому так ли уж нужно гоняться за жар-птицей?..

Грузовик с трубами теперь уже казался мне принадлежностью самой этой дороги.

...Так вот, способен ли наш рассудок опровергнуть ртутный столбик, опустившийся до 45 градусов? Может ли? А способен ли рассудок самым серьезным образом поверить, что палатка, чернеющая на снегу, сделана вовсе не из тонкой парусины, что печь, даже если ее не топить, все равно греет, что февральский ветер, который сбивает с ног, это радостное прикосновение близкой весны? В таком случае, будет ли этот рассудок рассудком? Вот как ответить на эти вопросы?

Великое чудо природы — отшлифованный, проверенный веками человеческий мозг! Какой виртуозный это механизм, выручающий нас, способный решить самую головоломную, поставленную перед ним задачу. Все это верно. Но вот ведь неожиданная и удивительная сложность: а какую *именно* задачу, каким таким образом очутившуюся в мозгу, с помощью чего выбранную? Ведь, кажется, что куда как разумно бояться сквозняков, спать на удобной кровати и есть по утрам геркулес. Так нет же! Жива Тюмень! Дает нам и нефть и газ! Вот и выходит, что разум еще надо намагнитить, чтобы он, подобно компасу, приобрел смысл, был сориентирован на какую-то определенную цель. Но чем намагнитить? Чт́о он в нас, этот магнит, определяющий наш жизненный выбор и, значит, нашу суть?

Вдали на обочине что-то чернело. Через минуту мы увидели, что это были две трубы, вероятно, сползшие с какого-то другого грузовика. Наш мчался дальше. Как же эти трубы теперь поднять и уложить?

Мысли здесь сами собой обегали вокруг земли — ох, как, оказывается, далеко видно, во все четыре стороны света с этой, ныне согревающей нас равнины Тюменского Севера — и незаметно для себя я перенесся вдруг совсем в другие края, отстоящие отсюда на многие тысячи километров. Возникли плавные, обсаженные орехами и яблонями, разомлевшие от тепла дороги Закарпатья. Закружились на горах дубовые и буковые леса, и ветер был наполнен их шелестом, потянулись зелеными полосами нагретые солнцем виноградники, и повеяло словно вечным благостным покоем от спрятанных в садах домиков, от приветливых окон, затененных высокими мальвами. И тут же свежо, почти явственно пахнуло на меня чабрецом далекой, всегда разноцветной и богатой ставропольской степи, расстелившейся у прозрачного, неторопливого Маныча, который сверкал тростником и был звучным от птиц. Ласков там воздух... Чего же еще искать человеку?

Ах, как скользко вокруг! Как бесконечно и неподвижно. И эти сизые сосны, и этот разостланный по болотам снег — все здесь словно застыло в каком-то таинственном ожидании. Сколько же, оказывается, есть еще у людей неухоженной земли.

Возник и повис над нами, над всей остроконечной тайгой слепящий шум вертолета, перетаскивающего по небу железную и, очевидно, неимоверно тяжелую паутину какой-то арматуры. Он тащился как будто неуправляемый. Хватит ли у него силы, чтобы не упасть с этой рискованной ношей? Я смотрю на него, и мне уже не вернуть запах степи и Маныча.

Внезапно справа, когда оборвалась цепочка сосен, четкая на фоне этого белого ликования, промелькнула стоящая возле трактора, окрашенного в оранжевый цвет, фигура человека. Она была наверняка не огромная, самая обычная, и, видимо, это одежда делала ее монументальной. Большая серая шапка с опущенными ушами, затуманенное паром от дыхания розовое, почти красное, лицо, такое обветренное, будто твердое. Ватник, казалось, был толще обычного, отчего висящие

вдоль туловища руки словно были согнуты в локтях, как бы находясь в движении, круглые ноги-опоры в отороченных мехом унтах были поставлены как-то особенно крепко, надежно. Он тоже смотрел в небо, на карабкавшийся там вертолет. Кто был этот человек: тракторист, монтажник, врач? Откуда: из Москвы, из Белоруссии, из Башкирии? Где жил сейчас: в Сургуте или где-то в передвижном поселке, в домике на колесах? Но самое-то главное, что по-прежнему одолевало меня, какой правдой, какой внутренней энергией держался здесь и чем здесь он наполнял душу? Крепкая, подобная памятнику фигура на краю дороги мелькнула, тут же исчезла, но так и осталась перед моими глазами, как самое важное свидетельство жизни этой равнины.

— Видать, приехал за теми трубами,— глобально зевнув, сказал шофер.

Сколько ни надрывался вертолет, он точно не двигался с места, висел в одной точке и все более казался беспомощным.

Но вот еще одна мысль, только слишком уж надежная и открытая, чересчур уж как будто верная, которую до сих пор я откладывал и откладывал. Деньги! И все ими объяснено, все совершенно просто. Ну конечно же, вечные деньги! Один греется на этом снегу мечтой о собственном автомобиле, который он привезет отсюда; другой окунулся в Тюмень потому, что ему нужно как можно скорей накопить на кооператив, а то и на домик с верандой; еще кто-то подписал договор, решив и всего-то обзавестись толстой чековой книжкой, чтобы потом пофорсить в родных местах, приодеться, посидеть, развалившись за столиками с видом на море. Между прочим, в реальности есть и тот, и другой, и третий. И тот, и другой, и третий найдутся почти повсюду на Севере. Но деньги все же — не мерка для всех. К тому же не платят в Тюмени баснословных денег, не раздают горстями, а те, что платят,— вот уж не даром. Да и кто сейчас, если порассуждать, кто во всей нашей громадной стране голоден, у кого не найдется праздничной рубашки, и где теперь, если говорить до конца, в каком краю теперь нельзя заработать, и заработать прилично, здоровому, сильному, готовому потрудиться человеку? А задует тюменский, просверливающий насквозь ветер, а зависнет, накинется гнус, способный довести человека

до звериного отчаяния, до беспомощной и обреченной жалости к себе,— так нужен будет этот сияющий, как мираж, автомобиль, этот плывущий между сосен кусочек лакированного железа? Нет, эти деньги, пусть и солидные, очень и очень дороги, чтобы на них обменивать целые годы, чтобы с их помощью можно было что-то объяснить и понять, когда видишь сегодняшнюю Тюмень. Северный этот ветер быстро выдернет всех, кто источил свою душу любовью к себе одному, и не прорасти там корыстному, завистливому, просто пустому. Что-то особенно драгоценное надлежит найти в себе человеку, чтобы ощутить причастность к этой земле, чтобы врасти в нее.

Как напряженно и чисто, не марко, не мелко разукрашена этим солнцем и стужей даль: еще день, до вечера далеко, а тайга уже почернела, и на снегу рядом с бледно-желтым откуда-то появился даже сиреневый цвет, но тоже необычный, такой изнутри светящийся, и лежал он длинными ровными линиями. Может быть, стал сильнее забирать мороз...

* *
*

На этом я обрываю свой рассказ о синей равнине Севера, о своей дороге по замерзшим болотам следом за несущимися куда-то громадными трубами и под стрекочущим металлическим ливнем тяжело и опасно зависшего над тайгой вертолета. Теперь, когда прошло время и в маленькой псковской деревушке, слыша, как бьет по стеклу осень, пишу о судьбе далекой звенящей равнины, я вспоминаю молодой, азартный голос совершенно случайно встретившегося мне в пути человека — Валентина Степановича Антонюка, главного инженера строительно-монтажного поезда № 329. Вот он-то, сам не подозревая того, и помог мне вглядеться в Тюмень, помог приблизиться к разгадке поразительного, могучего, но и трогательного источника той, кажется, необъяснимой энергии, которая как раз и будила, приводила в движение всю эту нефтеносную равнину. И, что в данной ситуации примечательно и важно, был этот двадцатидевятилетний инженер родом не отсюда и даже не из близких к Тюмени мест, а ухнул на Север из теплой, богатой Молдавии.

Сейчас, поглядев вслед промчавшейся оленьей упряжке, вытащив ноги из сугроба, я войду в его дом, где в прихожей, заменяя холодильник, стоит фанерный ящик со снегом, но перед этим небольшое отступление.

Как все же надо писать о Тюмени? Мне-то кажется, что в краткой летописи нашей страны, которая выйдет когда-нибудь в будущем, наши потомки отметят вторую половину XX века двумя самыми главными событиями: Космос и Тюмень. Почему я так думаю? Конечно, Тюмень — это необходимые государству и ставшие уже редкостью во всем мире нефть и газ. Бесспорно. Но вижу еще и другое. С позиций исторических, выходящих за рамки одной нашей эпохи, еще важнее, что Тюмень — это новая, открытая нашими современниками земля, которая никогда прежде человеку не принадлежала и *не могла* принадлежать. Подобно тому, что произошло в космосе, Тюмень — это тоже раздвинувшиеся границы жизни. В семидесятые годы XX века страна наша навсегда стала больше, просторнее. Что же может произойти значительнее того, чем то, что жизнь шагнула за прежние свои пределы! И вот именно под этим углом зрения я и смотрю сегодня *на все*, что вершится теперь среди тех бесконечных болот, и *на всех*, кто с чемоданом или рюкзаком приезжает, прилетает в Сургут, на Ямал или в Надым, *на всех*, кому доверен вертолет или вездеход, многометровый бур или малярная кисть, кухня на котлопункте или палата в родильном доме.

Вот, к примеру, если на знаменитой буровой есть славный малый, отличный слесарь, да не просто хороший, а отличный, который цепко держится за эту нетронутую тайгу только потому, что «где еще такая охота, глухарей нетрудно сшибать сотнями, а из рек и озер можно мешками таскать отменную, даже редкостную рыбу», то не представляет ли собой подобный, любимый фоторепортерами работник силу для Тюмени, для жизни невероятно разрушительную, губительную, а вовсе не созидательную, как можно подумать, если смотреть только на тонны нефти.

Или, допустим, кто-то на трассе на жесточайшем морозе починил свой трактор, не убежал, не бросил. Что можно сказать о нем? А то, что этот кто-то обладает волей и выдержкой и что он, как говорят на Псковщине, человек рукастый. Но это и все. А при чем здесь

Тюмень? Разве сам по себе этот факт объясняет внутренние мотивы поведения человека, *его внутреннюю, не случайную, не временную связь со всем тем, что свершается здесь*. Вот что самое важное.

Мне рассказывали о некоторых крупных директорах, геологах и ученых, которые, прослышав о лаврах за тюменскую нефть, делали все возможное и невозможное, чтобы заслонить один другого. Но что из этого? Опять же, при чем здесь Тюмень? Каким образом подобная и весьма древняя, весьма мелкая человеческая слабость поможет открыть характерный для Тюмени, возможный там нравственный тип? Ведь Тюмень есть событие необычное, чрезвычайное, новое!

Конечно же, конечно, человек проявляется в поступках. Но сам-то поступок все же обусловлен, продиктован вовсе не одними лишь обстоятельствами... Каких все же людей отбирает для себя Север, хочу я понять.

Больше тысячи километров уже проехал по этому раскрытому краю перед тем, как встретить Антонюка. И кое-что видел. Но что я понял? Что сумел не просто видеть, а увидеть? Вот был на буровой. Поднимался наверх по скользким металлическим лестницам, стоял возле вертящегося бура, а потом и возле громадных моторов. Но что я понял, кроме того, что буровая — целый завод среди белой, холодной, открытой любому ветру равнины? Стоило ли так далеко хлебать киселя, чтобы узнать это? Был в общежитиях, видел чистенькие, с книжными стеллажами комнаты, цветы на подоконниках и видел неопрятно убранные кровати и стены, увешанные глянцевыми обложками, с которых улыбались глянцевые, с. длинными ресницами красули, не замечавшие ни грязных консервных банок на столе, ни окурков в углах. И понял я, что это действительно общежития... Залетел даже, мне казалось, «на кулички», в трассовый передвижной поселок Ягун, которому предстояло дней через десять свернуться и перебраться километров на пятьдесят дальше. Поселок этот — полигон для сборки опор высоковольтных линий. И вполне прилежно, как школьник, в большой свой блокнот с надписью «Всесоюзная творческая конференция писателей и критиков. Тюмень, январь 1978 г.» я записал, что там пять бригад, что работают они на воздухе, и это, конечно же, труд не из легких. Меня отвели в котло-

пункт отогреться и пообедать, и я был удивлен тем, что столики очень чистые, а цены низкие — ведь это среди глухой тайги, и попробуй-ка покорми эти пять бригад. Возле котлопункта к моим ногам бросился веселый пушистый комок — щенок, которого звали Пацан. Неизвестно для чего, и меню я деловито, аккуратно занес в свой красный памятный блокнот. И, возможно, записал бы я еще, что суп на Тюменском Севере едят ложками, что яичницу жарят на сковороде и огонь зажигают спичкой, но меня сорвал с места невероятный, разносящий все вокруг рев вертолета...

Вот, оказывается, что перетаскивал над тайгой тот вертолет, который я видел из теплого, мчащегося следом за трубами «газика» — это были детали опор. Сейчас не мог улететь громадный Ми-6, поднявший с земли целую связку железа. Потом мне сказали: 4 тонны. Эти тонны, не унимаясь, раскачивались в воздухе, тянули вертолет вниз и не давали ему сдвинуться с места. Под машиной бушевал ураган, не убегали, а точно летели, пригнув головы, зажав рукавицами уши, люди, которые, вероятно, и подцепили этот груз к вертолету. Что случилось, что происходило вверху, что произойдет через секунду, что мешало летчику совладать с тяжестью?

Еще один, теперь как агония, приступ яростного, бессильного рева, еще несколько метров в сторону, но еще больше раскачалась связка железа, и вертолет неудержимо потянуло сюда, к домикам. Кто-то остановился, кто-то размахивал руками, Пацан завертелся на снегу, и его понесло, как бумажку, шофер стоявшего возле котлопункта грузовика прыгнул на подножку и спрятался в кабине, задребезжало стекло, и все вокруг завертелось, скрылось, подхваченное белым смерчем... Неожиданно рев в небе стал ровным, почти монотонным гулом. И когда завеса снега немного рассеялась, открылось небо и стал виден удалявшийся от поселка вертолет с грузом. Откуда ни возьмись, чихающий от волнения, все такой же приветливый, снова появился Пацан.

— Попер! — высунувшись из кабины, во весь голос крикнул шофер грузовика.

...Видел я и завьюженные, словно брошенные аэродромы и, словно по обязанности, буднично уткнувшихся в телевизоры необыкновенных, привыкших ко всему северных пассажиров. Нигде на свете нельзя встретить

таких разных и лицами, и одеждой, и поведением людей, как в аэропортах Тюменского края! Кто по-городскому бледен, кто обветрен и оброс щетиной, кто до сияния анодирован южным солнцем. Кто в туфлях, кто в обычных валенках, кто в нарядных, мягких, удобных пимах,— и каких только нет унт! Кто с тощеньким вещевым мешком, кто с ящиками, кто с плоским репортерским магнитофоном на плече, кто даже с лакированным заграничным чемоданом, кто просто с портфелем, а кто и с грудным младенцем на руках. Нет обычной суеты, беготни, потерявшихся, опоздавших. Кто по-северному собран и спокоен, кто мрачно взращивает в себе таинственную неизвестность, кто наигрывает удаль, кто по-мальчишески непоседлив и любопытен, кто — за километр ясно—неприступен и повидал еще не такое, как эта пурга, кто вообще плевать хотел на все превратности жизни и готов ждать погоды и самолета хоть до весны. В киосках газеты, журналы, чулки, сухие лечебные травы, значки, авторучки, зубная паста, безделушки из кости и разрисованного дерева...

Так что же могут сказать о Тюмени, что могут открыть нового эти наблюдения? Пока, должен признаться, ничего. Вот в чем и дело.

Созданные невероятно тяжелым трудом города и дороги среди болот и тайги, неодолимое движение жизни все дальше на север Тюменского края — есть во всем своем историческом масштабе *подвиг народный*, и, значит, он — сумма объединенных усилий, он сложен из нравственных, именно из нравственных, каждодневных, внешне незаметных устремлений миллионов людей, воспламененных общей целью. Вот как раз поэтому куда более важным, чем эффектные динамические новеллы о происшествиях, авариях и тому подобное, мне в данном случае показался как будто ничего не значащий, обыкновенный разговор за кухонным столом главного инженера монтажного поезда № 329.

Было это в серебристом, затуманенном стужей, отчего дома словно парили среди деревьев, поселке Ноябрьском, который не отыскать ни на одной карте, потому что он временный, поставленный возле строящейся железной дороги. Важная в наше десятилетие подробность: лес в Ноябрьском не то что не вырублен, а не тронут, хотя это не просто, и прежде, как правило, такие

поселки были для тайги подобны огню. И какой это лес: одноэтажные деревянные домики посажены между ажурных лиственниц, елей, сосен, пихты. Я все еще ощущал в себе шум и вибрацию вертолета, ноги словно отвыкли от ходьбы, и мне хотелось поскорей оказаться под какой-нибудь крышей, чтобы опомниться от пути, от все еще бежавшей перед глазами бесконечной пустой тайги, вьющихся и тоже безлюдных рек.

Я брел по улицам-тропинкам Ноябрьского, не совсем понимая, что именно хочу здесь узнать, увидеть. Меня лишь подивили, заставили улыбнуться попадавшиеся под ноги невероятно ослепительные на этом снегу яркие оранжевые пятнышки — мандариновые корки, словно теплые, живые, чуть ли не двигавшиеся. Даже острый и свежий лесной воздух не был уже чем-то особенным, даже старый-престарый, одиноко стоявший у дома под красным флагом экзотический, закутанный в шкуры ханты тоже был точно давним знакомым, так же, как его понурые олени, погруженные не в эту — в прежнюю дикую жизнь,— я все это уже видел, и главный инженер, которого мы нашли на работе, в его прокуренном, с открытым окном кабинете, показался мне человеком ну уж очень обычным, неизвестно почему настороженным и, попросту говоря, пресным. Впрочем, и его можно было понять: у него свои дела. Антонюк повел нас к себе, чтобы угостить чаем, сообщив, что его жена сейчас в командировке, а потому и переночевать можно у него, если захотим, а не в гостинице. Я подумал: зачем мы здесь? Стоило ли... а если застрянем?

По длинному серому коридору, изрешеченному дверьми справа и слева, разносился бесконечный монолог радистки: «Стекло, стекло! Стекло-один! Прием!.. Стекло, стекло!.. Прием...»

— Из Тарко-Сале должен прийти Ан-2, чтобы забрать вас,— на ходу сказал Антонюк,— но сперва не давали по метеосводке, а теперь никак не связаться. Наверное, у них отключили свет.— Был он выше среднего роста, пружинистый, плечи прямые, походка размашистая, руки большие, лицо открытое, но взгляд как будто вялый, и говорил как-то глухо, невыразительно. (Однако так ли уж важен его портрет?) — Телефонная связь у нас пока отсутствует...— и вдруг улыбнулся, просто, спокойно.— Ничего, улетите.

Когда, похрустев по снегу, мы пришагали к нему, меня снова заинтересовал вовсе не он, а этот стандартный, складной, на редкость теплый дом, темнеющие окна которого закрывали пушистые белые ветви. Я такого дома еще не видел, огляделся и почему-то ощутил в себе если не лень, то какую-то глухую расслабленность, как вечером после долгого-долгого дня. По-городскому здесь. Смотри-ка, пожалуйста: и тебе центральное отопление, и газ, и уборная, и тебе ванна, и горячая вода, и, само собой, развеселое электричество. Тайга же вокруг, глухая тайга. А вот — работай, живи! Но почему же я так удивляюсь этому? Может быть, вспомнил палатки среди сугробов, доски вместо кроватей. Тюмени известно и это... Не застрять бы действительно на неделю-другую.

Я подпер голову рукой и различил какой-то удручающе размеренный, потусторонний стук своих часов. Ох, как черна, как бесконечна была толпившаяся вокруг этого ярко освещенного стола, вокруг этих домашних запахов тайга, на весь мир снег и тайга. Как сухо, напряженно тикали часы...

Так о чем все же он говорил, когда, невольно переглянувшись и вдруг рассмеявшись, мы одновременно воткнули вилки в вяленого му́ксуна? Если бы, вздохнув, он принялся между прочим рассказывать о своих подвигах, о стройматериалах, о рельсах, о нехватке рабочих, я бы наверняка перепутал все его графики и слова; если бы, поддавшись минуте, он стал келейно философствовать о своей зарплате, я бы понял, что знаю его наперед, что уже не однажды слышал его; если бы он, почесывая затылок, преодолевая смущение, доверительно сообщил о модно сшитых японских пиджаках под кожу, которые можно купить, нет, устроить, здесь, в магазине, я бы убедился, что никуда не улетал и не был ни в какой командировке; если бы, похаживая, покуривая, он взялся вполне серьезно втолковывать мне про мудрую пользу нефти, я бы нашел способ как-то встать, чтобы выспаться перед завтрашним еще непонятным днем... Но он, отодвинув свою тарелку, все больше наклоняясь ко мне, пытаясь что-то увидеть в моих глазах, громко сказал, вернее, он произнес:

— ...не жить... как на Северном Урале! Почему?..

Помню, меня заставил поднять голову и встряхнуть-

ся его голос, внезапно сочный, напористый, новый. Я слушал его через завесу каких-то своих забот, пропустил эту перемену в нем, а потому не понял его мысли. «...жить, как на Северном Урале...» Он смотрел на меня, а я, как мальчишка, застигнутый на уроке врасплох, пытался механически восстановить в памяти его последнюю фразу. «Почему бы не жить здесь, например, как на Северном Урале?» Но что же такого особенного он сказал? Ведь, кажется, ничего. Тогда что означал этот порыв, этот неожиданный темперамент? «Ведь живут себе люди на Северном Урале давно уже...»

— Правда же? Так? — снова спрашивал он, наклоняясь.— Не бегут ведь, привыкли. А чем здесь хуже? Воздух, лес, рыба, ягоды... Да ничем, ничем. Вот поверьте. Посмотрите сами, как здесь здорово!..

Я заметил, что и глаза у него тоже переменились. Теперь они были искристые, сузившиеся и напористые, с накалом. Это был уж другой Валентин Степанович Антонюк — азартный и угловатый.

— Кто, кто,— все продолжал горячо доказывать он,— ну кто может сказать, на сколько здесь нефти? На век?

Я кивнул потому, что невольно подчинился его запалу.

— Вот!.. Да дело не в этом,— настойчиво, искренно убеждал он, успевая подкручивать конфорки.— И железная дорога здесь не для этого. Ну то есть не только для этого, хочу я сказать,— он словно торопился выложить мне все это, можно было подумать, для этого и позвал, для этого и нарезал единственного, далеко припрятанного (не от себя ли?) муксуна.— Места эти такие же пригодные для жилья, как там. И я совершенно убежден, что люди будут жить здесь всегда, останутся, вот останутся.— Теперь он стоял передо мной.— Я давно думал об этом. Сразу же, как приехал, увидел. Понимаете, уверен, что край этот будет оседлым, а не так: пришли, выкачали, ушли...

Я снова кивнул. Антонюк уже повернулся к плите, обжигаясь, бренчал крышками, но прежняя мысль не оставляла его:

— А если еще наладить порядок с охотой и рыбой, поучиться у ханты, у местных...

Были в его движениях привычки мужчины, который

по-крестьянски, с детства, умел хозяйничать сам, ловко, спокойно, даже не замечая этого. Он из Молдавии, вспомнил я. А по дороге сюда он сказал, что намерен пробыть здесь, пока дорога не доберется до Норильска. Другими словами, еще лет десять-двенадцать. Значит, тогда ему будет за сорок. И лучшие свои годы он отдаст этой земле...

Потом наступила какая-то пауза, словно все, о чем мы говорили, начало сгущаться, принимать форму. И вдруг, это было именно вдруг, я ощутил в себе как бы сильный, беззвучный взрыв, переполох. Меня поразил этот случайный разговор, в котором, кажется, не было ничего особенного, невероятного. Нет, было! Ведь это — клад и драгоценность, это — чистота души!.. А ему-то, лично ему, молодому Валентину Степановичу Антонюку, что от того, что через много лет по этим аллеям будут бегать троллейбусы, и учителя, взяв журналы, разойдутся по классам: «Здравствуйте, дети!» Ему лично, казалось бы, зачем счастье этой промерзшей, завьюженной равнины? Не собирался же он возводить здесь свои отели или расширять собственные, приносящие ренту земли. А вот горячился, доказывал, убеждал, и с какой неиссякаемой *энергией!* Что это значит? Как в этом разобраться? Какой это можно оценить зарплатой? Как понять, как не пропустить этого взметнувшегося порыва человеческой души?

Мне захотелось осмыслить, перелистать этот разговор заново, заново. Я почувствовал желание встать, двигаться, пройтись, обойти поселок, постоять у каждого дома, где, наверное, тоже о чем-то спорили, что-то обсуждали. Мысли мои перекинулись на всю Тюмень.

Я встал и ушел.

Ночная стужа пахла вот именно Севером — только чистым свежим снегом и навсегда затвердевшей хвоей. Пожалуй, это был запах простора. Вместо неба — редкий, желтоватый свет от окон, и в этом чуть разорванном мраке — части стен, очертания дороги, плоские стволы деревьев и тяжелые лапы веток. Не холодно и нет звезд.

...Да, Антонюк вполне мог в этот вечер тратить себя на другое, расплескивать свою душу вроде бы с большей, может быть, даже с узко практической тошнотворной пользой. Мог истереть кого-либо в пыль, мог мо-

литься на теплый свой дом, мог со всей страстью южанина облобызать вот те самые пиджаки под кожу, мог, млея, отражать себя в никелированном транзисторе, мог, надуваясь от гордости, швырять перед нами престижные сигареты в недоступно красивых пачках... И дальше ведь так легко продолжить, так просто дописать, кое-что ведая о современном, окутанном дымом торопливом мире... Но его душа не была растаскана, перекручена. *Вместо этого* (я умышленно подчеркнул «вместо этого» и позже объясню почему) Антонюк сжигал отпущенную ему жизненную энергию ради этой земли. И какая всходила в те минуты заря на его лице, каким оно было разумным и вот именно одухотворенным! Вот его-то без ошибки и выбрала для себя Тюмень! Все, что говорил мне Антонюк, было не просто словами. Каждое утро он натягивал унты, зная зачем, глотал мороз и материализовал эту свою чистоту километр за километром, вместе с другими раздвигая тайгу, стягивая болота рельсами, и, я уже говорил об этом, он дал себе зарок тянуть эти рельсы до заоблачного Норильска. Вон куда!

Что же я открыл для себя, встретив цельного, не раздерганного человека? В свои двадцать девять лет инженер Антонюк из Молдавии нашел в себе энергию не только рискнуть, добраться сюда, выдержать, освоиться, привыкнуть и всласть работать, но, самое-то главное: нашел в душе своей место для этой, очень уж от него далекой, непривычной и, конечно же, не по-южному ласковой, а дерзко неприступной, колючей земли. Вобрать в себя ее судьбу, страдать за нее — вот на что оказался способен не растративший себя по мелочам Антонюк, вот чем он намагничивал свой мозг. Рядом с ним и мне среди этого снега стало надежней, каким-то образом уютней. А к тридцати пяти годам, интересно, Антонюк сумеет остаться таким же, не разменяет свою страсть, сам же не посмеется над ней?

— Ездил я летом в Молдавию,— сказал он мне.— Предлагали работу. Нет... понял, что теперь уже... Както не то. Масштабы не те... И отношения, показалось мне... вроде бы суета. Отвык, что ли?.. Вернее, привык,— рассмеялся он.

Вот, пожалуй, и весь вечер, весь тихий, без происшествий разговор в поселке Ноябрьском, которого даже

нет на карте. Но как ясен сделался мне молодой главный инженер, передо мной как будто обнажился человеческий механизм, само зерно его нравственности, как легко было теперь понять, *предугадать* его поступки, и как осветилась вокруг меня вся трудная, буравящая землю, утепляющая ее, чистая и этим вдохновенная Тюмень — страна электричества.

Как и следовало ожидать, утром мело. И ветер, который сперва лишь трогал снежок, заигрывал с ним, начинал с каждой минутой цапаться сильней, всерьез, но около часа легонький Ан-2 все же прилетел, отважился сесть и, весь красный, бежал, бежал к нам, уже пробивая метель. По правде сказать, дуло на этой поляне всерьез, особенно если учесть мою городскую одежду. Но я все еще был под впечатлением встречи с Антонюком — ну что там этот ветер, что там самая обыкновенная, поддающаяся расчетам энергия нефти и газа,— мне казалось, я открыл для себя живую энергию всей Тюмени, и я уже спокойней смотрел на тайгу, на мутившийся воздух, на завьюженных и встревоженных летчиков, на возникшую вдруг помеху. Прилетевшие сюда председатель и секретарь Ноябрьского поселкового Совета выгружали на снег казенное имущество: какие-то ящики, газовую плиту, железную кровать с ржавой сеткой, увесистый несгораемый шкаф и даже маленькую некрашеную урну для голосования. Пришлось попрыгать у самолета и всем телом ощутить неунимавшуюся реальность. Наконец можно было забраться внутрь и померзнуть уже в безветрии. Все же взлетели, как на ощупь...

...На улицах дымящего трубами деревянного Тарко-Сале, свернувшись, лежали на сугробах неподвижные лайки. Машина-цистерна развозила по домам воду. От ветра надо было заслонять лицо рукой...

Раздумывая о Тюмени, я чаще всего вспоминаю не только Ноябрьский, но и Тарко-Сале тоже, причем оба эти места в моем сознании слились в одно целое, словно не было этого перелета, не было какого-то промежутка во времени. Конечно, в Ноябрьском я спрашивал

себя: а приоткрылась бы мне Тюмень, если бы я не встретил Антонюка? После Тарко-Сале я могу сказать, что не встретить такого Антонюка невозможно, ибо подобные характеры для Тюмени закономерны. Узнав Антонюка, я получил возможность понимать сразу многих, одолевающих эти болота.

Вот еще одна встреча, даже не случайная, а стихийная, на этот раз шумная, пересыпанная счастливым смехом, вся разукрашенная простой и понятной радостью. Но до чего же удивительно продолжала она тот вечер в Ноябрьском, как в чем-то самом главном, в самой сердцевине своей оказались схожи люди, и до чего же отчетливо, до чего ясно вырисовывался способный уживаться с этим простором, укрощать его своей щедростью характерный для нынешней Тюмени, словно прибереженный для нее нравственный тип.

Тарко-Сале — районный центр, он уже довольно стар, а было это в расположенном неподалеку, пахнущем стружками, построенном среди леса поселке, где снег был перемешан с опилками.

Мы ехали. И как снова не сказать об этой северной нетронутой природе, об этой погруженной в свою красоту, качавшей нас, как на волнах, лихо петлявшей лесной дороге. То синяя, то до рези в глазах залитая солнцем, была эта дорога отложившимся в памяти образом России. Но почему? Оттого, вероятно, что так широко, так привольно, так сама по себе лежала здесь не какая-нибудь чахлая, раздавленная колесами, посыпанная сажей, а настоящая белая зима...

Неожиданно мы оказались среди веселых хлопот: поселок готовился к свадьбе. В руках у моего спутника заблестел микрофон, а я, пользуясь теперь тем, что пленка сохранилась, попробую, как говорят, расшифровать этот живой документ, эту запись, сделанную прямо на улице. Жаль только, что потеряется общая атмосфера, возгласы, вздохи, улыбки, общий веселый смех, не будет слышно приподнятого волнения голосов.

Итак, солнечный день в новом поселке, широкая улица, вокруг микрофона молодежь. Все медленно идут по улице.

Девичий голос: Свадьба будет в пекарне. Там теплей, и места хватит на всех. Женится у нас механик на инженере ПТО. *(Рваный гул, это ветер в микрофон.)*

К о р р е с п о н д е н т: Я этого не понимаю: что значит — механик женится на инженере? *(Общий смех.)* Объясните, пожалуйста. Это радио Тюмени.

М у ж с к о й г о л о с: Рузанов Алексей женится на Люде Хлевной. Вот жених, а вот невеста. Сейчас они поедут регистрироваться в Тарко-Сале, а потом будет пир.

(Лица парней и девушек были такие, словно свадьба сегодня у каждого из них.)

К о р р е с п о н д е н т: Сколько же девушек у вас в поселке?

Д е в и ч и й г о л о с: Наверно, десятка два... Да? Да, да, да...

К о р р е с п о н д е н т: Парней, конечно, гораздо больше, и стать женихом, наверное, не так-то просто? *(С улыбкой.)* Поздравляю вас, Алексей.

Д е в и ч и й г о л о с: Большой выбор! *(Общий смех, и слышен треск механической пилы, далекий, но отчетливый. Тогда, в поселке, я как будто не слышал этой пилы. Да, любопытно.)*

К о р р е с п о н д е н т: Скажите, Люда, где же вы познакомились с Алексеем?

Л ю д а *(просто)*: Прямо здесь. Уже скоро год будет. Кстати, на танцах вот в этой самой пекарне. (*Смех.*) Как в песне: танцплощадка поутру станет стройплощадкой. Так и у нас... *(Ее голос невысокий, мягкий.)*

А л е к с е й *(вначале скован, у него баритон)*: Когда я приехал, а приехал я сюда сразу после демобилизации, здесь стояло всего четыре домика на колесах, больше ничего не было. Кругом кедры стоят, шумят, мороз такой хороший... градусов под сорок был... а я в летних ботиночках. Потом начали застраиваться... Коттеджи поставили... вот такие... А потом уж у меня невеста приехала... *(Бесконечный треск пилы.)*

Л ю д а *(азартно и с гордостью)*: Я приехала сюда... было как раз... ну, на второй день у нас открылся котлопункт. Помню, как все с радостью туда пошли, потому что до этого готовили кушать на паяльных лампах да кострах... В общежитии дружно жили. *(С какой-то едва уловимой грустью, почти по-матерински.)* Очень дружно. Будто одной семьей. Кровати, как в кубрике, в два этажа были. Но не жаловались, жалоб не

было. Чистота армейская. Как-то ребята все собраны были... *(Грохот на пленке, такой сильный порыв ветра.)*

И вот наконец главная, самая важная для меня часть этой записи.

Корреспондент: Люда, а вы не смогли бы сказать, что вы чувствуете сейчас?

Люда: Сейчас?.. Просто очень здорово... Как-то на душе очень-очень хорошо. Рядом со мной очень много друзей, и мне просто приятно, что здесь я смогла найти много друзей, с которыми мне легко и просто и которые делят со мной и трудности и радости. Сегодня у нас радость. Я и мои друзья... и все наши с Алексеем товарищи с нами. Сегодня, как специально, и солнышко светит хорошее. И день хороший...

Алексей *(по-мужски сдержан, логичен)*: Дни уже стали больше. А сначала... в декабре солнца совсем не увидишь. Красное такое... появится и скроется.

А теперь попробуйте вообразить себе счастливое, взволнованное и НЕПОДВЛАСТНОЕ НИКАКОМУ МОРОЗУ лицо невесты — а ведь столбик ртути опустился почти до тридцати, к тому же ветер,— попробуйте представить ее пронизанные светом глаза, ее взгляд, наполненный каким-то внутренним торжеством и покоем, и вы услышите не просто голос Люды, а чистоту самой души.

Корреспондент: Мне кажется, место для поселка выбрано удачное, красивое!

Люда: Очень!.. Место очень красивое. Если спуститься к протоке, там вообще как в сказке... Лучше не придумаешь. Хоть фильм снимать.

Какие до удивления уже знакомые интонации! Вслушайтесь! Вдумайтесь в это! Сколько нерастраченной, драгоценной душевной энергии! Какая способность сливаться с этой землей, ощущать ее своей, любоваться ею, а ведь она сурова.

Корреспондент: Внизу ведь река, да?

Люда: Да. Там у нас река Пякупур. Летом купались.

Корреспондент: Может быть, даже есть пляж?

Голоса *(общий смех)*: Золотые пески! На этом пляже, как встанешь — по пояс увязнешь... *(Этот веселый смех заглушает даже пилу.)*

Какие россыпи человеческой щедрости, молодости!

Корреспондент: Как я понял, Люда, вам земля эта нравится?

Люда: Прижилась. Да, нам здесь неплохо.

Алексей: Мы уже здешние.

Корреспондент: А что в этом поселке для вас самое дорогое?

Люда: Ну, мы росли вместе с этим поселком, поэтому... даже вот первые тротуары, первые заборчики... все в этом поселке очень дорого, как в своем доме. Это и есть свой дом...

Вот так неожиданно для меня в разных местах Тюменского края повторились... нет, не характеры, а чувства людей, их наполненное высокой страстью отношение ко всему окружающему, что как раз и питает человека энергией, позволяет не просто умозрительно видеть цель своего дела — управляет его поступками, им самим.

Я ехал по Тюменскому Северу, я жадно вглядывался в Тюмень, пытаясь разгадать нравственный смысл происходящего, разгадать и человеческую и социальную природу *народного подвига*, открыть для себя источник питающей подвиг энергии. Мне показалось, я прикоснулся к нему.

Это, конечно, не ново, и я лишь повторю давно известное, когда скажу о той чудесной способности нашего народа, которую я увидел там,—быть причастным не только к жизни своей земли, но даже к судьбе самой маленькой речушки, какого-нибудь болотца с карасиками, тощенькой неприметной березки. Удивительной способности не только знать о них, но страдать за них, ощущать свою ответственность за них и, как должное, без сомнений отдать какому-нибудь завьюженному дикому еще уголку лучшие годы, себя всего. И сознанием этой своей причастности, ответственности гореть, в этом черпать силы. Вот он, источник, казалось бы, невозможных свершений.

Живая эта энергия вложена в человека как будто самой природой. Однако это не совсем так. Она социальна, а потому особо уязвима, и ее не обнаружить в себе, не отыскать человеку раздерганному, а от этого мелкому, потому равнодушному и пустому. Эту живую энергию так легко, не приметив того, сжечь в изнуряющей битве за уют ради уюта, за вещички, просто за карьеру. Она выгорит от всякой фальши, от жизни, в

которой надо как-то убить время. Вот на что эта живая энергия может быть обменена — и нет человека: раздерган, растрачен, равнодушен, пуст, слаб. Но вот, к счастью, и я это видел сам, не растрачена, а потому и есть Люда Хлевная, Валентин Антонюк, поселок Ноябрьский, Сургут... Потому и возможны Тюмень, БАМ, новые города, дороги, открытия, подвиги. Эта созидательная, живая энергия, которую никогда не заменит нефть, газ, реактор, и есть наше самое большое богатство. Великие запасы ее можно найти повсюду: и в деревнях, и в городах, и в аулах, и в Молдавии, и в Башкирии, и в Казахстане, и по всей России. Нет, не пересчитать этой армии цельных, не испепеливших себя, свои души попусту, способных на подвиг людей.

Да, я увидел там, в Тюмени, как мне кажется, самое главное: *здоровье народа.*

Как это и должно быть, у этой медали — две стороны. Другая тоже прекрасна.

Я сижу среди друзей, езжу в поездах и вижу, как распрямляются у седых уже солдат плечи, как вспыхивают молодостью их глаза, когда они вспоминают о войне. Я знаю, я понимаю, в чем дело. Война требовала от человека наивысшего напряжения сил и физических, и умственных, и духовных. Решительно все качества человека, в том числе умение любить, ненавидеть, дружить, проявлялись на самом высоком пределе его возможностей. И это ощущение в себе подлинности, истины, своей нужности, этот полет над вершинами не забывается, остается в человеке навсегда, как наивысшая проба его натуры. Как же ее не ценить, как не расправить плечи, вспоминая себя ТОГО.

А разве не то же самое и Тюмень? Разве эти болота, этот мороз, эти расстояния, этот труд не требуют от человека его всего, до предела? И Тюмень есть тоже самый высокий взлет достоинств, возможностей. Тюмень есть тоже полет над своими вершинами, а это ли не ликование души, это ли не праздник жизни, самый достойный и неизгладимый, который останется с человеком навсегда и отсветом своим будет блестеть в глазах детей и внуков. Это года не придуманного, а настоящего счастья.

И уж это не чья-нибудь, а вот именно наша, писательская задача разъяснить тем, кто протянул по Тюмени еще метр дороги, вбил еще одну сваю, построил среди тайги еще один дом, что это их зрелая, полнокровная, лучшая пора жизни.

Именно сейчас, когда я пишу эти строки, в памяти моей вдруг промелькнул дорожный эпизод. Было это в «Стреле», и случайный знакомый, сосед по купе, с хмельной грустью сказал мне, играя коробочкой каких-то необыкновенных сигарет, я потом записал это в блокнот: «Природа родила меня сторуким,— какая-то болезненная, виноватая улыбка портила, уменьшала его лицо,— а жизнь,— усмехнулся он,— постепенно все эти руки поотрубала. Теперь вот остались только две — для себя,— он снова усмехнулся.— Одолевает суета». Помню, у него были мутные, словно разбавленные глаза, дрожали пальцы, от него тонко пахло духами, всю ночь он стонал во сне, и его встречала плоская, состоящая из длинных джинсов и ниточки кораллов женщина, чем-то похожая на телефонную трубку. Так, может быть, она наклоняла голову. Не знаю сам, почему я все это запомнил.

На Тюменском Севере я не заметил мелкой житейской суеты, не встретил угодливых — непременно милых, не слышал подприлавочного жаргона.

На далекой трассе мне с улыбкой протянул свою, непривычно вынутую из рукавицы ладонь Риф Муратшин, бригадир электролинейщиков. Вокруг были чистый снег, реденькая рощица берез, два трактора и горстка даже не повернувшихся в нашу сторону, казавшихся неуклюжими, занятых работой парней, которые ставили на замерзшем болоте, это можно делать только зимой, опоры электропередачи. Длинная цепочка этих опор уже тянулась за их спинами, а эта очередная, *сорокадвухметровая, весившая шесть с половиной тонн*, еще лежала на снегу, непомерно громадная, неуклюжая, неприступная. Представляете эти размеры! Я разглядел в улыбке Рифа Муратшина нерушимое достоинство, когда своей рукавицей он показал на эту опору, спокойно посмотрел на часы и сказал:

— Через восемь минут мои ребята ее поставят, и мы пойдем дальше.

Но как он произнес это: «мои ребята»! Какой наи-

высшей мерой он их ценил! Не это ли и есть святая дружба мужчин?

Он ошибся всего на минуту. Через девять минут эта тяжеленная махина уперлась в небо, где уже рокотал, снижаясь, вертолет, который волок с полигона новые тонны железа.

Могут эти ребята забыть друг друга и эту работу?

В теплом, но как будто забытом среди тайги вагончике, в комнатке, где стоял стол и две кровати, я видел откровенно счастливое лицо Владимира Григорьевича Зинченко.

— Одна вакантная, могу предложить,— засмеявшись, показал он на свободную кровать.— Если хотите, поживите здесь.

Ему, наверное, едва исполнилось тридцать, но он уже был заместителем управляющего громадного треста, который занимался всей Западной Сибирью. Его лицо буквально сияло. Но от чего? От обилия забот! Вот от чего. От обилия этих взваленных на его плечи забот. Он старался быть сдержанным, очень серьезным, даже замкнутым. Но у него, когда он сидел рядом со мной, ничего из этого не получалось. Независимо от него, лицо его чуть ли не по-мальчишески ликовало, расползалось в улыбке от очевидной, от всем очевидной невозможности выдержать этот непосильный, нечеловеческий груз, который он как раз и выдержит, потому что ему поверили, в него поверили, ему доверили.

Забудет ли Владимир Григорьевич Зинченко эту свою работу уже не то что на пределе, а за пределом возможностей?

Я, наконец, видел в этой поездке самых, пожалуй, оседлых жителей Тюменского Севера — партийных работников, вынужденных почти все время быть вне своего кабинета, обязанных знать и что такое нефть и нефтепровод, и химия, и каучук, и ясли, и геология, и больница, и ягель, и психология, и пурга, и поставки, и вездеход, и энергия усталых, мотающихся по дорогам, поселкам и совещаниям, но с глазами, в которых каждый раз отражалась радость от своей причастности к этому вселенскому, еще не виданному масштабу дел, людей.

Чем же еще, если не гордостью за себя и товарищей, отложатся в памяти эти годы, запечатленное победой

доказательство своих самых высоких человеческих достоинств.

Иногда кажется, если смотреть на дела человеческие, что век от века время бежит все быстрей. И очень уж скоро нынешние дни обернутся воспоминаниями, вполне возможно, даже наверняка, люди придумают что-то другое взамен нефти и газа, но утепленная живой энергией наших современников обитаемая тюменская земля останется у человека уже навсегда.

1978 г.

Илья Фонянов

Вышки и факелы

Из тетрадей разных лет

— Вы пробовали когда-нибудь говядину по-самотлорски? О, это очень вкусно и, главное, необычно. Берется обыкновенный вертолет Ми-4, можно Ми-8. К нему на длинном — обязательно длинном — тросе привешивается целая говяжья туша. И вертолет зависает над одним из факелов попутного газа, которых много пылает в окрестностях. Через недолгое время жаркое готово. Только предварительно, конечно, нужно собрать очень большую компанию...

Глаза у рассказчика пронзительно-голубые и пронзительно-честные. Такие честные, что один из слушателей — стреляный воробей, опытный писатель-очеркист — лезет в карман за блокнотом, чтобы немедленно записать все подробности об экзотическом чуде кулинарии, и только дружный хохот спутников, заранее посвященных в тайну этого невинного розыгрыша, останавливает его.

— А черт его знает,— ворчит очеркист беззлобно,— тут всякой небылице невзначай поверишь! Стойте, стойте, а ведь все-таки блокнот я раскрыл не зря!..

И записывает, подчеркнув дважды:

«Любая сказка похожа здесь на правду, потому что правда здесь похожа на сказку».

Автобус бежит по бетонному шоссе, возвращаясь с легендарного Самотлорского месторождения в белокаменный город Нижневартовск, который патриоты называют «столицей нефтяного Приобья». Впрочем, о том, какой город называть столицей этого края, возникали в разное время различные мнения. Кажется, первым кандидатом на этот высокий титул был Сургут. Потом, после открытия Самотлора, на первый план вышел Нижневартовск. Прошло еще какое-то время, и сургутские геологи заговорили об открытии месторождений, которые вроде бы Самотлору не уступают, а может быть, и превосходят его. Так что Сургут, город одновременно старинный и новый, вновь получил шансы удержать пошатнувшуюся было корону...

Впрочем, споры о том, где быть «столице», носят, разумеется, чисто условный характер. При любых условиях оба города остаются важнейшими центрами западносибирского нефтяного континента, настоящая столица которого — Тюмень. «Тумен», «Тьюмен», «Тиумен» — изо всех сил на разный лад пытается воспроизвести это название в латинской транскрипции мировая пресса. Еще недавно школьники учили, что в недрах Сибири «есть все, кроме нефти». И вот в самом начале шестидесятых годов родилась нефтяная Тюменщина.

Не стану пересказывать историю «открытия века», не стану повторять общеизвестное. Напомню лишь об одном: мы стали свидетелями и участниками интереснейшего, сложнейшего процесса, когда по следам первооткрывателей двинулась в мир тайги и величайших в мире болот Жизнь с большей буквы, когда начали возникать города и поселки, и рождение каждого из них сопровождалось спорами — где ему стоять, каким ему быть? Опыт тридцатых и сороковых годов оказывался далеко не всегда приемлемым для шестидесятых и семидесятых.

Помню, как в самые первые годы освоения нефтяного Приобья коллега — литератор, вернувшийся из командировки, возмущался действиями одного из местных руководителей: черт-те что, в поселке жилья не хватает, с производственной базой тоже не все ладно, а он, видите ли, клуб строит «с учетом перспективы», мало того — зимний стадион заложил! Время показало, кто был прав: в молодые поселки и города приезжала

в основном молодежь, причем молодежь современная, с достаточно высокими требованиями к жизни, к организации досуга. В том самом поселке текучесть населения оказалась наименьшей, что на сугубо производственных делах сказалось самым благоприятным образом.

Сложно. Трудно. Интересно. И, видимо, не зря в непосредственном соседстве с деловыми записями возникают в блокноте стихотворные строчки, пытающиеся зафиксировать облик и приметы Сибири шестидесятых-семидесятых годов:

Скользнула боком тень от вертолета.
Я молча помахал ему рукой.
Вершится здесь великая работа
Над желтоватой медленной рекой.

В речной воде просвечивают мели,
Вверх брюхом проплывают облака.
У старых кедров — тех, что уцелели,—
В царапинах и ссадинах бока.

Там, где медведь недавно спать ложился,
Жужжат электропилы, и уже
Новехонький поселок отразился,
Как в зеркале, в бульдозерном ноже.

Идут со смены рослые ребята,
Кончается в тайге рабочий день,
И смотрит на яичницу заката
Шеф-повар Эдик из кафе «Олень».

Девчата всюду шастают проворно,
Машине машут: «Эй, притормози!»
По их сужденью, туфли на платформе
Вдвойне уместны в тутошней грязи.

Здесь моду чтут: в Сургуте и в Надыме
Мне попадались даже раза два
В штанах и с локонами завитыми
Неведомого пола существа.

В конторе пахнет стружечно, сосново,
Там — стенгазеты пестрые столбцы.
В бутылках из-под «Спирта питьевого»
Стоят на полке нефти образцы.

На деревянном клубе над обрывом
Издалека виднеется плакат:
Картину «Если хочешь быть счастливым»
Закинул в этот край кинопрокат.

Есть много мнений, что такое счастье,
Но, как там про себя ни разумей,
Я счастлив тем, что это стало частью
Судьбы и биографии моей.

Что я работал здесь зимой и летом,
И в ясные, и в хмурые деньки,
И вот теперь могу писать об этом,
Не выдумав ни слова, ни строки!

Случилось так, что впервые в Сургут я попал в 1964 году, во второй раз — семь лет спустя. В памяти отложились два абсолютно непохожих, нигде и ни в чем не соприкасающихся впечатления. Как будто в двух разных местах побывал. И не в том дело, что первый приезд был глубокой зимой, а второй — в разгар северного лета. В первый раз это было село, районное село, не слишком даже большое, которое жители тем не менее в разговоре предпочитали именовать городом. «Наш город — старинный»,— говорили они. И впрямь, Сургут был основан еще в конце XVI столетия, имел при основании статус города, имел, как было городу и положено, герб. Надо помнить, что в те далекие времена город не обязательно должен был быть *большим* поселением.

Город от села отличался не столько размерами, сколько обликом. В самом слове *город* отчетливее просматривалось его происхождение от глагола «городить»: он был прежде всего огороженным поселением, укреплением, крепостью. Но большого развития город не получил, через некоторое время он превратился в село и три долгих столетия пребывал в этом качестве. В первой половине шестидесятых годов — в первый мой приезд — дыхание новой жизни уже коснулось Сургута. Появились на улицах новые люди: геологи, буровики, больше стало всевозможной техники. Но в целом еще сохранялся сельский облик, и в раймаге пользовались спросом керосиновые семилинейные лампы.

Семь лет спустя меня встретил уже город в современном смысле этого слова. Пусть заметную часть его «жилого фонда» составляли передвижные вагончики — балки, но уже высились пятиэтажные здания, работали городские магазины и кафе, встреча с приехавшей группой писателей состоялась в прекрасном зале Дома Советов. Жители гордились только что открытым детским парком, который устроили для юных сургутян студен-

ты-строители из Львова. В парке были предусмотрены всевозможные чудеса, вплоть до средневекового рыцарского замка (в миниатюре) и избушки бабы-яги (в натуральную величину!). А прежнего деревянного Сургута мы так и не увидели. Как не бывало его. Подевался куда-то.

А в третий приезд, еще четыре года спустя, выяснилось: никуда не подевался он, старый Сургут. По крайней мере пока. Просто новый город начал расти в некотором отдалении от старого, на свободных площадях, постепенно в его кварталы перебрались все основные городские учреждения, и только почтамт оставался еще, как был, в деревянной избушке. Но уже новый и старый город шли на сближение, уже сносились первые деревянные дома.

Все было закономерно: новые дома — типовые, стандартные, но они несли с собой современную культуру быта, современные удобства и комфорт, что здесь, на Севере, имеет особую цену. Старожилы охотно перебирались в новые дома — и в то же время... жалели старый Сургут. Вспоминали, какими уютными бывали его улицы, поросшие зеленой травой, потому что машин в этих местах было совсем немного. Только по самой середине — желтая пешеходная тропинка. Да вдоль домов деревянные тротуары. И тихо. «Слышишь, бывало, по досочкам вечером каблучки — ток-ток, так и знаешь: это учительница из школы торопится»,— вспоминала коренная сургутянка, работник горкома партии, и столько было в этих словах неподдельной любви и нежности к родному на земле месту!

Столкновение нового и старого было не лишено своеобразного лирического драматизма. И шли уже разговоры: а нельзя ли частично сохранить старый Сургут как своего рода зеленую зону, разместить в добротных деревянных домах детские учреждения, профилактории — гигиенисты говорят, что микроклимат такого дома очень здоровый и полезный. Да и самая земля огородов, облагороженная многолетними трудами земледельцев, представляет на Севере ценность — на Ангаре я видел, как ее огромными баржами вывозили из деревень, оказавшихся в зоне затопления Усть-Илимского моря! Неспроста вспоминаются сейчас все эти разговоры. Все мы любим путешествовать по родной

земле, все мы интересуемся прошлым и умеем радоваться тому новому, что рождается на наших глазах. Истинно культурный человек не может бездумно расставаться с прошлым. Но и позиция сноба, бездумно отворачивающегося от нового, ему не к лицу. Связь между прошлым и будущим — связь динамичная, и здесь нет универсальных решений на все случаи. Надо смотреть и видеть, видеть и думать. Потому что и у себя дома, и в деловой командировке, и в туристском путешествии мы остаемся прежде всего *хозяевами* нашей прекрасной земли. И недаром так радовались мои спутники — гости нового Сургута,— осматривая помещения и установки Сургутской ГРЭС, работающей на попутном газе: с возведением ее корпусов гасли один за другим оранжевые факелы попутного газа — те самые, на которых дорожные остряки собирались обжаривать корову. Ничего не скажешь, факелы эти являют собой эффектное, даже романтическое зрелище, особенно ночью. Но и трудно отделаться от мысли, какие тысячи и миллионы рублей сгорают в их клубящемся и ревущем пламени. И потому не поворачивается язык назвать это зрелище красивым. А вот серые, будничные, сугубо промышленные очертания конструкций ГРЭС казались нам в тот день очень красивыми. Потому что — разумные. Потому что своим существованием эта ГРЭС была призвана ликвидировать одну из нелепостей, несообразностей, возникающих в ходе стремительного, а иногда и поспешного освоения сибирских богатств.

Дома, в Ленинграде, разыскиваю в своем рабочем архиве старую газетную вырезку:

«...Нефтеюганск — нов. Нов до того, что кажется прозрачным, почти нереальным. Глаз и сознание все-таки привыкли к тому, что новое, как бы значительно оно ни было, лепится вокруг какого-то, пусть малого, исторического ядра. У Нефтеюганска, вырастающего на известных Усть-Балыкских месторождениях, такого ядра нет. Нет прошлого. Поселку — три года. Даже очень молодые люди могут рассказать о том времени, когда на этом самом месте, на Юганской протоке Оби, стояли три хантыйских чума...

Вчера вечером была пурга, белые табунки поземки с присвистом устремлялись в черные просветы между домами. А сегодня — ясный день, крепкий, истинно северный мороз: идешь по гладкому, вылизанному ветром насту в ботинках на микропоре, и кажется, босиком ступаешь по снегу. Вот он весь, как на ладони, Нефтеюганск: бревенчатые домики в один-два этажа, дощатые склады, жилые вагончики, обросшие крылечками и сарайчиками...

В противоположность отлаженному, привычному быту Большой земли здешняя жизнь — как шершавая, занозистая поверхность свежей, неструганой доски: взгляд цепляется за каждую мелочь, все кажется значительным и даже символичным. Потрепанный томик Экзюпери в продуктовой сумке краснолицего парня. Написанные карандашом на листочке из школьной тетрадки «в косую» названия отделов в конторе. Объявление о начале шахматного турнира. Новенькая скрипка на стене малюсенького клубика.

— Кто играет на этой скрипке?

— Пока никто. Но поверьте, она скоро заиграет».

Это был самый конец 1964 года, декабрь месяц. Помнится, на ночлег нас — группу приезжих стихотворцев — разместили в конторе бурения. Спать не хотелось, и все мы вместе с хозяином кабинета — двадцатисемилетним главным геологом конторы бурения Бернардом Бикбулатовым — сочиняли названия для улиц будущего города. Чего только не напридумывали мы тогда! Были у нас и Таежная, и Кедровая, были Бакинская и Туймазинская — потому что люди из Баку и «второго Баку» немало сделали для освоения новой нефтяной базы страны. Была улица Пилотов — потому что без них на Севере ничего не сделаешь. И улица Михаила Светлова — потому что крылья романтики, по нашему твердому убеждению, были не менее нужны здесь, чем самолеты и вертолеты.

Так я, кстати говоря, и сейчас думаю. Только само понятие романтики уточняется с годами. Романтика — это не вечер в кафе «Алые паруса». И не в том, чтобы книжный магазин назвать обязательно «Гренадой». И даже не в песнях под гитару у таежного костра. Ее, может быть, вообще нельзя определить какой-то внешней приметой. И все-таки она существует,

— Скажи, есть у тебя все же ощущение, что ты живешь необычной жизнью, живешь по-особому, или за четыре года все стало будничным и привычным? — спросил я как-то одного северянина. Был он рядовым инженером в одном из управлений, на гитаре не играл, у костра сидел за четыре года один раз — и то в отпуске, в Подмосковье.

— А как же! — сказал он.— Именно это ощущение и держит меня на Севере. Вроде бы все так же, как везде: встаю по будильнику, иду на работу, покупаю газету в киоске, пишу родным письма. И все-таки каждый раз, когда пишу на конверте обратный адрес, чувствую какую-то маленькую гордость. Не просто живу на свете, а живу на Севере, в новом городе, который растет на моих глазах!

...Тогда, в тот вечер, когда мы придумывали названия улицам будущего города, грядущий Нефтеюганск рисовался нам в некоем ореоле. И, конечно, совсем непохожим на тот деревянный поселок, в котором мы коротали ночь. Где он сейчас, тот поселок? Не на другой ли планете все это было? Но и на «голубой город» наших мечтаний сегодняшний Нефтеюганск не похож. За эти годы вырос на земле просто город. Земной. Советский. Не очень большой, но ладный, компактный, счастливо избежавший разбросанности, столь характерной для многих молодых сибирских городов. Он поменьше соседнего Сургута, но зато облик его явственнее определился. Есть центральная площадь с красивым Домом Советов и зданием нефтегазодобывающего управления — основного предприятия здешних мест. Есть пятиэтажные жилые дома с гастрономами и кафе в первых этажах.

— Как пройти в книжный магазин? — переспрашивает меня парень в штурмовке, с длинными, по моде, волосами.— Пожалуйста, это у нас на набережной. Два квартала прямо — и сразу направо!..

В нефтегазодобывающем управлении нам показали в действии автоматическую систему управления всеми работающими скважинами.

В местном автохозяйстве — диспетчерскую, оборудованную телевизионной связью.

Выходило, что по ряду направлений технического прогресса молодой город на Юганской Оби обгоняет

ныне обжитые районы. И в этом была своя закономерность.

Город как город. Обыкновенный. Но, может быть, в этой обыкновенности и есть самое необыкновенное, если вспомнить, где вырос он! И пусть названия его улиц звучат привычней и проще, чем грезилось нам когда-то,— встреча с ним глубоко трогает и волнует.

Вертолет Ми-8 плывет над зелено-голубыми разводьями Тюменского Приобья. Внизу — бесчисленные реки, речки, протоки, старицы, озера и озерца. Как писал мой товарищ, новосибирский архитектор и поэт Владимир Обозенко (кстати, автор проекта районной планировки города Нижневартовска), здесь порой кажется, что земная твердь еще не вполне отделилась от хляби. А вот под нами широкая водная гладь, рассеченная в разных направлениях узкими языками земляных дамб.

— Озеро Самотлор,— трогает за плечо спутник.

Мы уже знаем: когда оказалось, что огромные богатства — целый многослойный нефтяной «пирог» — лежат под озером, возник вопрос: как лучше всего подобраться к ним? Был проект — к его исполнению даже приступили было —спустить из озера воду. Бакинцы предложили свой опыт строительства эстакад, испытанный на знаменитом промысле Нефтяные Камни. После тщательнейших расчетов был предпочтен метод, связанный со строительством насыпных дорог, благо Самотлор — озеро неглубокое. Одна за другой спешат к его берегам могучие «Татры», со всех сторон протянулись от берегов земляные «языки». На конце каждого «языка» — площадка, на ней — буровая вышка. Такого нигде больше не увидишь.

...На повороте дороги выходим из автобуса. Торчит из земли обыкновенная невысокая труба, окруженная легкой оградкой. Труба как труба, ничего в ней особенного. Почему же сюда, как рассказали нам, приезжают после загса молодожены и поднимают здесь бокалы с шампанским? Потому что это скважина-первооткрывательница. Так, Первооткрывательницей, ее и зовут в обиходе: поедем на Первооткрывательницу, встретимся у Первооткрывательницы. С нее начинается история

Самотлора, с нее заново началась история города Нижневартовска. Заново — потому что начиналась она по меньшей мере в третий раз.

Существует и поныне на Оби, рядом с городом, сибирское село Нижневартовское, в числе основателей которого были, говорят, поляки, сосланные в Сибирь царским правительством. Второе рождение Нижневартовска было связано уже с нефтью: после открытия месторождений близлежащего Мегиона здесь был запроектирован небольшой, в основном двухэтажный, город. Открытие Самотлора внесло свои коррективы: быть здесь городу с населением — в перспективе — до двухсот тысяч, если не более. И он растет, этот город. В тот раз его показывал нам заместитель председателя городского Совета Виталий Александрович Илькин по национальности манси.

— Это ведь мои предки, мои соплеменники здесь охотились и ловили рыбу,— говорил он.— Нас, манси, не так уж много, но есть у нас и учителя, и ученые, и врачи, и поэты. Ювана Шесталова знаете? Мы вместе в Ленинграде учились. А вот мне выпала самая, пожалуй, фантастическая судьба: быть заместителем мэра в промышленном городе на земле предков. Такое и предположить было трудно!

На одной из центральных улиц Нижневартовска мы разговорились с двумя совсем юными девушками, приехавшими, как выяснилось, накануне из Европейской России, из города Гусь-Хрустальный. Работали там на фабрике и вдруг — подались в Сибирь.

— Так, вдвоем, и приехали? Не побоялись?

— А чего ж бояться? Земля — везде своя. И люди — везде люди.

— Но как же все-таки надумали? Посоветовал кто-нибудь? Или в газетах прочитали?

— И читали, и по радио слышали. И уже один раз приезжали сюда: посмотреть, что и как.

— И понравилось?

— Понравилось.

— Наверное, погода была хорошая, как сейчас, не дала почувствовать, что такое Сибирь?

— Какое там! Поздняя осень была. Снег, ветер...

— И все-таки понравилось? Чем же?

— Люди понравились. Трудно сказать, чем именно. Но чувствуется, что при большом деле состоят. И нам того же захотелось.

— Где же вы-то работать собираетесь? Ваша «домашняя» специальность тут вряд ли пригодится.

— Учиться поступим. Вечерами. Чему научат, то и делать будем. А пока — разнорабочими на строительстве.

— А с жильем как думаете устроиться?

— Пока у знакомых девчат остановились. Еще в тот раз познакомились. А там и общежитие дадут. Не пропадем!

Спокойные, ясные глаза. Чистые, открытые лица. Уверенные интонации. И думаешь, слушая: может быть, в самом деле не главный это вопрос — «Кем быть?» — в сугубо профессиональном смысле слова, вопрос, над которым ломают голову не очень подготовленные к жизни юнцы? Важно — каким быть. Быть самим собой. Быть хозяином на земле.

Михаил Заплатин

Тайны предрассветной тайги

Караван

Осень в северных широтах — страдная пора для охотников.

Ежегодно, в сентябре, няксимвольское охотхозяйство снаряжает небольшой караван лодок и развозит промысловиков в далекие таежные угодья по Тапсую — одному из крупных притоков Северной Сосьвы. Там в специально построенных избушках поселяются на зиму добытчики пушного зверя.

Осенним завозом промысловиков в тайгу на этот раз занимается мой приятель — охотовед Саша Папуев.

У охотников и управляющего охотхозяйством Владимира Кирсантьевича Баева забот изрядно. Собрать людей на зимний промысел — дело нелегкое. Ежедневно я слышал, как Баев сердито выговаривал охотоведу:

— Вы мне план не сорвите!.. Не задерживайте караван!..

Говорил он в моем присутствии, несколько рисуясь положением руководителя. И в то же время я понимал: его соображения об организации охотничьего хозяйства дельные.

— Вы понимаете,— говорил Владимир Кирсантьевич,— районное начальство предложило нам садить картошку. Картошку! А где ее выращивать — кругом леса да болота!..

— Ну и как выполняете «установку»?

Баев отвечает с азартом:

— Я говорю руководителям: «Дайте месяца два летом отдохнуть нашим охотникам!» Весной они собирают клюкву, летом готовятся к осенне-зимней охоте. Ближе к осени — забота о грибах, ягодах... Надо же дать охотничьему населению поработать на себя. Это большой стимул: сделал охотник для своего дома все необходимое, обеспечил семью — и идет спокойно на всю зиму в тайгу за пушниной.

— Справедливо! — соглашаюсь я.

— Так ведь нет: когда нам надо готовить охотников к промыслу,— картошка отнимает время! Наше хозяйство в основном дает государству что?.. Бруснику, чернику, голубику, клюкву... Грибы всевозможные. А главное — пушнину! Мы поставляем ценный мех соболя, белки, куницы, ондатры, выдры... Вот о чем надо заботиться!..

В конторе людно, собрались почти все охотники-манси. И всех перекрывает нетерпеливый голос Баева:

— Все на охоту! Иначе — завалим план!..

— Почему сидишь дома? — обращается он к промысловику.

— Да, Владимир Кирсантьевич, собаки у меня доброй нету. Какой я охотник без нее!..

— Какая собака у тебя?

— Да она у меня соболя в обратную сторону следит...

Все присутствующие смеются. Забавно: как это собака ищет соболя по следу не туда, куда он убежал, а туда, откуда он появился.

Баев наивно возмущается:

— Безобразие!

Снова всеобщий смех.

Тут же охотовед Папуев. Один из охотников просит у него оленей:

— Сашка, дай-ка нам хороших быков, будем на волков ходить. Нынче их шибко много развелось...

Баев прерывает:

— Вы мне ценную пушнину давайте! А волки — что?!

Не менее важный разговор — о лицензиях на отстрел лосей. Баев напоминает:

— По лицензии бить только крупного лося, от трехсот килограммов и выше!..

— Э-э...— произнес кто-то из охотников.— Крупный лось — это хорошо. А если поменьше встретится?

Баев неумолим, категоричен:

— Телят не бить, пусть растут! Через два-три года станем их добывать. Кто будет стрелять телят — судить будем!..

— Сами знаем... Не маленькие...— сказал наш будущий спутник старик манси Герасим Номин.

Промысловики расходились с собрания веселыми: скоро опять в родную тайгу на долгие месяцы!

Караван уже готов к отплытию. Большая лодка-неводник нагружена ящиками и мешками — запасом продовольствия промысловикам на зиму.

С некоторыми из охотников я уже знаком, знаю их по фамилиям. Евгений Анямов, Герасим Номин, Василий Дунаев, Петр Дунаев... Отправляться в тайгу должно больше людей, но остальные манси пока на сенокосе. Запоздавшие приплывут на Тапсуй на своих лодках.

Среди отплывающей мансийской компании особенно выделяется Евгений Анямов, которого все называют кратко — Евдя. Высокий, плотный молодой манси. Таежный крепыш. Одет в гимнастерку и брюки защитного цвета. На голове — военная фуражка.

Нрав у него спокойный. Хорошо говорит по-русски. С каждым человеком он сразу находит общий язык и с первых же минут располагает к себе собеседника. Живет он с семьей постоянно в тайге в избе на берегу Тапсуя, почти в трехстах километрах от Няксимволя. Каждую весну вместе с семьей выезжает оттуда. Вот и сейчас в Няксимволе с ним старушка мать, жена и двое детей. Он держит себя здесь независимо, устроился

с семейством в палатке на береговой еловой опушке. Манси в шутку называют его становище Евдяпауль. Интересен еще один манси — Герасим Номин. Низкого роста, худощавый седой старик. Большой говорун, особенно когда навеселе. Этот человек с совершенно белыми, густыми и длинными волосами вызывает почтение.

У других манси тоже семьи. Они располагаются в отдельных лодках, как и семейство Евди. «Холостяками» едут только старик Герасим да его друг Василий Дунаев — долговязый черноволосый манси, всегда с добродушной улыбкой.

У каждого охотника с собой по две лодки: одна крохотная, называется калданкой, ее можно унести под мышкой, другая большая. Все это цепляется на буксир к громадной лодке-неводнику, загруженной продуктами и охотничьим промысловым снаряжением: ружьями, капканами, порохом, дробью. Неводник же поведет на буксире моторка с установленным на ней стационарным двигателем.

Маршрут наш таков: от Няксимволя мы спустимся вниз по Северной Сосьве до устья Тапсуя, затем будем подниматься вверх по этой реке до становища Евди Анямова — Сёлтытпауля.

Моим помощником едет молодой парень Паша Посохин. Рослый юноша с прической в виде охапки сена, небрежно брошенной на голову. Мой спутник был не лишен слабостей, присущих неопытной молодости. Он был неповоротлив, многое у него не получалось. Но, несмотря на это, парень нравился мне. Я помнил его забавные песни в тайге и всегда жизнерадостную улыбку — то, что никогда нелишне в путешествии. Я не забыл его смешную особенность — браться за все, что он не умеет. И, конечно, я был в восторге от его смелости: пробежать босиком по снегу — пожалуйста, нырнуть в осеннюю реку — извольте!

Бывает благодатная пора осенью — сухо, тепло, солнечно. В такой день и отплывали мы от Няксимволя. Причудливые облака, вытянутые толстыми канатами по всему небу, как будто указывали нам путь на Тапсуй.

На берегу многолюдно. Жители села провожают караван. Помахивают рукой Владимир Кирсантьевич Баев и Саша Папуев. Охотовед догонит нас: он задерживается на некоторое время.

Медленно удаляется Няксимволь, красиво расположенный дугой на высоком берегу. Кое-где на прибрежных лугах стоят купола стогов. Возле них работают люди — это те охотники, которые отправятся в тайгу позже. Душистое просушенное сено они переносят на сдвоенные лодки.

Два, три, четыре плавучих стога проскочили мимо нашего каравана...

Через час за поворотом реки показались крыши домов знакомого сельца Нерохи. Отсюда до устья Тапсуя километров двадцать пять. Река Тапсуй впадает в Сосьву возле одноименного поселка. А далее — если идти против течения — на протяжении трехсот километров течет среди хмурой тайги и болот. В верховьях реки сосредоточены избушки нашей бригады охотников.

Вот и устье Тапсуя с тремя старыми избами — остатками когда-то большого поселка. В одном из домов постоянно живет манси Прокопий Соип с семьей, в другом — одинокая мансийка Лиза Секова, третий пустует: до недавнего времени в нем жила покойная мать Прокопия.

Заметно поубавилась скорость — плыть против течения трудно.

Странная река Тапсуй. Вода в ней темная, будто чай. В низовьях Тапсуй неприглядец: низкие берега с зарослями ивняка, чахлый лес, болота почти вплотную подходят к реке... Ни дичи на берегах, ни всплеска рыбы в реке...

К вечеру причалили к высокому берегу. Крутой спуск в зарослях шиповника. На кустах рдеют спелые ягоды. Над ними острыми вершинками в небо тянется маленькая еловая роща.

Ночлег устроили под елями-великанами, в самой гуще лесной опушки. Перед большим костром-нодьей. Без палаток.

Перед сумерками послышался далекий гул лодочного мотора. Старик Герасим прислушался:

— Папуев едет! Догнал...

И верно: Саша прибыл в наш лагерь спустя минут десять вместе со своим четвероногим спутником — псом Черным. Привез радиоприемник «Спидолу». Тихий лес огласился музыкой. Все манси собрались возле нашего костра.

Любят Папуева охотники-манси. За спокойный нрав, скромность, доброту, честность. Просто за то, что он — хороший человек. Они доверяют ему при сдаче пушнины, верят, что достойно оценит каждую шкурку, толком объяснит, почему одна тянет на стопроцентную плату, другая — бракованная. Папуев — желанный гость в каждой таежной избе.

А меня с ним связывают многолетняя дружба и совместные походы по тайге на оленях и лодках. Три больших путешествия. Десятки поездок на глухие притоки Северной Сосьвы. Сотни вечеров возле костра. Нам с Папуевым есть что вспомнить!

Саша, мне кажется, совершенно не изменился за десять лет нашего знакомства: такой же черноволосый, чернобровый, моложавый, с фигурой спортсмена. Охота, рыбалка, езда на оленях, на конях, на лодке с мотором — все это привычные для него дела. Охотник! Может быть, именно она, эта профессия, и не дает ему стареть? Позавидовать можно такому человеку!

Познакомьтесь — Евдя

Рано утром кто-то включил висящую на суку дерева «Спидолу». По лесному затишью резануло звонкой джазовой музыкой, и мы все разом проснулись. Оказывается, Евдя решил пошутить над нами.

— Кончай ночевать! Не на курорт приехали!..

— Ведь темно еще! — раздался глухой голос моего помощника Павла, зарывшегося с головой в спальный мешок.

Евдя постоял возле «Спидолы», поискал передачу на разных волнах. Ворвался разговор по рации.

— Послушаем, послушаем!.. Это Березово с Няксимволем говорит,— остановил Евдю Саша.

Какой-то торговый работник передавал «важное сообщение» в Няксимволь:

«У вас там, я слышал, сухой закон. Отгрузили мы вам немного виновоцких изделий. В Сосьвинском догрузим еще. Как поняли? Прием».

Мы на всю тайгу грохнули смехом. Павел подхватил смешную фразу и стал выкрикивать из спального мешка: «Виновоцкие изделия! Виновоцкие изделия!»

Когда умолк смех, Евдя с укоризной заметил:

— Опять спиртягу везут, а радиоприемники для охотников забывают... В лесу-то, в палатке или избушке, ведь как хорошо послушать музыку, последние известия!

Это верно. Бывает такое в северных селах — нужную мелочь, вроде карманных фонарей или батареек к ним, не сыщешь, а спиртное завозится всегда в достатке. У снабженцев нередко чисто коммерческий подход к выполнению плана.

— Чего наше начальство об этом не беспокоится? — нажимает Евдя на охотоведа.— Продуктами обеспечивает — ничего не скажешь. А спиртного зачем столько завозят? Привезли бы побольше приемников... Или фонарики круглые — как нужны!..

— Зачем они тебе? — Папуев знает — зачем, но нарочно подзадоривает Евдю.

— А вот, к примеру, собака ночью загонит соболя на дерево, подойдешь — смотришь, смотришь: где он? А этим фонариком сделал узкий луч — и осветил зверька. Стреляй!..

— Правильно! С фонариком ночью охотиться можно,— подтверждает старик Герасим.

— А то ведь, чтобы не упустить зверька, разводишь под деревом костер да и не спишь всю ночь, караулишь соболя до рассвета, чтобы не ушел...

Эти разговоры показались мне не пустячными.

Северные таежные охотники дают стране «мягкое золото», что значительно дороже ничтожного электрического фонарика и малогабаритного радиоприемника. Для охотника транзисторный приемник — ежедневная говорящая газета, это открытый мир для человека в лесу. Он находится в таежной глуши, а связан со всей страной, в курсе всей ее жизни. И человек не одинок! Ему живется лучше, веселее, и он охотится плодотворнее!

Выглянуло из-за леса солнце, позолотило деревья. Заголубело над нами небо. Все мы радуемся хорошему утру и предстоящей дороге.

К нашему каравану прибавилась вместительная лодка Папуева с подвесным мотором «Москва». Мы с Павлом перебираемся к Саше.

— Мне тоже с вами хотелось бы, ребята! — говорит Евдя.

— Садись! — спешу раньше всех ответить я: этот манси мне симпатичен, хочется ближе познакомиться с ним, поговорить.

Сегодня Тапсуй мне больше нравится. К берегам стали чаще выбегать сосновые боры, рощи кедрачей и ельников. Оттуда доносится пьянящий запах прелого листа.

Случается так в предзимье — в ясные погожие дни радуется короткому теплу все живое в лесах — и зверь, и птица. Громким голосом оглашают кедровки наше появление на реке.

Евдя всматривается в кроны деревьев, надеясь увидеть шишки. Но шишек на кедрах нет. Кивнув в сторону кричащих птиц, он говорит:

— Сам-то какой,— показывает полпальца,— а нос-то вот какой,— вытягивает палец целиком.— Шишки начисто сшибает!..

Как и следовало ожидать, Евдя оказался интересным собеседником.

На одном из поворотов реки на берегу замаячила приметная группа сосен.

— Два года назад тут медведицу убили...

И Евдя рассказывает. Мимо этих сосен проплывала лодка с рыбаками, среди которых находился четырнадцатилетний парнишка. Рыбаки заметили на берегу двух играющих медвежат и залюбовались лесной идиллией.

Но вдруг послышался устрашающий рев, и из кустов к реке выбежала медведица. Медвежата пустились наутек и через секунду-другую были на одной из сосен. Разъяренная мать бросилась в воду и устремилась вплавь к рыбацкой лодке. Взрослые перепугались. Не растерялся только парнишка: он схватил чье-то ружье, успел зарядить его картечью и выстрелил в голову медведицы, когда та была уже у самой лодки. Он спас себя и взрослых от гибели.

Мы с Павлом покосились на сосны, словно ожидая повторения страшного случая. Но на сей раз медвежата не играли на берегу.

На многие километры растянулся однообразный речной ландшафт. Глазом не к чему приковаться. В такие минуты мы чаще беседуем.

Разговор как-то невольно склонился к биографическим справкам. Спрашиваю Евдю:

— Где научился говорить по-русски?..

— В школе... В Ивделе жил маленько...

Жизнь этого охотника несложная. Родился в 1937 году на Пелыме. Детство провел на этой зауральской таежной реке. У Евди было семь братьев и сестра. Все умерли, остался только Евдя. Отец пошел как-то с Пелыма в город Ивдель, заболел там и умер.

— Я ходил к нему на могилку-то,— рассказывает Евдя.— Тогда и остался в Ивделе...

Это единственный город, который он знает. И «можно было там жить, да без охоты-то скучно стало»... И уехал Евдя в таежную глухомань, туда, где покоились кости его предков,— на речку Сёлтыт. Там, недалеко от дедовской избушки, уже подгнившей и развалившейся, он с помощью няксимвольского промохотхозяйства выстроил себе добротную избу. И зажил этаким «князьком» — вся природа к его услугам: звери, дичь, рыба, грибы, ягода... Стал одним из лучших охотников-промысловиков.

Наш разговор прерывается появлением на берегу глухаря и копалухи, которые, взлетев, садятся на первом же дереве.

Я кричу Евде с Папуевым, взявшим ружья:

— Умоляю! Не стреляйте!..

Глухарь и копалуха, видимо, молодые, не пуганы: глухарка квохчет, а самец сидит неподвижно, вытянув шею. Евдя смотрит с улыбкой на мою поспешную возню с киноаппаратом.

— Не торопись! Они в кино-то любят сниматься. Быстро не улетят...

Тапсуй сегодня радует нас веселыми березовыми рощами. На берегах без конца полыхает златокудрый хоровод белоствольных красавиц.

Я с интересом присматриваюсь к нашему спутнику. Все больше нравится мне этот мансийский крепыш с веселой душой, с постоянной хитринкой, я бы сказал, с «улыбкой» в глазах.

Гляжу на Евдю, и на память приходят стихи мансийского поэта Ювана Шесталова:

У нас быстрота от резвых рыб,
От них порыв и пыл.
А наш осетр, наш добрый друг,
Нас к важности склонил.

В нас нежность сосьвинских сельдей,
Напористость язя,
Живучесть с отроческих дней
У нас от карася.

Глаза тайменей молодых
Прекрасны, как цветки.
Мы детям подарили их —
Сынам моей тайги.

Прыть хариуса-молодца
Нам по душе пришлась,
И от налима-хитреца
Есть кое-что у нас.

Приближались к месту, которое Евдя назвал Тапсватпаулем. Я ищу глазами деревушку на берегу, но, кроме одной крохотной избенки, ничего не вижу.

— А где же деревня?..

Евдя смеется:

— Тут ее никогда и не было! В нашей тайге одна изба тоже зовется пауль. Эта — Тапсватпауль, моя — Сёлтытпауль...

Причаливаем. Выходим на берег. Рядом с избой горит костер, обгороженный со всех сторон бревенчатым срубом, должно быть, защитой от ветра. У костра сидит старик с пышной седой шевелюрой и мешает варево в котле. В стороне рубит дрова молодой парень.

— Здорово, Устин! — протянул ему руку Папуев и, обращаясь ко мне, сказал: — Это наш охотник Анемгуров и его отец...

Старик у костра при виде охотоведа заулыбался и замотал головой:

— Сашка! Пася, пася...

— Хорошо приехали. К обеду,— сказал Устин.

Он сходил в избушку, вынес оттуда крохотный стол на коротеньких ножках и расставил на нем миски с кружками. В мисках дымилось горячее лосиное мясо.

— Спать, наверно, скоро будем: солнышко-то к земле клонит,— говорит Евдя.

— Плыть да плыть еще можно...— посмотрел на небо Саша.

Подумав немного, он добавил:

— Знаешь что, Евдя, я сейчас поплыву вперед, на Ворью загляну, к Николаю Первому. А ты оставайся, жди караван. Завтра к вечеру ожидайте меня на устье Ворьи.

— Емас,— согласился Евдя, что означало «хорошо, ладно».

— Хотите прогуляться со мной на Ворью? — предложил мне Саша.— Надо повидаться с одним охотником...

— С удовольствием!

— Плывем! — сказал Папуев, усаживаясь за мотор.— До ночи будем в Ворьяпауле...

Таежный отшельник

Речка Ворья впадает в Тапсуй в пяти километрах выше Тапсватпауля. Мы быстро пронеслись это расстояние и слева по ходу увидели ничем не примечательное устье Ворьи. Нашей лодке сразу стало тесно, крутые повороты, завалы — Саша то и дело сбавляет обороты мотора.

Я вспомнил странное имя, названное Папуевым. Спрашиваю его:

— Что это за Николай Первый скрывается в ваших лесах?..

Саша улыбнулся.

Вот что он рассказал.

На Ворье, в старинной избушке Маньсяркынгсуйпауль, живет пожилой манси Анемгуров Николай Васильевич. И в поселке Нёрохах есть тоже Анемгуров Николай Васильевич, помоложе. Манси для различия двух однофамильцев прозвали старшего Николаем Первым, а младшего окрестили Николаем Вторым.

Дорога была долгой. Перед сумерками мы подплыли к высокому обрывистому берегу с сосняком. Над обрывом чернели покосившийся лабаз-сомья и разрушенный мансийский дом. В глубине леса — развалины изб.

— Это Ворьяпауль,— объясняет Саша.— Когда-то бойкое место. Теперь здесь пусто.

Наша лодка вплывает в длинный прямой плес, в конце которого за одинокой курчавой сосной виднеются мансийские избенки.

— Приехали,— говорит Папуев.

Нам издали видно, как от сосны к реке спускается седой манси с собакой. Старик ждет нас. И вот мы уже рядом.

Саша приветствует с лодки:

— Здравствуйте, Николай Васильевич! На денек в гости к вам...

— А!.. Сашка! Заруливай! — махнул рукой старик.

Я внимательно рассматриваю Николая Первого. Совершенно белые густые волосы, черные мохнатые брови, удлиненный нос с горбинкой, продолговатое лицо, темные пытливые глаза — похож на североамериканского индейца!

Знакомимся. Саша заводит со стариком разговор о предстоящей зимней охоте, что-то о плане на пушнину толкует. Анемгуров прерывает его:

— Ты ко мне в гости приехал — пойдем сначала чай пить, потом говорить будем...

Поднимаемся на высокий берег. Три домика стоят на ровной поляне в окружении молодого сосняка, рядом лабаз на четырех сваях, посредине навес. На длинных жердях развешано много распластанных щук.

Старик ловит мой пристальный взгляд на рыбу:

— Это ехул... Собак кормить зимой... Да и сами иногда поедим.

Ехул — это вяленая рыба, юкола.

Загляделся на кучу оленьих рогов. Старик заметил и это.

— Знаешь, зачем собираем рога?.. Клей варим из них, клеим лыжи, то да се... Шибко хорошо!..

Ближайший к берегу крохотный домик — это банька. Чуть дальше — старая приземистая мансийская изба, почерневшая, с деревянной трубой, с гнилой, усыпанной соболиными черепами крышей. Ближе к лесу — новый теремок, сверкающий белизной досок и гладко обтесанных бревен.

Хозяин приглашает в новый терем. Вход с запада, низкий, приходится нагибаться. Окна только в южную и восточную стороны. К северу обращена глухая стена. Оглядываем жилище. Изба без потолка. На стропилах прибито много длинных сосновых дранок. На них лежит сшитая из бересты кровля.

Наступила вечерняя темнота, старик зажег керосиновую лампу. Вечер начали с чаепития и разговоров.

Николаю Васильевичу всего 57 лет. Участвовал в Великой Отечественной войне, был ранен. В армии научился хорошо говорить по-русски.

И как-то невольно возник у меня первый вопрос:

— Почему вы не уезжаете отсюда в село, живете один?..

Анемгуров подумал и не спеша ответил:

— Мой дед жил здесь. Дед деда — тоже... И никто из нашего рода не помнит, когда первый Анемгуров пришел сюда... Я похоронил здесь отца... В сорока метрах отсюда... Там же лежит и мать... И я хочу умереть здесь.

На эти доводы у меня не нашлось слов. По-видимому, всем известно святое чувство родины. Даже если родина эта — лесная опушка на берегу глухой реки, островок среди болот. На всю жизнь остается милым сердцу это место.

Старик ласково гладит сидящего у его ног щенка:

— Да я не один. Вот мой товарищ... Серко... Он как хум, человек...

И мы после этого прозвали щенка Серко-Хум.

У современных лесных манси, занятых непосредственно охотничьим промыслом, наиболее интересно то, что они сохранили в своем быту элементы старины, по которым можно судить, как жили их предки.

Чем же пользовались у природы их прадеды в своих глухих труднопроходимых лесах Северного Зауралья? Им незнакомо было ни огородничество, ни хлебопашество. Кормила их охота, рыбная ловля. Орудие для ловли рыбы плели из прутьев ивняка, кедровых корней. Сети — из крапивы. Посуду делали из бересты и дерева. Одежда и обувь шилась из шкур зверей. Нитками для сшивания шкур служили лосиные сухожилия. Даже и теперь этой нитке манси-охотники отдают предпочтение: она долговечнее хлопчатобумажной, не гниет от воды.

В лесной избе манси-охотника вы иногда встретите почти настоящий музей старины. Обычные для него вещи вызовут у вас удивление. Берестяная и деревянная посуда, древний музыкальный инструмент санквылтап, разукрашенные замысловатым орнаментом детские люльки, сшитые из бересты, ножны из оленьих рогов и многое другое — все это сделано своими руками.

Манси — природные охотники. Кто лучше их понимает повадки глухарей? Эта птица издревле кормит лесных людей круглый год. Кто лучше манси знает жизнь лося — животного, мясо которого испокон веков для

них — хлеб, шкуры — одежда, постель и обувь, камус с ног — обшивка для лыж?

Жители лесных паулей относятся к птицам и зверям бережливо. Рядом с избами гнездятся рябчики, кулики, утки, нередко пасутся дикие северные олени, лоси. Зайцы проторили тропы вблизи домов. И вообще любая лесная живность здесь не особо остерегается людей.

Николай Васильевич рассказывает:

— Ты не поверишь, в старом Ворьяпауле я знаю тетеревиный ток прямо перед домом! Откроешь дверь, а косачи у крыльца токуют. Когда мальчишкой был, мы их камнями гоняли...

Удивительно слышать: тетеревиный ток перед крыльцом дома? Но я привык верить манси, потому что не встречал врунов среди них. Забегая вперед, скажу: однажды я все-таки посетил Ворьяпауль для съемки этого необычного тетеревиного тока. Моя кинокамера действительно стояла в сенях того дома, а косачи на самом деле плясали перед объективом в трех метрах от крыльца...

Собиратель древних охотничьих атрибутов мог бы позавидовать убранству старой избы Анемгурова. На стене висело старинное ружье, кажется, столетней давности. Целая гроздь кожаных мешочков с круглой пороховницей. И самое замечательное — здесь был набор всевозможных охотничьих стрел с луком. И тут же рядом находились два лодочных мотора «Ветерок-12», мотопила «Дружба», мелкокалиберные винтовки ТОЗ-16 и охотничье промысловое ружье «Балка».

Саша показал на стрелы:

— А эта древность откуда?

Старик улыбнулся:

— Еще отец мой ребятишкам делал... Знаешь, раньше у нас ружьев не было, люди стреляли зверя и птицу из луков...

Николай Васильевич показал нам набор стрел, предназначенных для охоты на различную лесную живность. Стрела с большим ножевидным наконечником годилась для крупных зверей — лося, оленя, медведя. И устанавливалась она на самострелах. На глухаря, тетерева, рябчика, соболя и белку применялась другая стрела — с деревянным набалдашником: она оказывала ударное действие. И наконец, совершенно оригинальной была стрела с каким-то крючковатым жалом, словно змеиным

языком. С такой стрелой охотились на уток, когда они собирались в большие стаи. Пролетая в гуще птичьих тел, стрела обязательно зацепит одну из уток.

— Мой сын, когда рос, на охоту ходил с такой стрелой,— говорит Анемгуров. Старик подумал немного и добавил: — А из луков стреляли, наверно, те люди, которые давно-давно жили в землянках.

— В каких землянках? — насторожился я.

— Завтра тебе покажу...

Следующий день был насыщен волнующими для меня открытиями. Я узнал и увидел места, о которых, вероятно, не подозревают исследователи древностей.

Утром Анемгуров повел меня по тропинке в лес. Впереди бежал щенок Серко-Хум, похожий на волчонка. Тропа вилась по невысоким буграм среди молодого сосняка.

Подойдя к обочине бугра, обрывающегося к болоту, мы одновременно увидели важенку — самку дикого северного оленя. Заметив нас, она метнулась. Старик сорвал с плеча «мелкашку», побежал. Но олень умчался в глубину леса.

— Ты счастливый человек! — говорил потом Анемгуров.— Вор сали увидели с тобой!.. Вор сали — значит дикий, лесной северный олень.

Мы снова поднялись на бугры. На высоком гребне бора я увидел серию глубоких ям с четкими контурами квадратов былых землянок.

— Вот они... Я еще маленький видел их. Тогда тут большой бор был, потом сгорел...

В углублениях землянок торчали толстые обуглившиеся пни. Здесь когда-то стоял столетний лес. Среди этих ям рос и молодняк, возраст которому не менее полсотни лет.

Контуры землянок и выходов из них хорошо сохранились. Я насчитал до десятка больших квадратов на земле. Тут были громадные, многосемейные подземные жилища и маленькие, совсем крохотные.

— Это, наверно, собакам дом...

Для меня очень важны были мысли самого Анемгурова, всю жизнь видевшего землянки по соседству со своей избой. Манси сам рассуждал, предполагал, обдумывал.

— Давно, может тышша лет назад, тут люди жили... Недалеко отсюда есть горка — там тоже землянки.

В старом Ворьяпауле тоже есть одна землянка, самая большая из всех. Когда я был мальчишкой, мать водила туда, показывала и говорила: «Это наши старые люди жили в земле, когда дома не умели строить...»

Уж очень напоминают эти землянки чудские обиталища в Приуралье! Племена, жившие там в землянках, были названы «чудью» новгородцами, первыми русскими, проникшими к Уралу. Летописное сообщение о первом походе новгородцев на Югру относится к 1030 году. Может, прав старик: «Тышша лет назад тут жили люди». Не к тому ли времени — XI веку — относятся и эти ворьинские поселения?..

Любопытное место для археологов! Если произвести здесь раскопки, наверное, найдутся ценные предметы материальной культуры древних вогулов.

Анемгуров задумался:

— Знаешь, один старик говорил мне: он лисью нору нашел в бору Холасисуй — это выше по Ворье. Лопату брал, копал. Кость человека увидел. Испугался, убежал.

Николай Васильевич посмотрел на меня, как бы изучая, какое действие оказало его сообщение. И продолжал:

— Наверно, люди, которые жили тут, в землянках, там своих мертвых хоронили...

Это известие еще больше заинтересовало меня. Интересуюсь, что значит «Холасисуй». Выясняю: «хола» — мертвец, покойник; «си» от «сир» — род, люди; «суй» — бор. Холаси — значит «мертвые люди». Получается: Холасисуй — бор мертвых людей, или бор мертвецов.

Значит, в Холасисуе — древний могильник. Об этом говорит само название и обнаружение человеческих костей.

— Далеко ли до бора?..

— Километров пять-шесть будет...

— Дорогой Николай Васильевич, поедем туда!

Вернулись в избу. Саша встретил нас чаем. Мы рассказали ему о своем путешествии и предложили прокатиться вверх по Ворье к загадочному бору.

— Охотно!..

Быстро промчались пять километров по Ворье на лодке. У стены черного леса вышли на берег.

— Холасисуй тут, рядом,— сказал Анемгуров и повел нас в темноту лесной чащи.

Это был старый кедрач с отжившими свой век деревьями. Глубоким мхом заросла не только земля, но и лежащие кедровые старики — валежник.

Потом легкий подъем на бугор, и впереди между стволов сверкнули сосны, высокие, кряжистые. Вышли к открытому бугру, сплошь заваленному деревьями-мертвецами. Под одной из сосен — неглубокая короткая траншея-подкоп. В одной стороне ее круглый ход под землю — нора. Щенок Серко-Хум наполовину исчез в ней, принюхивается там.

— Здесь, видать, и копал старик!..— остановился Николай Васильевич.

— Костей не видно! — рассматривая траншею, говорит Саша.

— Может, лиса в норе спрятала. Или рассыпались. Ведь старая кость, пока в земле лежит,— твердая, вынул ее оттуда — скоро в муку превратится...

Думаю, что здесь нужны раскопки, какие проводил уральский краевед Лунегов на древних захоронениях вокруг Чердыни. Землянки в Маньсяркынгсуйпауле и этот могильник, возможно, берегут древние ценности для музеев.

А день уже опять клонился к вечеру. И Саша Папуев беспокоился.

— Нам пора на Тапсуй: охотничий караван ждет!..

Мы не задерживались в избе Маньсяркынгсуйпауля. Саша еще раз поговорил со стариком о зимнем плане на пушнину. Получил от него кое-какие заказы. И мы покинули ворьинского отшельника.

Вниз по реке лодка мчалась птицей. Свой охотничий караван мы догнали двумя километрами выше устья Ворьи. Там, в ельнике, уже горели костры многолюдного табора.

К могилам предков Евди

Сизый туман сковал под утро Тапсуй. Стало очень холодно. Услыхали голос Герасима:

— О-о, зима начался!..

За ночь деревья и трава по берегам, кустарники и наши лодки — все покрылось густым белым инеем.

— Быстро костер надо! — засуетился Саша.

— Чай в первую очередь! — кричит Евдя.

Вскоре среди еловой рощи запылало гигантское пламя. Все наше «население» потянулось к нему. Особенно женщины с детьми.

После первой же кружки чая нам уже не страшен мороз. С приподнятым настроением бодро готовимся в путь.

Караван тронулся, когда солнце только-только стало появляться из-за горизонта. Еще холодно, но мы одеты тепло: ватные телогрейки, ушанки. Папуев даже полушубок надел и валенки, а на руки — меховые рукавицы.

Мы с охотоведом вырываемся вперед каравана: надо сделать съемки живой природы. По берегам тянется сплошной сухостой. Сквозь его густую стену, где-то еще внизу, в самой чаще тайги, поблескивало восходящее солнце.

Вдруг слышу свист Папуева. Сигнал этот, как мы договорились, должен означать появление на берегах дичи или зверя. Я оглянулся. Саша показал взглядом вперед. Прямо перед нами перелетели реку сразу три глухаря...

Особенно хорош глухарь, сидящий на кедре. Изящно выгнув длинную шею, он следит за приближением лодки. Уже начинает беспокоиться, готов улететь. А объектив, как назло, не устанавливается.

Я видел, как птицы разлетелись в разные стороны. Берег опустел, интересный кадр был упущен.

— Эх, какой проморгали случай! — сокрушался Саша.

Я был готов бить себя по голове телеобъективом.

Снова раздается свист Папуева. Моя рука тянется к аппарату. Быстро оглядываю берега. И успеваю только заметить мясистый круп убегающего от реки лося. При этом с берега раздается хруст и треск.

— Лось-то идет — только кустики разговаривают,— смеется Евдя.

— Ох, и бычина подрал! Рога — во! — широко раздвинул руки Саша...

Не заметили, как и этот день прошел. Завечерела тапсуйская природа: солнышко покраснело и стало цепляться за макушки деревьев, снова готовилось подарить нам неведомую ночь в неведомом лесу.

Показались высокие лесистые берега. На одном из них открытое место, окруженное еловой рощей. Евдя показывает туда:

— Вот и Хулюмпауль. Была когда-то деревня в семь домов, а теперь одна трава растет...

Я с любопытством смотрю на это былое мансийское обиталище. Евдя продолжает рассказывать:

— Дедушка-то мой похоронен во-он в том густом ельнике...

— Давайте остановимся!..

— Да нет... Надо немного дальше проплыть,— сказал Евдя.

Знаю, что манси не любят, когда кто-то из посторонних останавливается на ночлег возле их кладбищ и тревожит вечный покой стариков. Лесная усыпальница предков — это святое место даже и для неверующих.

Мы поднялись немного выше по Тапсую и под большими береговыми елями вблизи реки Хулюмьи выбрали место для лагеря. Разожгли костер. При свете пламени сумерки, как мне показалось, резко сгустились. Наступила темная ночь без звезд, без ветра. Теплая, пасмурная.

Слышен был гул приближающегося каравана. На медленном ходу подплывали к нашему лагерю охотники...

Утром с неба сыпала мелкая морось. Шел неприятный осенний дождь. Я взял ружье и постарался незаметно уйти из лагеря в сторону Хулюпауля, чтобы взглянуть на могилы предков Евдп.

Плутать мне пришлось изрядно: ни троп по берегу, ни дорожек... Ничто не напоминало о том, что вблизи когда-то находился мансийский поселок. Путь я держал на чернеющую впереди еловую рощу.

Наконец вхожу в таинственный полумрак ельника. Да, здесь маленькое кладбище... Оглядываюсь, как вор: не смотрит ли кто? Нет, здесь я как будто один... Но внезапный гул заставляет мое сердце словно подпрыгнуть — с земли, шумя крыльями, поднимается бородатый «сторож» лесного некрополя — глухарь. Громадная черная птица пронеслась над могилами и скрылась в лесной чаще.

Вот она, усыпальница мансийских стариков! Деревянные срубы над захоронениями сгнили, провалились

в землю. Истлевшие плахи склепов густо поросли мхом и ковриками брусничника. Над коричневой древесной трухой свисают спелые темно-красные ягоды. Пройдет еще несколько лет, и последнее пристанище давно ушедших из жизни людей превратится в сплошной ягодник.

С древнейших времен была известна привычка манси — хоронить своих умерших в глухих местах тайги, чтобы ничто не нарушало их покоя. Поэтому не случайно в народе бытовало выражение: «Умереть — значит уйти в дремучий лес».

Я не стал задерживаться в ельнике. Любопытство удовлетворено: можно возвращаться в лагерь.

— А где добыча? — спросил Евдя, увидев меня с ружьем.

Я насторожился: уж не ходил ли он следом за мной и не видел ли глухаря, пролетающего над могилами?

Селтытпауль близко

Наша лодка опять мчится впереди каравана. Евдя с нами.

— Ну, скоро ли будет твой Селтытпауль? — спрашивает его Паша.

— Еще одна маленькая избушка, потом уж будет Селтытпауль...

Проплыли устье речки Лыраки. Чуть выше его — избушка с лабазом и сушильным навесом для мяса. В этой избушке всю зиму будет жить старик Герасим с сыном, который придет к отцу на лыжах позже. А пока Номин плывет с нами до Селтытпауля, в «штаб-квартиру» Евди, где будут храниться основные запасы продовольствия на всю артель охотников.

Выше избушки по Тапсую навстречу нам то и дело плыли деревья.

— Скоро поработать придется, разбирать завалы,— говорит Евдя.

На таежных реках лес вплотную подходит к берегам. Постепенно подмываемые водой, деревья падают в реку, уносятся течением и где-то, в местах с тесным руслом, скапливаются. Плавучий лес постепенно перепруживает реку, и лодкам ее уже не пройти. Даже одно упавшее

поперек реки дерево может стать причиной затора: за него цепляется все, что плывет с верховий.

Мы разобрали несколько таких завалов, перерубая топорами на части сдерживающие лесины. Лавина бревен плыла дальше. Где-нибудь она создаст новые заторы.

Теперь мы плывем в тесном лесном коридоре. Долгое время Тапсуй петляет в темнохвойной тайге. От леса веет настораживающей таинственностью. Собаки нервно следят за берегом.

Сегодня Тапсуй совсем другой. Высокие обрывистые берега с сосновыми борами. Лес густой, столетний, нетронутый. Русло реки теперь как будто награждало нас своими великолепными видами за те унылые пейзажи, что видели мы в среднем течении.

Это замечательно, что мансийская тайга до самого конца путешествия что-то скрывала от нас и вдруг неожиданно открыла свои какие-то сокровищные глубины.

Через несколько поворотов Тапсуя слева к нему выбегает маленькая речка. Евдя радостно оповестил:

— Селтыт!.. А во-он и избушка моего деда!..

Мы едва различили под кряжистыми соснами маленькую развалившуюся халупку. Толстые покосившиеся сосны широко разметали свои скривленные ветви над крохотным жильем. Редко теперь в лесах встречаются такие великаны-деревья. От них всегда веет далекой стариной.

Поворот влево, поворот вправо, еще несколько раз так же, и на чистом высоком берегу мы увидели традиционные мансийские сооружения — лабазы на длинных сваях-столбах.

— Вот и Селтытпауль,— объявил Евдя.— Тут и зимовать будем...

— Селтытпауль... Селтытпауль...— мечтательно и тихо говорит старик Герасим, оглядывая конечный пункт нашего путешествия.

Были в этих словах и грусть, и воспоминание... Повидимому, многое в жизни Герасима связано с этими лесными глубинами. Не один год своей молодости провел от здесь с ружьем. Может быть, именно здесь встретил он свою первую любовь и вспомнил сейчас те далекие счастливые годы...

Евдя приглашает нас в свое жилище. Мы идем через бор по густому ковру брусничника. Вот и дом, стоящий

среди просторной вырубки в сосняке. Вокруг него многочисленные поленницы дров на зиму. Невдалеке — маленькая банька.

Изба у Евди большая. Стены снаружи увешаны оленьими рогами. Внутри просторно, светло. Вместительные лежанки по сторонам, большой стол у окон, железная печь... Евдя живёт исправно, чувствуется, что он хороший охотник и заботливый хозяин.

В день нашего приезда жена и мать Евди оделись в новые парки, расшитые цветным мехом. И дочку Таню они одели в такую же парку, только маленькую. Широкие подолы этой одежды украшены мансийским орнаментом, напоминающим следы глухаря на снегу.

Евдя вышел зачем-то из избы и тотчас же вернулся:

— Белые мухи полетели!..

Все бросились к окнам. С неба медленно падали крупные снежные хлопья. Трава и кустарник перед домом постепенно покрывались нежным белым пушком.

— Паша! На съемку! — сказал я и вышел из дома с киноаппаратом.

За нами направились охотники.

В лесу царило полное безветрие, стояло поразительное затишье. Словно природа оцепенела перед наступлением неожиданной перемены. Заходящее солнце за тайгой еще освещало вершины сосен, окрашивая их в густой оранжевый цвет.

Снежные хлопья, как маленькие парашютики, совершенно вертикально спускались с голубеющего еще неба. На высоте они тоже были окрашены в оранжевый цвет. Но когда опускались ниже, миновали солнечные лучи и попадали в тень,— становились синими. На землю же падали белыми.

Это было великолепие, которое редко видишь в жизни.

Чудное мгновение исчезло, как только солнце скрылось за горизонт.

Первый, внезапно выпавший на Тапсуе снег создал своеобразную картину. Травинки согнулись от нежного белого пуха. На темной хвое сосен белые опушки. Снег разрисовал желтые, еще не опавшие листья на некоторых березах.

Здесь, на Севере, всегда так — стоит теплая осень, и вдруг однажды подаст первый голос зима. Посыплются

с неба белые звездочки, украсят все кругом. Приплыли мы осенью, а спать ложимся зимой...

Кто в тайге хозяин?

Утром Евдя весело говорит:

— Зимовать вам, наверно, придется. Маленькую съемочку сделаем — медведя в берлоге...

Ну что может быть в тайге интереснее темы о медведях! Она постоянно волнует всех — и охотников, и не охотников. Истории о встречах с «хозяином» тайги можно слушать, что называется, развесив уши... И никогда не надоест этот вечно интригующий разговор.

Тут мы основательно тряхнули Евдю и старика Герасима — заставили их выложить о медведях все, что они знали.

— Оставайтесь у нас на зиму,— обратился ко мне Евдя,— найдем берлогу, завалим топтыгина, устроим праздник...

— Праздник медведя?! — спросил я, оживившись.

— Придется сыграть... Старики наши по этому случаю всегда праздновали...

Завелся оживленный разговор о древнем ритуале, совершаемом почти всеми северными народностями. Известно, что у многих жителей северной тайги, в частности у манси, существовал культ медведя. Зверь этот издавна был окружен ореолом почитания, люди перед ним всегда трепетали, боялись его, но... всегда охотились за ним.

Медведь у манси считался существом сверхъестественным, сыном неба, хозяина Верхнего Мира — Нуми Торума. Говорили про него только почтительно в третьем лице: «он», «старик», «хозяин». Худого слова нельзя было произносить о нем. Хвастливых и не уважающих его медведь якобы не любил: смертоносные когти зверя всегда находили хвастуна.

Страшна и рискованна была охота на хозяина леса. Сколько требовалось самообладания, сколько выдержки и спокойствия! Люди рисковали своей жизнью на медвежьей охоте.

Надо сказать, что при охоте на медведя большие надежды возлагаются на собак. Лайка — первый друг ман-

сийца с незапамятных времен. Она его и защита, и кормилица, и вечный спутник в скитаниях по тайге.

Кто найдет охотнику соболя, белку, куницу? Кто отыщет среди леса затаившуюся пернатую дичь? Кто облает лося? Все это делает лайка. Она раньше, чем человек, обнаружит зверя, птицу, первая почует приближение опасности.

Хорошо сказал об этом Евдя:

— Без собаки я что?.. Только рябчиков могу стрелять!..

Манси без своих лаек в лес не ходят. Успех их охоты в значительной степени зависит от этих четвероногих друзей. И особенно при охоте на грозного властелина тайги — медведя.

И вот находит манси берлогу. Находит ее случайно. Иногда сам, своим острым охотничьим глазом. А иногда логово зверя обнаруживает собака.

Охотник не тревожит заснувшего медведя. Запоминает или метит место и поспешно уходит от берлоги.

— Один на один с хозяином лучше не ходи,— поясняет старик Герасим.— Другое дело, когда с ним столкнулся,— деваться некуда. Тут уж не зевай!.. Но не стреляй, когда он идет головой к тебе!.. Сразу задавит!..

Евдя перебивает старика:

— Мужиков созываем на помощь, собак побольше приводим. Главное — не выпустить из берлоги медведя!..

— Что ты!..— поддакивает Герасим.— Прозевал — тогда поминай как звали: вылетит из берлоги пулей...

— Поэтому он только башку показал из берлоги, а ты — стреляй! — торопится пояснить Евдя.— А то дело худо будет: выскочит, псов разорвет да еще когтями кого-нибудь из охотников прихватит по дороге. Глядишь, кто-то из мужиков уже валяется в снегу...

Мы с Павлом слушаем, притаив дыхание, ясно представляя эти страшные минуты охоты.

Евдя в рассказе окончательно берет инициативу в свои руки:

— Говорят, медведь — косолапый, неуклюжий... Черта с два! Как выскочит, головы повернуть не успеешь — его уже не видно, удрал...

— Лося свободно на всем скаку догоняет,— успевает многозначительно вставить старик Герасим.

— Бывает и такое,— хитро взглянул на меня Евдя,—

медведь бросается прямо на то дерево, на котором сидит человек...

Все, конечно, смеются, поглядывая на меня. Очевидно, представили картину, как разъяренный медведь стремительно лезет на дерево, где я сижу с киноаппаратом.

А Евдя развивает шутку:

— Полезет медведь-то к тебе, а ты в него шапкой кинешь. Он подумает — ты валишься с дерева, обеими лапами будет ловить шапку и упадет, убьется...

И пуще прежнего охотники смеются. И я тоже со всеми вместе...

Когда манси убивали медведя, устраивалось большое торжество. Древний обычай требовал до начала пиршества исполнять особый ритуал перед головой и шкурой убитого зверя. Хорошо описал начало медвежьего праздника писатель Морозов-Уральский.

На празднике этом можно увидеть характерные мансийские танцы, всевозможные импровизированные представления. И, как сказал поэт Шесталов, там «можно драться, но не кулаками, а острым колким словом, песнею-стрелою, огненными плясками... Медвежий праздник — это совсем не религиозный праздник, как утверждают некоторые, а праздник охотников, жаркая баня с острыми словами, крылатой пляской, нежной песней, волшебной музыкой!»

Раздумья о суровом крае

Разговор о медвежьем празднике заронил в мою душу новую беспокойную мечту. Удастся ли когда-нибудь осуществить ее — заснять исчезающий охотничий обряд?

Умирают старики, под натиском нового времени умирают и древние привычки. Наверно, настанет пора, когда медведей в мансийских лесах будут считанные единицы, и упоминание о празднике в честь этого зверя уйдет в область преданий.

И еще я думал — пусть эти таежные края, веками питавшие местное мансийское население, останутся навсегда главными охотничьими угодьями — базой и рассадником ценных промысловых птиц и пушных зверей в Северном Зауралье. Мы, люди,— существа оседлые,

нам необходим дом, а птицам и зверям нужно немалое лесное пространство. Заболоченная чахлая тайга с отдельными небольшими островами боров и кедрачей — такие места очень трудны для промышленного освоения. А для охотников — это рай. Для птиц и зверей — надежный дом, куда не придут браконьеры: браконьер — трус. А трус не любит трудных таежных дорог.

Мы не имеем права лишать животных и птиц их жизненного пространства, теснить их и тем самым обрекать на вымирание. Входя в тайгу, мы должны чувствовать, что пришли в дом к друзьям, и обязаны соблюдать этикет. Кто забывает об этом, тот совершает преступление перед родиной, человечеством.

Если под этими болотистыми лесами находятся нефтяные, газовые и рудные сокровища, надо осваивать их так, чтобы не погубить природного заповедника на земле, сохраненного для нас многочисленными поколениями манси с самых древнейших времен.

Думалось мне и о таежных охотниках. После знакомства с Евдей я понял, как ошибаются те, кто считает, что жизнь промысловика состоит из одной лишь романтики! Охота, когда она становится профессией,— это тяжкий труд.

Сколько еще трудностей ждет охотников, когда наступят настоящие зимние морозы. А здесь, на Тапсуе, они бывают лютыми! Где застанет ночь добытчика пушнины, он не знает: вернется ли к вечеру домой или уйдет за десятки километров от своего жилища. Соорудить шалаш, развести костер на снегу, приготовить неприхотливый обед над огнем — разве легко сделать все это среди зимнего леса?

Однако мансийские охотники иных условий не знают. И даже когда нам жизнь в тайге кажется совершенно невыносимой, они стойко преодолевают все невзгоды лесного существования.

Возможно, деду Евди достаточно было избушки, размер которой во всех параметрах ограничивался только ростом человека. Евде этого мало. Мансийским охотникам сейчас нужно значительно больше, чем когда-либо.

Для киносъемки я посетил все верхние притоки Северной Сосьвы. Мне знаком каждый из мансийских охотников этого района: со многими пришлось коротать весну, осень и долгие месяцы зимы в их отдаленных

промысловых избушках. Знаю их нужды. Бесспорно то, что современные промысловики Севера снабжаются добротным огнестрельным оружием, всевозможными средствами промысла, необходимым снаряжением, продовольствием и транспортом. Но с каждым годом всего этого становится недостаточно, так как возрастают планы добычи, повышаются культура и жизненные запросы самого промысловика.

А верхнесосьвинские манси-охотники заслуживают особого внимания. И вот почему.

Няксимвольское промыслово-охотничье хозяйство — самое отдаленное в Березовском районе — расположено в предгорной части Северного Урала. Одиночные охотничьи избы здесь разбросаны по тайге на большие расстояния. Дойти до них — дело нелегкое. Дорог почти нет. Ими служат только реки, зимой и летом.

Охотхозяйствам, подобно Няксимвольскому, очень нужны современные средства транспорта — вертолеты. И не только для медицинской помощи промысловикам, но и для экстренной заброски им необходимого продовольствия и вывозки трофеев. Вертолет типа Ми-2 должен быть в каждом охотхозяйстве, постоянно служить охотничьему промыслу. Этого надо добиваться сегодня. Но и о таежных вездеходах — оленях забывать не следует.

Восстанавливать надо оленей в Няксимволе! Об этом важном деле много лет хлопочет охотовед Александр Савельевич Папуев.

Папуев предупредил нас:

— Друзья, с отплытием надо торопиться, в верховьях река уже запаивается льдом...

Несколько дней упрямилась поздняя осень. Солнце пыталось растопить снежную кухту на деревьях, ветер старался сбить ее с ветвей. Тем не менее в природе совсем уже тихо звучала последняя осенняя песня. Значит, близился день, когда по-настоящему спустится с неба зима и мансийская тайга будет надолго скована белым безмолвием.

Мы собирались в обратный путь по Тапсую. Заметно поредел наш караван. С нами теперь были только Саша Папуев, Костя-моторист да старик Герасим. Он спустится на нашей лодке до своей избушки, там зазимует.

Я слышал, как Евдя на прощание твердил Саше:

— Пока мы охотимся, ты не забывай, что заказали тебе мужики! Петр Дунаев с Василием просили по мотору «Ветерок», Герасим хочет приемник, а мне — и приемник и мотор «Вихрь». Говорят, машина хорошая... Да и о фонариках-то с батарейками не забудь!..

В ответ я услыхал характерный приглушенный смех Папуева:

— Не волнуйся, Евдя, привезут эту мелочь. Скоро у нас будет посолиднее техника: гусеничный вездеход, несколько «Буранов», обещали большой катер. Заживем!..

Хозяин Селтытпауля вместе с семьей стоял на высоком берегу. Провожал нас.

— Надо будет медведя снимать, приезжай, поищем берлогу! — кричал он мне сверху.

Его семья была одета в светлые меховые парки. А Евдя среди них выделялся особенно: крупный, высокий, здоровый. Я любовался им в последние минуты.

— Приезжай! Глухариков-то добудем,— говорил он.

— Большой тебе удачи, Евдя!..

Наша лодка, украшенная на носу оленьими рогами, быстро помчалась вниз по Тапсую. Приемник «Спидола», лежащий на моих коленях, разносил по лесным берегам веселую эстрадную музыку, так несвойственную для этих мансийских мест.

И Селтытпауль скоро скрылся за крутым поворотом реки.

«Завеснуем в Нялингсуйпауле»

Спустя несколько лет, в один из январских дней я получил письмо от Саши Папуева.

«Предлагаю интересную охоту. Приезжайте в марте. Забросим вас на оленях в таежное зимовье Нялингсуйпауль. Завеснуете там. На нетронутых токах поснимаете вволю глухарей и тетеревов! В этом деле поможет знакомый вам охотник Юван Лаверин...»

Не раз вспоминал я эту охотничью избушку со сложным мансийским названием — «Нялингсуйпауль». Слово это означает — «поселение в слопцовом бору», или —

«жилье в бору, в котором ставят слопцы». Дословно переводится так: няль — слопец, западня, устройство для ловли тетеревов, глухарей; суй — бор; пауль (вернее, павыл) — поселение, жилье.

Затерялось зимовье в прибрежном бору реки Висума, притока Северной Сосьвы, который впадает в знатную северянку в сотне километров ниже села Няксимволя. Очень хотелось побывать там еще раз и заснять на кинопленку таежные глухариные токовища.

В следующем письме Папуев торопил меня:

«Вам следует прибыть к нам до пятнадцатого марта, иначе оленье стадо угонят к Уралу. Тогда попасть на Висум не представится никакой возможности...»

Тема весенних птичьих турниров была увлекательной, интересной. На телестудии было сделано все, чтобы наша киногруппа в нужные сроки вылетела в тайгу.

Самолет АН-2 за три с половиной часа перебросил нас с помощником через Уральский хребет, на север мансийского Зауралья.

Итак, мы в Няксимволе. Это 720 километров по прямой на северо-восток от Перми. И 200 километров на север от Ивделя. Несмотря на раннюю весну, здесь еще по-зимнему холодно... На горизонте белеет снегами Уральский хребет.

Няксимволь расположен на высоком берегу, на крутом повороте Северной Сосьвы — вдоль берега на километр растянулась ровная цепочка домов. Название села произошло от двух мансийских слов: няхсям — жабра и воль — плесо. Няхсямволь (так будет правильнее) означает жаберное плесо. Изгиб реки возле села своей конфигурацией очень похож на преджаберную кость рыб.

Это одно из самых отдаленных сел Северного Зауралья. Оно связано с районным центром Березовым только самолетным сообщением да весенне-осенним завозом по реке.

Наш прилет завершился радостной встречей со старыми верными друзьями — Юваном Лавериным и Сашей Папуевым.

— Пася, олэн рума! — с удовольствием услышал я мансийское приветствие Ювана.

И в тот же день Лаверин отбыл из Няксимволя, сказав, что ждать нас будет в своей избушке на Висуме.

Со мной помощник Юра, бывший уже в той мансий-

ской глухомани, куда мы держим путь. С нами большое экспедиционное снаряжение, из которого главное — съемочная аппаратура. Наша легкая кинокамера «Аррифлекс» вооружена набором мощной телеоптики, среди которого особенно выделяется колоссальная «труба» — длиннофокусный объектив «Фернбильдлинзе-640». Везем и солидный запас высокочувствительной пленки. Она позволит нам снимать тетеревиные и глухариные тока поздно вечером и на рассвете. Кроме того, с нами портативный магнитофон «Репортер-5» с двумя микрофонами, кабелем и пленкой. Помимо съемки изображения, мы должны записать песни токующих глухарей, тетеревов, рябчиков и прочие лесные звуки.

Предусмотрели мы и специальное снаряжение: две палатки, спальные мешки, болотные резиновые сапоги, унты, ватники, полушубки, теплое белье, накомарники, камусовые лыжи, ружья, патроны, радиоприемник, электрофонари.

В тайге мы должны прожить два-три месяца. Наша задача — снять материал для фильма «Весна в Нялингсуйпауле».

Уже двадцатого марта, вечером, мы наслаждались северной природой. Восемь оленей на четырех нартах мчали нас по снежной глади Северной Сосьвы. Впереди каюр Миша Пеликов погонял головную упряжку. Неразговорчивый манси, предельно спокойный человек. За ним — мы с Юрой. Держа в руках длинные шесты-хореи как видавшие виды северяне, задорно покрикивали мы на бегущих рысью животных... Оглядывая знакомые берега реки, я чувствовал себя счастливым человеком.

К вечерней темноте едва не дотянули до цели — остановились на ночлег в ельнике, вблизи речки Урайпатьи. Это в пяти километрах от избушки Нялингсуйпауль.

У нашего каюра первая забота — искать олений корм. Копнул он снег ногой — ягеля нет. Зато много пепельных лишайников свисает с веток елей.

— Это «нюси». Тоже олений корм,— объясняет Пеликов.

Разожгли костер-нодью. Устроили шалаш из веток и тента. Заварили крепкий чай. За костром — темнота; луны сегодня нет, небо в тучках...

Неожиданно наше чаепитие прерывается бодрым голосом из лесной темноты:

— Пася, румат!..

Мы застыли на миг с кружками в руках. Из темного мрака, бесшумно скользя на лыжах, вышел человек. На поводке у него две собаки. Ружье через плечо. За спиной рюкзак. Перед костром пришелец сдвинул с головы капюшон малицы, и красный цвет пламени озарил лицо с хитроватой, будто насмешливой улыбкой.

— Догнал я вас!..

— Юван! Откуда?

— Из Нерох бегу за вами...

— А мы думали — ты давно в избушке!

— Вы-то на оленях, а я пешком!

Утром — безоблачное небо. Яркий снег слепит глаза. Наш караван стремительно скатился с таежной горки на обширный снежный луг при впадении речки Урайпатьи в Висум. Остановили оленей. Манси заговорили между собой. Юра жадно глотал дым сигареты. Я попрежнему любуюсь живописными окрестностями.

Выбегающая из тайги небольшая Урайпатья и полноводный Висум образуют здесь просторную котловину — залив, посреди которого вырисовывается кораблем лесистый остров. Ласково белеют березовые рощи на берегах. Звонкой медью стволов отдают сосны. Кедры с их лохматой хвоей стоят, как хмурые, умудренные годами бояре. Стройные ели бойко «стреляют» в голубое небо своими вершинами...

Еще три километра по льду Висума, и мы въехали на высокий берег с темной еловой рощей. Нас приветствуют старые ветвистые рога сохатого, торчащие на сухом дереве, и сваленная набок сомья-лабаз на курьих ножках.

Через темный коридор в ельнике выехали на болото. Вдали, на косогоре, заснеженной крышей маячит избушка... Здравствуй, Нялингсуйпауль!

Олени, тяжело дыша, затаскивают нарты по крутому подъему в ограду перед избой, в изнеможении ложатся на снег. Да и мы готовы, раскинув руки, развалиться в пушистой снежной перине.

— Вот и приехали,— говорит хозяин избушки.

Пока разгружаются нарты, Юван входит в свой дом. И мы слышим — метет там пол, гремит посудой, закладывает дрова в железную печурку.

Вскоре задымила труба, загудела. Ожило пустовав-

шее жилище. Затащили мы в него свои пожитки и с наслаждением разлеглись на постеленных на нары оленьих шкурах.

Подумать только!.. Здесь на наших глазах пройдет весна, растает снег, наступит лето...

Изба Нялингсуйпауль старая. Но построена добротно. При входе — слева, в углу,— старинный мансийский камин-чувал, в правом — умывальник, за ним — нары. Два окна: одно обращено на юг, другое — на запад. Перед южным окном стол, керосиновая лампа на нем. На стене — старинный струнный музыкальный инструмент санквылтап, сделанный руками покойного отца Ювана. В память о старике он находится здесь всегда.

Бор, в котором стоит изба, расположен на высоком плоском бугре, тянущемся вдоль длинного болота в виде полумесяца. От дома открывается привлекательный вид в оба конца болота. За ним, по другую сторону, тянется кедрач.

Здесь мне знакомо многое. И все же я с великим удовольствием, и как бы впервые, оглядываю строения Нялингсуйпауля. Вот рядом с избой стоит на четырех высоких «ногах» лабаз-сомья. Хранилище продуктов, шкур и всякого охотничьего добра. Чуть дальше на двух столбах водружен продолговатый бревенчатый сопас — ящик для хранения зимой мяса, дичи, рыбы. В другой стороне — баня по-черному и маленькая женская избенка — манькол.

К берегу Висума от избы по краю болота вьется среди сосен тропинка. В том месте, где тропа спускается с пригорка, две скрестившиеся сосны образуют символические ворота — вход во владения «лесного владыки».

По обе стороны на деревьях вырублены знаки — просто затесы или затесы с подписью-катпосом. Они сделаны давно и уже заплыли смолой, заросли, едва читаются, но оповещают пришельца о том, что тут до него были люди. Лес — безмолвный хранитель человеческих тайн, событий, трагедий...

Снег подтаял на дорожке, и обнажилось густое переплетение корней,— оно напоминает вздутые вены на жилистой, натруженной руке старика. Такими бывают лесные тропинки, когда по ним давно не ходили люди.

Такова лесная обитель, где мы проведем три месяца весны.

Вечером после заката в природе было удивительное затишье. Деревья стояли в каком-то парадном оцепенении. И среди таинственной тишины не слышно голосов птиц — они все куда-то скрылись.

В эти тихие вечерние часы и уехал от нас каюр Миша Пеликов. К далекой стене хвойного леса по болоту протянулись следы нарт. До встречи, Миша, и счастливого тебе пути!

Мои спутники

В свое время Джек Лондон предостерегал путешественников: «Ни в коем случае не пускайтесь в путь без товарища». Разумеется, он имел в виду настоящего друга, ибо для трудного путешествия в тайге нужен хороший спутник. Такой, в котором сочетались бы и добрый человек, и прилежный работник, и преданный товарищ. И хорошо, если к тому же бывалый, умелый, выносливый, умный.

Не много ли?.. Нет. Это необходимый минимум требований друг к другу для двух людей, которые оказываются наедине с природой, иногда в трудных условиях. Но не всегда легко найти себе попутчика, который полностью обладал бы этим минимумом.

Несколько слов о моем спутнике Юре. Роста он небольшого. Кудрявый шатен. Худощав. Ему 28, но выглядит он моложе.

Забавны были первые минуты нашего знакомства с ним. Он удивил меня своим оригинальным признанием:

— Знаете, во мне ведь всего — по пятьдесят процентов...

Это означало: он не силен, плохо видит, плохо слышит, мало умеет, мало знает. С военного учета снят. Образования, кроме школьного, никакого.

Один из моих коллег усугубил его характеристику:

— Ох, и намучаетесь же вы с ним! Он умеет только есть, спать и бездельничать. Все делает наоборот. Всегда хмурый. Оживляется только за столом...

Не обошлось без комплиментов и со стороны прекрасной половины:

— Вы берете в тайгу этого Юру?! — с удивлением спросила меня в студии дама-помреж.— Я была с ним

в одной группе. Вы знаете, он весь какой-то потухший...

Было в самую пору отказаться от такого спутника. Кажется, зачем усложнять свою жизнь в таежной экспедиции? Но меня задело: сколько сразу наветов на одного скромного и тихого парня! Не знаю точно почему, но я не послушался этих «ярких» характеристик и даже собственных сомнений. И несмотря на то что ко мне в спутники набивались, казалось бы, более достойные претенденты, в тайгу я решил все-таки взять Юру.

В первые же дни многое подтвердилось из того, что говорили о парне. Действительно, он часто производил впечатление «потухшего» человека: казалось, ничем не интересовался, был совершенно невозмутим, не улыбался, не проявлял никакой инициативы. Постоянно оправдывался отговоркой слабых: не знает, не умеет, не видел, не понимает. В свободные минуты всегда лежал или сидел с лицом сосредоточенно-задумчивого, тихого страдальца. В то же время не страдал отсутствием аппетита и бессонницей.

Словом, поначалу Юру нельзя было назвать "верным Пятницей". Что касается недостатков — в ком их нет! Но у одних они очень неприятны и вредны для окружающих. А слабости Юры для меня были забавны, смешны и безобидны. Прощаемы.

Забегая вперед, скажу: двенадцать таежных киноэкспедиций провели мы с ним! И это были хорошие для него университеты. Я остался им доволен...

А теперь о моем мансийском приятеле. Хозяин зимовья Юван Лаверин не изменился с нашей последней с ним встречи. Небольшого роста, худощавый, как и Юра. Темноволосый, чернобровый, с чуть прищуренными глазами. Всегда с застенчивой улыбкой. Очень скромный человек. Добряк и беспредельно честный: с людьми делится всем, что у него есть, без сожаления. Никогда не обманывает. Сдерживает слово. Всегда спокоен. Обиду выражает тихо, немногословно и без резких эмоций. Никогда не «взрывается» — нервы у него крепкие: сказывается долгая жизнь в лесу. И в то же время характером более похож на наивного ребенка, чем на взрослого человека.

Работоспособности и умения Ювану не занимать: за несколько дней он соорудит лодку, за неделю изготовит охотничьи камусовые лыжи. Может часами сидеть за

выделкой шкурок. Добрая слава лучшего охотника верхнесосьвинской тайги укрепилась за ним прочно.

Прошлой осенью он учил меня плавать на крохотной мансийской лодочке-калданке. Без продолжительного опыта усидеть на ней невозможно — легко переворачивается. Ощущать ее устойчивость, как я убедился позже, помогает особое чувство телесной интуиции, обретаемое со временем нижней половиной торса. Нечто похожее на то, как летчики «чувствуют» своим телом землю при посадке самолета. Мое обучение проходило на глубокой и быстрой речке Урайпатье. Не предвидя неудачи, я смело уселся в калданку и, пренебрегая наставлениями, попросил оттолкнуть меня в реку. И сразу почувствовал, что лодчонка подо мной в любую секунду перевернется. Не мог пошевельнуться. Сидел истуканом. И оказался совершенно беспомощным. Неуправляемую калданку уносило от берега. По нему бежал Юван с длинным шестом в руках и что-то неистово кричал мне. Я не помню, как удалось ему настичь меня и сунуть в руки шест. После чего манси успешно подтянул меня к берегу.

Случай пустяковый. И ничего опасного, возможно, не произошло бы, кроме того, что пришлось бы выкупаться в ватнике и болотных сапогах. Хотя, как знать,— только ли! Но такого случая было достаточно, чтобы я понял, каков мой мансийский приятель в минуту критической ситуации, пусть даже мелкой.

Этот человек в прошлый мой приезд учил меня разбираться в сложной азбуке жизни лесных обитателей. Помогал в кинохоте. И настанет время — я сниму с его помощью свои лучшие фильмы о мансийской природе. С таким таежным следопытом я без боязни готов отправиться в любые углы лесной глухомани.

Вот почему для нас с Юрой жизнь в избушке стала постоянной радостью. Кажется, и дни выдались более солнечными оттого, что с нами живет Юван.

Поздние часы коротаем за крепким чаем... Юван развлекает нас лесными сказками.

Я пристаю к нему:

— Расскажи какую-нибудь мансийскую легенду!

Он улыбается, разводит руками и говорит:

— Не знаю я...

А сам, вижу, что-то вспоминает и наконец говорит:

— Сказку о рапчике знаешь?..

— Нет. Охотно послушаю!..

И начинается нескладная речь с частыми запинками, сказка, смысл которой можно передать так.

Птица рябчик была когда-то гигантских размеров, больше ее в тайге никого не было. Шла она по земле — земля прогибалась. Садилась на дерево — под ее тяжестью дерево ломалось. Взлетала — лес вокруг падал, раздавался гром.

А прочие птицы — глухари, тетерева, утки — были очень мелки. Рябчика-великана не стали радовать его размеры. «Поделюсь-ка я собственным мясом с другими птицами»,— решил он. И стал раздавать свое белое мясо всем. Досталось глухарю с копалухой, косачу с тетеркой, и даже на долю утки и кедровки немного пришлось. Много раздал мяса — кому-то больше, кому-то меньше. И поэтому стал рябчик очень маленьким, каким мы видим его теперь.

— Таймень маленько тоже получил! — закончил с мальчишеским восторгом манси и показал на щеку: — Вот сюда!..

И тут же — другой рассказ Ювана, но уже — быль.

На таежной дороге от Хулимсунта на Сартынью стоит охотничья избушка, в которой зимой живет манси Емелька. Возвращался он однажды из Хулимсунта, слышит: собаки его, убежавшие вперед, неистово лают возле дома. Озадачен Емелька, но ведь он охотник — насторожился, приготовил ружье. Крадучись подошел к зимовью, видит: дверь раскрыта, собаки рвутся с лаем внутрь избы, но не вбегают. Охотник быстро прихлопнул дверь и подпер бревешком. Потом осторожно заглянул в окно и видит: сидит большой медведь на полу, отдыхает. Рядом с ним шкуры, стащенные с лежанки, керосиновая лампа сброшена со стола... Не раздумывая долго, Емелька выстрелил в зверя через окно.

Дело было поздней осенью, уже выпал снег, и медведь-шатун, вероятно, облюбовал избушку для своей берлоги...

Юван от меня просто так не отделается.

— Еще какую-нибудь сказку! — прошу я.

Он опять пытается отказаться, но слушатели мы хорошие, манси заставляет себя еще что-то вспомнить.

— Ты знаешь, мой дед говорил, будто давно, старый

время, сюда море пришел, воды мно-о-ого!.. Вода залил тайга, вся манси-ма[1]. Урал совсем тонул. Только три гора остался: Яны-пупынер, Койп и Лунтхусапсяхль. Много люди тонул. Совсем мало спасался. Большой плот делал, плыл куда-то долго. Теперь там живет. Ты место называл. Как?..

— Венгрия...

— Вот-вот, там теперь живут мансийский люди, брат...

Я впервые слышал от манси такую версию, связывающую вместе два любопытных исторических факта: переселение угров в юго-западные края и какое-то катастрофическое событие на земле.

Взгляните на карту Северного и Среднего Зауралья. Вы увидите сплошные леса и болота. Кажется, все потонуло в воде. Особенно в пойме реки Конды. Откуда здесь взялось столько воды? Не ледник ли оставил после себя бесчисленные озера и болота? Можно представить реальное, а не легендарное потопление уральских земель перед наступлением великого оледенения...

Каждое утро на рассвете, пока спит мой помощник, я выхожу из домика с кинокамерой или магнитофоном. Работы с этими аппаратами хватает: кедровки, дятлы и другие птицы, рассевшись на деревьях возле избушки, часто греются в лучах восходящего солнца. Длиннофокусный объектив позволяет достаточно крупно заснять это пернатое население, а портативный магнитофон — записать звуки стукачей-дятлов и панические выкрики кедровок.

Но если я не тревожил помощника рано утром, то днем не даю ему бездельничать.

— Юра! Готовь лыжи! Сегодня обследуем дальние окрестности.

И через пятнадцать минут мы скользим на лыжах от избушки к реке. В сопровождении собак уходим за Висум, к дальнему болоту. Его белое снежное поле во всех направлениях исчерчено звериными следами. По ним нетрудно прочесть картину прошедшей ночи.

Вот туда-сюда носились зайцы. Рядом с их следами

[1] Манси-ма — мансийская земля, мансийский край.

выделяются отпечатки крупных, как у медвежонка, лап. Это росомаха охотилась за беляками.

В одном месте след зайца оборвался, видны клочки нежно-белого пуха. Здесь же и следы росомахи...

Чинно-важно прострочила снег лиса. Цепочка ее следов тянется почти идеально прямо. Однако резкий излом дорожки — лиса круто повернула вправо, и тотчас же из-под ее морды взлетели спавшие в снегу тетерева. Остались неглубокие ямки да след на снегу от первого взмаха крыльев.

И глухарь пожаловал сюда: отпечатки его лап тянутся из леса. Побродил, попетлял «старик» по снегу, не нашел клюквы и вернулся в тайгу. В другом месте видны кучки глухариных перьев, разбросанных по снегу, а рядом с ними — крупные волчьи следы. Видно, разыгралась тут ночная трагедия.

Мой спутник равнодушно взирал на странички таежной книги. Молчаливо выслушивал мои объяснения. Но я знал: наука не пропадет даром, что-то останется в нем от этих лесных картин.

Возвратились мы в избушку наполненные чистым воздухом весенней тайги.

Пляски тетеревов

Проснулись от грохота дров о железо печурки — Юван загружал ее полешками, чиркал спичкой. Пора вставать — иначе бы манси не шумел. Одет он по-походному: в малице, на ногах нярки, запорошенные снегом. Куда-то уже сходил на лыжах охотник!

Дрова быстро загорелись, печка загудела. Манси включил приемник. Изба огласилась веселой мелодией: «С добрым утром!» И, вступая в бодрый ритм песни, Юван сказал:

— Ятри [1] плясать начал... Снимать надо...

Во второй половине дня мы втроем снесли все снаряжение на ток. Раскинули там палатку, замаскировали ее ветками, молодыми деревцами. Установили киноаппарат. Проложили кабель к токовищу. Определили место для микрофона на пятачке.

---

[1] Ятри — тетерев по-мансийски.

Вернулись в избушку. Легли пораньше спать.

Из зимовья вышли ночью. Лыж не надели: снег подмерз и хорошо держит. Звезды мерцали на мрачном черном небе. Зловещей тишиной настораживала тайга.

Ночью в лесу царит мир силуэтов. Разговаривая то с Юрой, то с Юваном, я не вижу их лиц — передо мной только контуры человека. Так же, как и все кругом, деревья, ветви, коряги, пни — одни очертания.

В темноте миновали болото. Вышли к скрадке. При подходе Юван шепотом сказал:

— Медведи не забрались ли? — И, подняв полог палатки, шутливо скомандовал: — Подъем, ребята!..

Наш киносъемочный агрегат стоял нацеленным на токовище. Привели его в готовность. В ожидании рассвета вдали от палатки развели костер. Нарубили еловых ветвей, устлали ими ложе для короткого отдыха.

Кто не ночевал у зимнего костра, тот не поймет, что такое — один бок подгорает, другой стынет! Только задремлешь — надо поворачиваться. Наконец откажешься от сна, сядешь возле огня, нальешь кружку горячего крепкого чая и смотришь: товарищи зашевелились, последовали твоему примеру.

Кто-то взвыл вдалеке, потом завизжал пронзительно. Насторожились. Каждый из нас высказал свое предположение:

Юра: «Волки воют!»

Я: «Наверно, филин поймал зайца!»

Юван: «Медведь с медведицей гуляют».

Чуть появился свет на севере, за палаткой выстрелом раздалось: «Чуффыы».

— Тссс! — проговорил нам Юван и показал наверх — на стволы.

На вершинах сосен силуэтом на светлеющем небе ясно рисовались только что усевшиеся молодые тетерева. Прозвучало громкое «куррр!». Мы долго сидели неподвижно, пока птицы не спустились с деревьев на болото.

Крадучись, я приблизился к палатке. Включил магнитофон. Приник к окуляру кинокамеры.

На поляну с громким криком опустились еще три черныша. Один уселся на низкую сушину, два других с шипением начали гоняться друг за другом. У птиц

набухшие красные брови, лирообразные хвосты, распущенные веером.

Следом за мной тихо подкрались к палатке товарищи. Юван смотрит, сияет улыбкой. Зову Юру пальцем, показываю на окуляр: «Смотри»! Он долго прикладывается к визиру. Наконец, увидев в аппарате крупное изображение тетеревов, произнес:

— О!..

Продолжаю нацеливать объектив на птиц, снимаю их время от времени, а больше любуюсь удивительным тетеревиным сабантуем.

На болоте происходят отчаянные схватки. Громким резонансом по тайге разносятся выкрики птиц. То позмеиному устрашающее «чуффы» прокатится по лесу, то вдруг кто-то из ярых певунов загорланит: «Қокакарра! Қокакарра!»

Потом все тетерева замолкнут разом. Наступит короткая пауза, после которой птицы тихо начнут свое монотонное бормотание. Все болото гудит от этого звука, передать который почти невозможно. Постепенно усиливаясь и нарастая, это «клокотание» снова начнет прорываться выкриками и шипением. И так беспрерывно.

С чуфыканьем, шипением и резкими выкриками косачи задорно наскакивают друг на друга. Разбегаются в разные стороны, чтобы вновь сойтись в схватке. Қаждый старается клюнуть другого или, высоко взмыв, ударить лапами. Перья летят по сторонам.

Юван с нескрываемым удивлением следит за тетеревами. Сколько он перестрелял их! Но наблюдать драки косачей так близко и «подробно» ему не приходилось. Некогда было: скорей на мушку — и конец охоте.

Выглядываю в щелку. Из-за громоздкой трубы объектива вижу: тетерки слетели с деревьев на землю и приблизились к дерущимся косачам.

Самцы переменили тактику. Теперь они уже не дрались, каждый из них в одиночку демонстрировал свою неотразимость. Подпрыгивал на одном месте, выкрикивал замысловатые «словечки» или, взлетев, тут же садился. Қосачи изображали искусных танцоров. Тетерки одобрительно покеркивали.

Один из тетеревов прочно занял позицию возле микрофона. Никуда не отходил от него и никого не подпускал близко. Опустив голову до земли, он подбегал

к микрофону, затем неожиданно выпрямлялся, издавал восторженный крик и подпрыгивал. Снова наклонившись к земле, косач отходил в сторону, бормотал что-то себе под нос. Возвращался опять к микрофону. И все повторялось сначала: подпрыгивание, выкрик, смешное бормотание. Солист!

К полному рассвету тетерева стали менее активными, при малейшем шуме прекращали токовать. И вот — неосторожное, резкое движение громоздкого объектива и... птиц как будто смыло вихрем. Едва успел запечатлеть их стремительный отлет.

— Как хорошо ятри дрался! — с восхищением сказал Юван.— Ты заснял?..

— Заснял!

Слипались глаза, тяжело шли ноги. Но когда удача, то усталость нипочем!

Мелодии утренних зорь

Не многие могут похвастаться тем, что собственными глазами видели в естественных условиях глухаря. Глухарь поражает вас своим внешним видом. Крупная птица с темным, почти черным оперением. По-орлиному загнутый белый массивный клюв. Длинная шея с крупной головой. Ярко-красная бровь над глазом...

Размер глухаря-петуха еще более внушителен в соседстве с рябенькой, совсем не похожей на него самочкой — глухаркой. Она — величиной с курицу, он — с доброго индюка. Глухарка едва достигает полутора-двух килограммов, вес же самца от четырех до шести килограммов. Как говорят старые охотники, в Восточной Сибири встречались экземпляры до двенадцати килограммов живого веса. Почти подобного великана я видел в горах Урала, в районе истока Печоры. Шум его крыльев при взлете заставил нас опустить ружья. А наши собаки, поджав хвосты, замерли на месте.

Красавцем выглядит глухарь в пору весенних токов. Возбуждаясь, он принимает гордую позу, еще больше увеличивается в размере. Распускает веером хвост. Под клювом образуется лохматая бородка. Таким франтом выступает он перед очарованными глухарками и настороженными соперниками.

В эти минуты он начинает издавать странные тихие звуки, какие не издает ни одна из многих тысяч птиц. Это шум падающих капель, затаенный шепот тайги, заглушенный шелест листвы, разговор потухающего костра. Такова эта прекрасная и таинственная песня...

Загадочно то, что глухари начинают токовать почти в темноте, когда только-только занимается весенний рассвет. Странная тихая песнь этой птицы необыкновенно удачно создана для самой тишайшей ночи. Это песня лесной тишины. Ведь в ночной тайге не надо кричать громко. И природа учла это.

Наделенный едва слышным голосом, глухарь невольно должен обладать повышенным слухом. Хотя бы для того, чтобы слышать своих же токующих соперников. Невольно озадачиваешься: какой же он «глухарь»? Название это звучит иронично.

Говорят, назван он так за то, что во втором колене своей песни на самом деле не слышит — ушные раковины его прикрываются перепонкой. Но всего на несколько секунд!

Впрочем, и не только при этом глухарь может не слышать. В момент, когда, заканчивая песнь, достигает наивысшего экстаза, самозабвения, неистово потрясая шеей и головой, он в упоении закрывает даже глаза — уподобляется громко кричащему человеку. А в момент неистового крика едва ли можно что-то услышать...

А может, потому — «глухарь», что водится только в дремучем лесу, в глуши?..

Я никогда в жизни не видел токующего глухаря. В той классической позе, как рисуют его в книгах — сидящим на суку с запрокинутой назад головой и распущенным хвостом.

Мне казалось, что подкрасться с кинокамерой к таежному петуху почти невозможно. И еще я опасался, что пленка не сможет зафиксировать все то, что удается увидеть в пору раннего рассвета в тайге.

Был теплый вечер, когда мы, нагруженные аппаратурой, шли на известный Ювану глухариный ток. Новым серебряным рублем поблескивала на небе луна и переглядывалась с заходящим солнцем.

— Этпос[1] стал большой — погода сделался хороший,— заметил наш манси.

[1] Этпос — луна.

На ток мы пришли в девять вечера. В лесу начинались сумерки. На тайгу постепенно опускалась ночь. Вот кедровый сухостой вперемежку с курчавыми, еще живыми великанами.

— Тут мансин-ким [1], глухарь токует,— показывает проводник.

Оглядываю место. Сырая тайга кругом. Только на буграх высокие кедры метлой вздымают к небу свои ветви. Густые заросли багульника под ними.

На одном из бугров облюбовали место для ночлега. Разожгли костер-нодью, натянули тент от ветра — все, как полагается в лесу.

Долго сидели вокруг костра. Яркое пламя огнища, красные лица над ним, черные силуэты кедров и яркий диск луны... Да разве уснешь в этой лесной сказке!

Наступила полночь. Пытались поспать немного. У Ювана с Юрой это получилось. Но я не мог уснуть в ожидании первого в моей жизни глухариного тока.

Весенний ночной воздух напоен пьянящим ароматом багульника и тонким, едва уловимым запахом кедровой хвои. Луна блистала через мохнатые вершины кедров и затейливые размахи ветвей сухостоя. В каждом мертвом дереве замерли причуды: то ли скопище оленьих рогов развесил кто-то на вершинах, то ли застыли там в дикой пляске лесные духи...

Я все время поглядываю на север, там слабо высветляется край неба. Прислушиваюсь к ночной тишине. Ее нарушает только легкий треск сучьев в костре. Чудится мне, что такими же звуками тайга откликается нашему огнищу. Проснулся Юван и тоже прислушивается. Спрашивает меня шепотом:

— Зачем не спишь?..

— Кажется, начал токовать...

Прислушиваемся оба. Глухое и слабое «тэк-тэк» долетело до моих ушей.

За какие-то скоротечные минуты и я научился четко различать глухариную песнь: редкое и продолжительное «тэк-тэк» переходило в поспешное и короткое «точение», или, как говорят охотники, «скирканье». Странный звук — вроде действительно точат топор на точиле.

Хочется мне подойти ближе к птице. Юван поучает:

[1] Манси-ким — глухариный ток.

— Мансин[1] молчит — ты стой. Когда затокует — иди...

Осторожно ухожу с аппаратом в лесной мрак. Еще темно и тихо в тайге. Только вершины кедров слегка просматриваются на северной стороне светлеющего неба. Подхожу все ближе. Кажется, уже довольно, останавливаюсь, ищу певуна. Он где-то над головой. Ищу и не нахожу. Как мучительны эти секунды!

Вот он!.. Ошеломляюще первое впечатление. На вершине высокого кедра, по которому я уже много раз скользил взглядом, сидит черный гигант. Я замер...

Прекрасен пернатый царь тайги!.. Картинный хвост. Длинная шея с запрокинутой головой. Торчит бородка под клювом...

Вытянутую шею глухаря трудно отличить от торчащих вверх мертвых сучьев кедра. Силуэт птицы как бы повторяет экспрессию ветвей сухого дерева. Тишина леса, едва слышные таинственные звуки и, словно в мольбе, вздернутые к небу сухие «лапы» — фантастическая картина.

Глухарь почему-то долго не «точит», а только издает редкий и тихий звук «тэк... тэк». Замерев, стою за деревом. Готов даже не дышать. А сердце что выделывает в груди! Боюсь одного: замолчит солист — жди, улетит скоро! Надо торопиться заснять первый кадр! Пока глухарь «тэкает», я незаметным движением перемещаюсь ближе к удобной позиции для съемки. Пытаюсь, как кошка, бесшумно передвигать ногами.

Можно снимать. Поднимаю кинокамеру, прицеливаюсь. Но глухарь, бывший до этого каменным изваянием, взмахивает крыльями и улетает.

С отчаянием опускаю аппарат и стою как истукан. Не могу прийти в себя: упустил такой кадр! Но до слуха моего сразу же доносятся частые хлопки крыльев: сел на ближайший кедр! Слышу: начал «точить». Делаю три-четыре метровых прыжка. Стараюсь прятаться за стволы. На мое счастье, глухарь теперь «точит» часто. Вскоре я оказываюсь вблизи того кедра, на котором сидит птица. Глухарь ходит по ветке. То наклонит голову, то гордо вскинет ее, вытянув шею вверх. Выпячен-

---

[1] Мансин — глухарь.

ная грудь, длинная шея, и смешно, как у неряшливого старика, топорщится взлохмаченная бородка.

Увлеченный съемкой, я не заметил, как посветлело в лесу. А молчаливая до этого тайга сразу вдруг пробудилась десятками птичьих голосов. Забормотали тетерева в разных концах. Защебетали мелкие пичуги. Прокаркала ворона. Дятел огласил лес своей частой дробью. Проснулось все таежное население...

И глухарь вдруг насторожился, перестал «точить», он только издавал тихое, редкое «тэк-тэк». Вскоре и совсем замолчал. Я видел, как медленно сворачивался и опускался его хвост, как исчезла взлохмаченная бородка. И куда девалась вся красота!

Замерев, он еще долго прислушивался к лесному гомону. Не нравится ему этот содом! Как было вольготно на рассвете — он слышал каждый шорох, вся тайга принадлежала ему. А теперь — ох, эти шумные соседи!..

И, взмахнув крыльями, глухарь слетел с дерева...

А в нашем лагере царит сонная идиллия. Я осторожно присел у потухшего костра, подбросил сучьев. От шума пламени проснулся Юван, смотрит на меня заспанными глазами.

— Где мансин?..

Я улыбаюсь, шучу:

— Улетел на Урайпатью собирать галечки... Вам привет передавал...

Бережно упаковал кассеты со снятой пленкой. Мысленно поздравил себя с удачным началом глухариной кинокохоты. И поблагодарил утро, которое раскрыло мне одну из тайн весенней тайги.

Ледоход на реке задерживается. Лаверин обеспокоен.

— Надо на другой мансин-ким скорее попадать... Если лед долго стоять будет, пешком на ток пойдем...

Лодку Юван сам сделал. Можно плыть. Терпеливо ждем ледохода, чтобы после него подняться вверх по Висуму, на другой глухариный ток. А лед уже потемнел, раскололся и, кажется, вот-вот хлынет вниз по реке.

Ледоход начался накануне Первого мая, вечером, когда солнце рубиновым диском садилось на шпили далекого леса. Таежная природа перед этим оцепенела в торжественной тишине: готовилось важное событие весны Нам казалось, что льдины своими холодными зуба-

ми заскрежещут о берега, загудит, застонет тайга. Но ничего грандиозного не произошло: весь лед на реке тихо ушел за одну ночь.

Утром поздравили друг друга с праздником, стол накрыли, как подобает в таких случаях. А к вечеру собрали аппаратуру и снаряжение, чтобы перебазироваться на долгое житье к новому месту.

Юван скрепил вместе две лодки — новую со старой маленькой калданкой. Получился «катамаран», который мы загрузили до предела. С помощью кормового весла Лаверин один поднимал лодки вверх по реке. Мы с Юрой «порожняком» пробирались по берегу. Шли через завалы, сквозь таежную чащу, по болотам и звериным тропам.

Съемочную базу соорудили выше устья реки Саликольи. Наш дом — четырехместная палатка — вместил все кинохозяйство вместе с нами.

На следующий день пошли к току. Понесли с собой аппаратуру, палатку, оленьи шкуры, спальные мешки. Там будет наше с Юваном ночное обиталище. Базой остается берег Висума, где хозяйничать станут Юра и две собаки.

Пятачок на бугорке оказался особо приметным.

— Самый большой ток здесь,— показал на бугор Юван.

Он долго изучал арену тока, поднимал глухариный помет, рассматривал его, разминал руками. Убедился, что помет свежий, предложил выбрать место для скрадки.

— Палатку надо ставить там,— показал он на ельник в десяти-двенадцати метрах от пятачка.

— Так близко?!

— Видишь, другого места для палатки нету!

Закипела работа: рубили колья, сучья, ветви. В ельнике растянули палатку, заставили ее деревцами и закидали зелеными ветками — лапником. Внутри на штативе установили кинокамеру, смонтировали магнитофон, разостлали оленьи шкуры, спальные мешки. От скрадки к пятачку протянули кабель для микрофона.

Скрадка готова, тщательно замаскирована. Лаверин утверждает, что будет незаметна для птиц.

Сон в первую ночь на току был коротким, тревожным. Проснулся я от прикосновения руки Ювана и сразу

услышал громкое «точение» возле палатки. Сон пропал моментально.

— Токует!..— шепотом произнес манси и пригрозил мне: — Тише, тише!..

Первый взгляд — на отверстие, в которое «смотрит» объектив кинокамеры. Там уже светлеет. Тянусь электрическим фонариком к «Репортеру», включаю запись. Стрелка сильно вздрагивает и заходит за пределы шкалы. Значит, глухарь близко от микрофона.

Юван следит за моими движениями и шепчет:

— Пока темно, пускай этот аппарат работает...

Не терпится мне взглянуть на таинственного солиста. Освободившись от спального мешка, осторожно встаю и заглядываю в съемочное окно палатки. В лесу полумрак. Лишь только микрофон белеет на пятачке. По нему взад-вперед расхаживает петух-громадина с полукруглым хвостом. Самозабвенно поет свою тихую странную песню. Я уже говорил, какие сравнения вызывает это удивительное пение...

Не могу оторваться от зрелища. Не верю, что недоступная, таинственная птица — передо мной, рядом, я различаю каждое ее перышко, вижу блестящий глаз, строго следящий за всем, что в тайге.

«Оттэкав», глухарь отключается от всего. Закрывает глаза белой перепонкой. Поднимает голову кверху и бормочет клювом, с самозабвением шелестит, «точит». Трясет шеей, головой, бородкой, как будто ворчащий старик.

Закончив «точение», глухарь прислушивается. В эту пору до моего слуха доносится токование других глухарей по сторонам. Наш герой не один. Услышав компаньонов, он снова начинает свое «тэканье». Цикл повторяется опять и опять.

Пока я наблюдал за птицей, заметно посветлело. Выключил магнитофон. Приник к окуляру кинокамеры. Сердце учащенно забилось: через телеобъектив вижу очень крупное изображение самого царя крылатых тайги.

И тут произошло удивительное. По сторонам послышались хлопки крыльев, заквохтали глухарки. Вскоре три рябенькие курицы спустились на пятачок, к нашему герою.

Я включил магнитофон и кинокамеру. Юван вылез из спального мешка, потянулся смотреть в щель. Мне

забавно, как он реагирует на происходящее за палаткой.

— Смотри, копалухи дерутся! — с детским восторгом прошептал манси.

На току происходила сцена, вызывающая и восторг и смех.

С прилетом самок глухарь еще больше воодушевился. Стал токовать без передышки, захлебываясь. Ходил кругом под микрофоном, совсем не обращал внимания на копалух. А глухарки неотступно следовали за ним по пятам. Тихо стонали и покорно припадали к земле, когда краснобровый черный «хан» проходил мимо. А когда он отходил от глухарок, они дрались между собой. Кричали громко, душераздирающе. Клевали друг друга, отстаивая право быть супругой «вельможи». Но он, как восточный повелитель в окружении гарема, самозабвенно «тэкал» и нашелестывал, не удостаивая вниманием «дам». Сколько достоинства в его позах, движениях!

— Мансин-то какой! — шептал Юван, зажимая рот от смеха.

Глухарки слетелись к этому черному петуху потому, что покорил он их сердца своим видом и песней. А ведь кругом слышны были другие самцы. Но этот был особенный. И хвост распущен причудливее, и концами крыльев чертит по земле сильнее, белый орлиный клюв, красная бровь над глазом, шея отливает вороненой сталью. Красавец!..

Глухарь вдруг нагнул шею к земле и быстро вскинул голову вверх, издал при этом странный звук «кхе-кхеу». Словно откашлялся. О такой песне мне не приходилось слышать. Значит, помимо своей знаменитой двухколенной мелодии, глухарь во время тока издает еще и этот загадочный звук!

Манси тянется к моему уху:

— Так он кричит, когда драться хочет...

Странные поклоны со вскидыванием головы и песня повторяются: «кхе-кхеу-кхе-кхеу...» Глухарь явно вызывает на поединок своего соперника, находящегося, по его убеждению, в скрадке.

Снова неожиданная сцена: наш черный бородач срывается с места и быстро бежит по лесу в сторону от палатки. Несется с высоко поднятой головой, под лапы не смотрит и не спотыкается. Как заправский спортсмен,

мастерски перепрыгивает через поваленные стволы, лавирует между деревьями...

Вот он резко остановился. Тут же в кадр вбежал другой бородач. И они оба, кланяясь друг другу, стали охрипшими голосами обмениваться: «кхе-кхеу».

В густых зарослях багульника мне не видны головы соперников: они низко опущены. Вижу только два подвижных веера-хвоста. Но внезапно оба глухаря подпрыгнули, шумно ударили друг друга крыльями и снова опустились в багульник.

Драка закончилась в пользу нашего героя. Соперник улетел. Хозяин пятачка вернулся к ожидавшим его самкам.

Но вот в лесной мир заглянуло утреннее солнце. Его еще не видно. Только кроны высоких кедров засветились бледной позолотой. Пернатая живность тайги уже зачирикала неугомонно. И вот видно — смутились глухарки. Насторожился и черный красавец.

Луч солнца стал медленно спускаться по стволам и добрался до пятачка. Заметно поубавился пыл глухаря. Рябенькие самки одна за другой покидают ток. Пернатый владыка постепенно уходил с бугра и вскоре скрылся в глубине тайги.

Но еще долго слышали мы таинственную мелодию — древнюю глухариную песнь о торжестве любви и жизни.

В частых и нелегких походах с киноаппаратом по тайге пролетело много дней. Таежная весна в полном разгаре. Но все реже и реже слышалось по утрам тетеревиное «бульканье». Затихали драки на глухариных токах. Копалухи перестали посещать своих красивых кавалеров. Весна принесла пернатому миру другие заботы и радости — выведение потомства... Пора домой...

Вечерняя тишь сгладила поверхность реки, сделала из нее зеркало. Я смотрю в него — там опрокинутые берега с деревьями, голубое небо с облаками. Весь мир отражается в воде. Только лодка безжалостно режет это зеркало, от волн оно кривится. И очертания берегов в нем принимают смешные, уродливые формы. По Вису му разносится терпкий аромат распустившейся черемухи. Наша последняя дорога из весенней мансийской тайги усыпана белым цветом северной «вишни».

В эту милую пору мы покидали лесной рай и увозили с собой кинопоэму о таежной весне. То, что не сумела зафиксировать кинокамера, я записал карандашом.

Задумчиво смотрю на проплывающие берега. Душу мою наполняет радость, оттого что я — частый гость этих земель. И чувствовал я, что сердце мое навсегда остается в мансийской тайге. А это означало, что я вернусь сюда.

Почему опустели тока?

Прошло несколько лет, и я вернулся в мансийскую тайгу.

Весна на этот раз была поздняя. Прибыли мы с Юрой в верховья Северной Сосьвы во второй декаде апреля, когда там обычно заканчивается таяние снегов и река освобождается ото льда. Но на этот раз ничто не обещало весну: стояли холода, по-зимнему дули сильные ветры с метелями, по льду реки уверенно ходили сельские гусеничные тракторы.

Долго пришлось ждать ледохода. В дни ожидания один из местных жителей — Яков Иовлевич Рочев — предложил мне посетить известный ему ток на реке Няйсе. Там, по его словам, глухарей собиралось видимо-невидимо.

Как только с Няйсы ушел последний лед, мы на двух лодках с моторами поплыли вверх по реке. Добрались до устья речки Лямьи, там и поставили палатку. На другой день рано утром Яков Рочев вел меня с Юрой по болотам к току — он находился в четырех верстах от устья Лямьи. Поход этот не назовешь завидным: местами вода по колено, а где-то топь с трясиной, к тому же моросил дождь...

Привел нас Яков в незнакомый кедрач. Остановил возле старого кострища.

— Здесь мы с напарником когда-то ночевали... А глухари утром на деревьях расселись — черно! — рассказывал он, оглядывая кедровую рощу вокруг костра.

Принялись искать места, где топчутся черные пету-

хи,— там должен валяться свежий помет. И под деревьями, на которых они рассаживаются с вечера.

Долго бродили с Рочевым по лесу, пока Юра готовил костер для обогрева. Яков поднимал помет и мял в руках.

— Это прошлогодний! — разочарованно сказал он.

И потом, возле палатки на берегу, долго сокрушался:

— Вот ведь дело какое: сманил я вас, и напрасно... Совсем не приложу ума, куда нынче подевались птицы?!.

Нам надо было торопиться на «свои» тока. И на другое же утро мы поспешно уплывали с Няйсы на реку Висум.

Прошло несколько дней, прежде чем достигли первой остановки — знакомой и милой нам избы Нялингсуйпауль. Опять поставили на берегу «штабную» палатку. И точно на том же месте, как много лет назад,— двумя километрами выше устья реки Саликольи.

Без промедления отправились через болото на известный ток. Шли по старым затесам на деревьях. На току все оказалось по-прежнему: уцелели даже колья от скрадки и ветки, которыми мы ее маскировали.

Но почему же на знаменитом пятачке нет свежего глухариного помета? Именно на этом крохотном бугорке среди болот разыгрывались удивительные сцены! Если на земле нет никаких следов, наверно, теперь птицы токуют на деревьях? Поставим скрадку на прежнее место, ночуем в ней — узнаем все.

Затаились в скрадке. Но в тайге — тишина.

— Странно: почему не слетаются?..

— Утром прилетят,— отвечает мой спутник.

Не спали всю ночь. Вот над болотом глухо подудел бекас-дупель. Где-то далеко прокуковала кукушка. И снова надолго зловещая тишина.

Помню, говорил мне Юван Лаверин: «Начнет куковать кукушка — глухари перестанут прилетать на тока». Уж не оттоковали ли они на самом деле? Но когда? Весны-то по-настоящему еще не было!

И вдруг над скрадкой с тревожным квохтаньем пролетела глухарка. Ей ответила другая, уже сидевшая на дереве поблизости. Откликнулась третья вдали...

— Слетаются самки,— страстно шепчу Юре,— значит, глухари где-то сидят...

Еще много раз с криками пролетали над нами глухарки. Я осторожно выглядывал из палатки, но в предрассветной мгле никаких приготовлений к токованию птиц не замечал. Пятачок на бугре оставался пустым. Не было слышно самцов с их характерной чудесной песней.

До самого восхода солнца мы так и не услышали ни одного глухаря. Было ясно: на ток слетелись только самки.

Наш моторист Борис Шалагинов решил побродить по окрестностям и отыскать новое токовище: глухари иногда облюбовывают для тока другие места. Вернулся он с разведки и сообщил неприятную новость:

— Мы напрасно теряем время: в прошлую весну здесь визирку рубили. Она рядом проходит... Может, работяги-лесоустроители и выщелкали всех глухарей-петухов. Одни копалухи остались...

На другой день мы снова в пути — к третьему току на реке Хуре. Там надо тоже ставить палатку на берегу реки, а к токовищу идти три километра в глубь тайги.

Веду на ток я, так как никто из спутников не знает дороги. Ее помогают находить старые затески на деревьях, которые мы делали когда-то с Юваном Лавериным. Ток порадовал нас тогда обилием глухарей... Но почему же и здесь нынче не видно свежего помета ни на одном из старых пятачков?

Подходит Борис и докладывает нам о результатах своей новой разведки:

— В бору Алисуй я видел стоянку лесоустроителей, тоже прошлогоднюю. Работяги наверняка и на ток ходили.— Борис встал, присмотрелся и показал на валяющееся невдалеке перо из глухариного хвоста: — Вот так и промышляли братишки! Долго не будет здесь глухариков!.. Если вообще будут...

Казалось невероятным: почему в природе произошло такое странное опустошение? Неужели по вине невежественных людей, которые стали интенсивнее проникать в отдаленные углы тайги?!

Без радости покидали мы на этот раз Северное Зауралье. Хвалиться было нечем: хотя и многое засняли, но без глухарей увозили на пленке таежную весну, впервые возвращались из тайги с неудачей.

В вольерах
Дарвинского
заповедника

Конечно, не секрет: глухарь — вымирающая птица. Она — реликт, дошедший без изменений до наших дней с доледникового периода. Вымирающая-то вымирающая... Вот если бы человек еще этому не способствовал... А жаль: уйдет с земли это птичье совершенство, гордость северной природы.

Человек не должен этого допустить!.. И не допустит. Не допустит, чтобы наши леса лишались глухаря.

Многолетними опытами ученых выяснено, что птица эта при благоприятных условиях вполне может жить возле человека и даже размножаться искусственно, то есть методом инкубации.

Для меня было приятной неожиданностью известие: в Вологодской области ученые занимаются искусственным разведением глухарей. Значит, нашлись добрые люди, чьи сердца забеспокоились о судьбе этих птиц...

...Мы с Юрой поспешили в малоизвестный городок Весьеганск. Оттуда перебрались в деревню Борок на берегу Рыбинского водохранилища. Там нас ждал Вячеслав Васильевич Немцев — старший научный сотрудник, кандидат биологических наук и один из «волшебников» Дарвинского заповедника. Я не оговорился, назвав этого человека волшебником. Действительно же, надо быть чародеем, чтобы отважиться разводить в неволе наидичайшую птицу, самую недоступную и во многом еще загадочную. Кроме того,— посвятить этому делу всю свою жизнь.

Мне это представляется величайшим научным подвигом. Я знаю, что такое птица глухарь, и понимаю, насколько трудны с ней опыты, всегда казавшиеся безнадежным делом.

Что же увидели мы в центральной усадьбе Дарвинского заповедника? Расскажу только о самом главном...

Среди роскошного березняка на берегу разлившейся реки Мологи раскинулся большой питомник с вольерами под крупноячеистой сеткой. Там, на зеленых травянистых выгулах, мирно разгуливают черные глухари и рябенькие глухарки — птицы, которых не всегда можно

увидеть в тайге даже с соблюдением исключительной осторожности.

Вячеслав Васильевич, взявшийся демонстрировать подопечное хозяйство, приглашает в вольер. Я с затаенным дыханием и даже с опасением вхожу в этот птичий мир.

Здесь все удивляет в первые минуты. Вздрагиваю от неожиданного зрелища: прямо передо мной на раскрытой двери сидит большой глухарь. Спокойно взирает на нас своим круглым глазом, не проявляет боязни. Больше я боюсь его. Мне кажется, птица ждет моего приближения, чтобы ударить своим орлиным клювом.

Вбираю голову в плечи, с опаской прохожу под пернатым исполином в полуметровом расстоянии от него. Странная ситуация: в тайге глухарь не выносит приближения человека, здесь же — человек остерегается его!

Немцев догадывается о моем состоянии:

— Не удивляйтесь: наши глухари не особенно боятся человека. Некоторые из них даже агрессивно настроены. Нас такое поведение глухаря радует: птица заявляет право на жизнь! Значит, будет здравствовать здесь, в вольере! А потом и в тайге!

Из глубины крытой части питомника выходит молодая женщина в халате. Немцев представил ее нам: лаборант, первая и давняя его помощница Елена Константиновна Семенова, прозванная в шутку «глухариной мамой».

— Вячеслав Васильевич, что мне с этой проказницей делать? — показала она на соседний вольер.

Там вдоль перегородки беспокойно бегала маленькая рябчиха, явно просилась к агрессивному глухарю, у которого находились мы.

— Она неравнодушна к этому петуху... Совсем игнорирует своего рябка...

И мы выслушиваем смешной рассказ.

В соседнем вольере уже несколько лет живет рябчик с рябчихой. Но не идут на лад дела у этой супружеской пары. Как заметила Елена Константиновна, рябчиная самка с давних пор питает особую симпатию к своему соседу-глухарю. И когда все птицы находятся на общем выгуле, рябчиха именно перед этим глухарем, когда он проходит мимо, припадает к земле, распускает крылья, как это делают глухарки. Другие черные петухи не вы-

зывают ее симпатии. Правда, и наш герой не замечает откровений рябчихи...

Но рябушка не теряет надежды: часто бегает вдоль забора, волнуется, заглядывает в щель к любимому соседу.

— Ишь ты какая! — ласково ворчит «глухариная мама».— Влюбилась в великана! Кто поверит, что рябчихе понравился глухарь?..

В этом главном и большом питомнике содержатся взрослые птицы: глухари и глухарки. Их насчитывается до семидесяти особей. Для молодняка отведен отдельный малый вольер, так называемая «брудерная», находящаяся в некотором отдалении от основного питомника. Там живут глухарки со своими высиженными цыплятами и содержатся глухарята, выведенные инкубаторным способом.

После обследования вольеров Вячеслав Васильевич познакомил нас с основной идеей создания глухариного питомника в Дарвинском заповеднике.

Вот что я узнал. Думаю, и читателю это будет интересно.

За последние сто лет почти во всех обжитых районах нашей страны и соседних западных стран резко уменьшилось количество глухарей. Запрещение охоты, выпуск взрослых птиц в леса мало помогли. Стало ясно: нужны другие меры сохранения глухарей в районах нарастающего воздействия человека и развития техники. Из этих мер-путей наиболее привлекательный и полезный — выпуск в охотничьи угодья выводков глухарей, выращенных в вольерных условиях и воспитанных в обстановке близости к человеку.

В 1963 году по заданию Главного управления охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР в Дарвинском заповеднике была начата работа по вольерному разведению глухарей. Ученым нужно было выяснить возможности вольерного разведения этих птиц в производственном масштабе. Такие опыты имеют значительное преимущество перед любительскими попытками прежде всего доступностью использования современных технических достижений. Поэтому в Дарвинском заповеднике был взят курс на значительно более широкий размах работы, чем это когда-либо делалось раньше. Надо было разработать способы получения

и выращивания полноценного глухариного молодняка, пригодного для заселения опустевших охотничьих угодий в культурном ландшафте.

Что же сделано в заповеднике?

Прежде всего создан опытный питомник глухарей, состоящий в основном из отловленных на воле диких птиц, и укомплектовано стадо производителей, способных жить в неволе. Для их содержания разработаны специальная система сооружений и кормовые рационы применительно к реальным сезонам года. При этих условиях глухарки оказались способными ежегодно откладывать такое же количество яиц, как и на воле.

Значительно труднее оказалось получение и выращивание молодняка глухарей. Были использованы все известные способы выведения: под наседками (курицами и глухарками) и в инкубаторе.

Сперва многое не ладилось. Только в последнее время работникам заповедника удалось установить, что наиболее перспективно выведение глухарят в инкубаторе и выращивание их брудерным способом, то есть отдельно от взрослых птиц. Однако и здесь трудностей еще немало.

Вот одна из них. Глухарки в питомнике хорошо высиживают яйца. Но ведь это — не выход. Нужен массовый вывод птенцов. А это может дать только инкубатор. В инкубаторе же наладить достаточно высокий вывод глухарят не удается: пока не известен режим насиживания в гнездах глухарок.

Хорошие результаты достигнуты в опытах по выращиванию молодняка. Однако это опыты на группах, не превышающих двух десятков птенцов. Теперь эти опыты проверяются и закрепляются на больших партиях глухарят.

Молодняк, выращенный в вольерах, для заселения пустующих угодий в освоенных человеком районах несравненно ценнее птиц, отловленных на воле.

Опыты заповедника показали: глухари из питомника не утрачивают способности к быстрому одичанию при выпуске их в охотничьи угодья и могут жить самостоятельно.

Более того, ученые считают: выпуск молодых глухарей в зоны культурного ландшафта позволит получить новую расу глухарей, более приспособленных к

жизни в соседстве с человеком. Это в будущем убережет птиц от вымирания.

Опыт Дарвинского заповедника в ближайшем будущем должен быть передан охотхозяйствам, там будут созданы подобные Дарвинскому питомники для того, чтобы расселить глухарей в тех лесах, в которых они исчезли, и чтобы по-прежнему звучала в предрассветной тайге таинственная песнь царь-птицы...

1976—1977 гг.

Евгений Богданов

Порт назначения

Я возвращался в Москву с буровых Сургутского управления. Вышло так, что попутчиком моим стал Коля Гайдышев, худощавый невысокий паренек, по специальности тракторист-бульдозерист. Вместе добрались мы на попутных до речного порта, вместе коротали время в ожидании теплохода.

Гайдышев уволился из управления до срока, вернул подъемные, продав даже шапку, и чувствовал по этой причине разлад с самим собой. Молодой народ пер сюда, на всесоюзную стройку, а он, по всему получалось, дезертир и достоин всяческого презрения.

Шел третий час ночи, зал был пуст. Я устроился на деревянном диване в растяжку, почти с комфортом. Смертельно хотелось спать, и я соглашался с Гайдышевым по всем пунктам.

— Мать письмо прислала,— простуженным голосом говорил он.— Колька, пишет, устала я от вас, архаровцев, разбежались, разъехались кто куда. А кто ж вам хлеб растить будет, кто вас прокормит всех, если каждый будет кидаться, куда захочет? Права она?

— Права,— соглашался я,— но сейчас ты бы лучше прилег, Коля.

— Пробовал!.. Не могу. Мать пишет, дожди идут, хлеб полег, по снегу убирать придется. У них там сейчас председатель новый, неопытный, ребята-механизаторы кто в армии, кто по комсомольской путевке уехал...,

А на самом-то деле?! Некому ж в колхозе работать, не-ко-му!

— Спи,— соглашался я.

— Да не могу, не могу я! — Гайдышев с тоской посмотрел мне в лицо и полез в карман за папиросами. Пачка была пустая, он с недоумением разорвал ее, смял, бросил в гипсовый подцветочник. Проходившая мимо старуха уборщица заметила, замахнулась шваброй.

— Куды бросил, куды ты бросил?!

Коля растерялся, словно бы швабра уборщицы спустила его с высоких материй на бренную землю, от которой он уже успел отвыкнуть в своих переживаниях.

— Я уберу,— пробормотал он,— что ты, бабка?

— Он уберет! А пошто ж бросал?

— Да я машинально как-то...

— А я убирай?! Вас тут тыщи за сутки перебывает!

— Ну извини, бабуся! — просительно сказал Коля и попытался, подлизываясь, обнять ее за плечо.

— Ат-тайди, холера!

Коля сунул пачку в карман, отвернулся. Уборщица осмотрела меня, мои ноги, но придраться было не к чему: я лежал в носках, а сырые мои ботинки, украдкой вымытые в туалете, сохли на батарее. Вздохнув, она села напротив, оперлась на швабру, сказала уже другим, миролюбивым тоном:

— Тыщи, тыщи народу... Корабли-то все идут и идут на Север. Как на войну...

— На юг тоже идут,— отозвался Коля и, помешкав, спросил у меня закурить.

Я пошарил в карманах, вынул пачку, тоже пустую.

— На,— сказала уборщица. Она достала из кармана халата тоненькую папироску-гвоздик и протянула Гайдышеву. Предложила и мне.— Тебе тоже дать?

Я отказался.

— Эй, только в зале курить не вздумай! — предупредила она Гайдышева, вставая.

— Ни в коем случае! — поклялся тот.

Не было его минут десять, я попробовал задремать. Но не тут-то было; вернувшись, он опять заговорил о своем колхозе, об отчем доме под ясенем, еще о чем-то дорогом и потаенном, о чем только и можно поговорить с дорожным случайным знакомым, когда бессонница и когда нестерпимо хочется выговориться. Он растрево-

жил и меня, и я вспомнил о своем доме под тополями, вкус дикого ревеня — мы звали его «пучкой», вспомнилось наше озеро, куда ходили мы полем и курили на берегу мох. Я пожалел, что отказался от предложенной папиросы.

В противоположном углу зала не спал еще один пассажир, отставший от своей группы и дожидающийся оказии. Он был дагестанец, я узнал об этом еще вечером в буфете, где он требовал дагестанского коньяка. Ему предложили спирта ханты-мансийского розлива, и он, глубоко уязвленный, с достоинством отказался: «Какой ти бедный, девушка! Почему такой! Пиржай Дагестан, я, Али Мухаметов, подару тибе бочку старого коньяка!» Уже отойдя от стойки, он спохватился, что едет не в Дагестан, а как раз наоборот, и внес поправку: «Через год пиржай, в отпуск ехат буду!»

Али Мухаметов сидел по-турецки, бросив на пол бурку, сосредоточенно изучал мозоли на раскрытых ладонях. Я все время ощущал какое-то неудобство оттого, что он сидит так, в полном молчании и одиночестве; даже уборщица обходила его стороной — то ли не замечала, то ли опасалась его угрюмых усов. Иногда я забывал о нем, иногда же, случайно наткнувшись взглядом, раздраженно думал: горец или не в себе, или что-то с ним стряслось и, может быть, нужна помощь. Здраво взвесив, что ничего с ним страшного стрястись больше не может — от своих он уже отстал, а это самое страшное, деньги у него есть, коли спрашивал коньяку; на вид здоров, больных на нефтепромыслы не берут,— я успокаивался, но спустя какое-то время позабывал об этих доводах и опять терзался от неудобства перед сидящим на полу человеком.

Гайдышев перехватил мой взгляд и вызвался стрельнуть курева у дагестанца.

Возвратился он с одной сигаретой и смущенно объяснил, почему другую не дали:

— Ты, говорит, сразу две курить будешь? Я говорю, товарищу вон, в очках.

— А он? — Это было уже интересно, вряд ли горец отказал из скупости.

— А он спрашивает: у него только зрение слабое или ноги тоже? В общем, вот.— Коля с сожалением протянул мне сигарету.

— Спасибо,— отказался я,— сам схожу.

Али уже ждал меня. Едва я приблизился, стараясь не наступить на расстеленную бурку, как он протянул на широкой ладони пачку «Примы», довольно замусоленную, но сделал это с таким радушием, точно бы предлагал рог за мое здоровье.

— Кури, дорогой!

Я поблагодарил, спросил наконец, отчего он сидит на полу.

— А что?

— Вот же есть свободные скамейки.

— А зачэм?

— Но ведь холодно, должно быть, на полу?

— Пачему?

Я пожал плечами. Раз так говорит, значит, не холодно.

— Садись, попробуй! — предложил он.— Я чабан, пирвычка такой. К земле ближе.

Коля Гайдышев, нетерпеливо посматривая в мою сторону, истомился ждать и подошел тоже.

— Садись! — пригласил дагестанец и впервые улыбнулся за все время.— Дорогой гость будишь!

Наверное, будь Коля в другом настроении, до него дошел бы комизм этой ситуации, но он настолько углублен был в себя, что действительно сел, с трудом подогнув ноги.

Дагестанец стал задавать предусмотренные ритуалом знакомства общие вопросы, обращаясь то и дело ко мне как к старшему, и мне ничего не оставалось тоже, как опуститься сначала на корточки, а потом уж незаметно для самого себя перебраться на бурку. Никаких особых неприятностей в настоящем у Али не было, были только в прошлом и, возможно, ожидались в будущем. Ему, как и Гайдышеву, хотелось выговориться, но горский этикет не позволял первым вступить в беседу. Сделав это открытие, я отметил, что на собеседников мне везет нынче, как никогда.

— Плохого ничего сказать не могу,— говорил между тем Коля дагестанцу с горячечной искренностью.— Народ здесь очень хороший, хотя попадаются всякие... Не в этом дело! Дело в том, что не все приживаются. Вот я — четыре месяца отработал и домой. Закруглился. Ты скажешь, я дезертир? Ну скажи, дезертир я?

— Пачему дезертир, дорогой? — вежливо возразил Али.— Должно быть, тебе есть срочний дело на родине.

— Во-во, в самую точку! Именно, срочное дело. Мне надо хлеб убирать!

— Хлэб! Балшой дело — хлэб, маладец! Самий срочний дело.

Была уже вовсе глухая ночь. Не остерегаясь больше, мы задымили махачкалинской «Примой». И тут, как на грех, появилась уборщица. Вероятно, ей не спалось тоже. Я допускаю, что она была с самого начала, только мы, увлекшись, ее не заметили.

Али нашелся первым:

— Садись, мать! О жизни говорить будим!

Раскрывшая было рот старуха осеклась, заколебалась.

— Начадили-то...— проворчала она.

— Двер откроим, окно откроим, чистый воздух будит, как в горах!

Старуха, еще поколебавшись,— что б вы думали? — присела! Не на бурку, конечно, но и не на скамью, а как-то между тем и этим, касаясь, однако, бурки.

Теперь говорил Али:

— Нет, не счастья искать едем, спирведливость. Год нефть будим ковырять, два будим! Три? Пускай три будим! Придет ден, зват будут, Али, дорогой, возвращайся родной аул!

В глазах его плеснулась тоскливая чернота.

— ...А может, не позовут Али. Тогда опять нефть дэлать будим! Черный золото добывать!

— Ну хорошо,— говорил Коля Гайдышев,— я понимаю, я не вовремя из бригады ушел, осенью трактористы нужны. Но ведь хлеб-то, он тоже стоять не может, надо же кому-то его убирать?

— Хлэб? Надо!

— Вот-вот, а бурмастер мне говорит: ты дезертир. Ну почему он такое сказал? Почему?

— Пачему? Скажу. Вот я, Али Мухаметов, пиржаем на слет чабанов. Выступает начадник головка...

— Главка? — не понял я.

— Головка,— подтвердил Али.— Выступает начадник и ругает чабанов, пачему болшой потери веса, пачему болшой пропажи скота. Ругал, ругал, устал, воду графинчиком пьет. Тогда я говорю ему: один слово мине

тоже есть сказат, товарищ началник головка! В своем докладе ты все время ругал Али Мухаметова. Чего тебе Али плохого сделал? Али не имеет потери привеса, пропажи скота. Ты один раз у чабанов не был, как ми живем, совсем не знаешь!

Али расправил усы, обвел нас молодецким взглядом.

— Теперь посмотри,— говорю ему,— чего у нас получается. Пастбищем мало, скота много, гоняем далеко, а пирходим мясокабинет...

— Мясокомбинат? — уточнил я.

— Мясокабинет,— подтвердил Али.— Пирходим мясокабинет, не пирнимают! И что делать будим? Не работает холодец!

— Холодильник?

— Ага,— подтвердил Али.— Туша хранить негде. Гоняем назад! Откуда привес будит? Товарищ началник головка, ты наш чабан видел? Наша обувь знаешь? Наш чабан гончарек носит.— Али похлопал себя по икрам, затянутым в кожаные самодельные сапоги.— От эта гончарек в дирках ссно торчит...

— Стельки, что ли, соломенные? — догадалась уборщица.

Али кивнул.

— ...Когда баран эта сего видит, бегом на чабана бежит! Ты лучше, началник, пиржай к нам, легковой машинка чабанам давай, потом увидим, какой привес будит!

— Приехал? — спросил Коля.

— Я приехал,— не сразу ответил Али.— Сюда пирехал, и еще ехат буду. Нефтеюганск.— И улыбнулся печально.— Нефть привес давать буду.

— А я нынче пенсию получила,— сказала уборщица.— Не свою, свою-то уж давно получаю, слава богу, восьмой десяток идет. За сыночка, за Степушку. Тридцать лет ни слуху ни духу не было. Как ушел зимой в сорок пятом, так ни письма, ни похоронной... А этой весной в военкомат вызвали. Явись такого-то. Разыскалось Степушкино дело, погиб в Чехословакии смертью храбрых. Пенсию теперь назначили. Давно бы уж, дуре, на пенсию подавать, соседка-учительница сколько раз бумаги выправить предлагала, да я все отнекивалась. Может, живой он где, думаю, может, в плен попал...

А пенсию просить, значит, мертвым признать. Ну и не подавала все...

Разошлись мы только под утро. На самом забрезге мне удалось уснуть. Впрочем, я спал и не спал, в голове мелькали обрывки фраз, образов, потом стала выстраиваться какая-то живая картина. Усилием воли я разорвал дрему. Окна были полны восходящего солнца. За полдень, с прибытием теплохода, погода испортилась, враз похолодало, но этот утренний светлый час еще долго согревал меня. Теплый, медно-розовый свет, что залил зал ожидания, словно бы засветил мой вымороченный, тревожный сон, и в памяти осталось лишь одно слово: порт. «Порт, порт назначения?..— вспоминал я.— Порт высокого назначения?»

Дожидаясь посадки, я вышел на берег. Моросило; на желтых шеях причальных кранов висело совсем по-зимнему одутловатое небо. Иртыш покрылся шугой, и буксиры торопливо тянули на север последние баржи с грузами для нефтяников. Пакгаузы были загромождены ящиками с бурстанками, насосами, компрессорами, строительными механизмами; кирпич, блоки, пенопласт — все развалено было в больших попыхах, сам черт сломал бы здесь ногу.

Но вновь прибывшие чувствовали себя уверенно. Мелькали фуражки и кителя речников, меховые куртки геологов; особыми кучками держались ждавшие отправки рабочие. Они были одеты разно: в ватники, в полушубки, в шинели без погон, в суконные дедовские пиджаки, в цигейковые гуцульские жилеты с орнаментом и без орнамента, в стеганые халаты и кожушки. Али Мухаметов, заметая грязь буркой, расхаживал по речному перрону, выискивая земляков. У парапета, точно изваяния, стояли башкиры в шубах без ворота, и к ним приставали неизбежные и вездесущие цыганята; отдельно на ящиках с импортным оборудованием угощались первачом присадистые украинцы.

Коля Гайдышев сидел в окружении нескольких человек и рассказывал о буровой. Он был возбужден, как и ночью, хрипло смеялся, и лишь когда оглядывался на теплоход, что уходил на север, на лице его появлялось потерянное выражение.

А все вместе разношерстное и разноязыкое это племя горланило песни, смеялось, плакало, лузгало семечки, продававшиеся тут же старухой уборщицей, ночной нашей собеседницей. Организаторы сорванными голосами выкрикивали порт назначения и уводили людей группами и поодиночке.

Постепенно толпа формировалась в определенном порядке,— контролеры стали впускать тех, кто уезжал на юг. Все мои ночные знакомцы определились в этой человеческой круговерти...

Я стоял на перроне под въедливой ветреной моросью, курил и думал о том, что все это и есть жизнь, все это — моя родина, мой порт назначения, и нет иных слов, прекраснее и точнее.

1976 г.

Валерий Осипов

Процент удачи

1

Давно уже мы не виделись с ним. Давно уже не раздавался у меня в Москве звонок и не возникал в трубке знакомый голос:

— Привет, это Эрвье. Только что прибыл... Слушай, ну как жизнь? Почему не прислал свою последнюю книгу?.. Сегодня подаришь? Поздно, дорогой. Я ее уже купил. Обедаем вместе? Где встретимся?

И вот мы уже идем с ним между столиками в ресторане гостиницы «Украина» или «Москва», и все оглядываются на него: звезда Героя Социалистического Труда, знак лауреата Ленинской премии. И мы садимся где-нибудь в уголке, и начинаются наши нескончаемые разговоры о геологии, о Сибири, о нефти, и он, начальник Главного тюменского геологического управления Юрий Георгиевич Эрвье, а теперь — заместитель министра геологии СССР, рассказывает, рассказывает мне, как движутся, вторгаются, врубаются в глубины тайги разведочные партии в поисках новых месторождений нефти и газа, как вгрызаются в недра западно-сибирской земли

новые буровые установки, «отбирая» у тайги и тундры их последние геологические тайны.

Да, давно уже не звонил он мне (хотя, как давно — всего полгода назад звонил), давно уж не взлетали мы с ним с побережья полуострова Ямал на самолете и не садились где-нибудь на «диком бреге Иртыша»...

А когда-то...

Когда-то я двух месяцев не мог высидеть в Москве, чтобы не вырваться под тем или иным предлогом в Тюмень, чтобы не «покувыркаться» на тракторе или тягаче в двух километрах от Полярного круга, чтобы не подняться на мостки буровой вышки и не втянуть в себя такой знакомый, такой энергичный, такой уверенный, такой неопровержимый запах будущей нефти...

Декабрьский Пленум ЦК КПСС наметил новые рубежи развития Тюменской нефтяной «страны». Основной прирост добычи нефти и газа в ближайшем будущем будут давать месторождения Западной Сибири. На просторах Тюменской области вырастут новые города добытчиков нефти, новые поселки ее разведчиков. Через тайгу, болота и тундру будут проложены новые сотни километров трубопроводов. Дальнейшее экономическое и промышленное преобразование Западной Сибири было названо на декабрьском Пленуме ЦК КПСС поистине великой стройкой нашего времени, огромным созидательным свершением нашего социалистического общества.

Успешно завершен первый этап комплексного освоения западно-сибирских недр. Теперь поставлена задача осуществления следующего этапа.

Для себя я называю его д'Артаньян из Тюмени...

Теперь я уже точно не помню, когда эти два слова впервые соединились для меня вместе. Может быть, это было в Ханты-Мансийске, где он сказал мне однажды, что его предки были выходцами из Франции, из Гаскони, и я впервые подумал — вот откуда эта необычная фамилия, Эрвье — типичная французская фамилия, с которой его дед приехал в Россию, а внук, родившийся в Тбилиси и всю жизнь проживший в Сибири, сохранил ее. Мы стояли с ним на берегу Иртыша, его профиль четко рисовался на фоне горизонта, и я, глядя на него, думал: на кого же, очень знакомого, он похож? И тут же

понял — на французского киноактера Жана Габена, неоднократно виденного на экране во многих фильмах: та же определенность в лице, седая голова, прямая линия губ, какой-то очень самостоятельный нос, а в глазах этакая веселая чертовщинка — а вот я сейчас один нападу на вас всех, защищайтесь!

А может быть, два эти слова впервые соединились для меня в Салехарде, когда мы с ним однажды поднялись на вертолете со взлетной площадки неподалеку от станции Лабытнанги и взяли курс на север, на полуостров Ямал. Под нами лежали тайга, тундра, болота, таившие в себе огромные, но еще не открытые богатства нефти и газа, он сидел около иллюминатора и пристально смотрел вниз, и на лице у него было все то же выражение — эй вы, тайга, тундра, болота, защищайтесь! Мы все равно нападем на вас, все равно вытряхнем из вас нефть и газ, как бы вы ни сопротивлялись, все равно построим здесь новые города и поселки, зажжем огни буровых. Вечером того же дня, пересев с вертолета на уже ожидавший нас самолет (спецрейс) и проделав несколько сотен километров по воздуху на юг, мы сидели в каком-то районном ресторане (в очень хорошем районном ресторане), в шумной застолице начальников экспедиций его геологического управления, и они, энергичные, тридцатилетние геофизики, буровики, яростно нападали на него, осыпали его градом не терпящих никаких отлагательств вопросов-«ударов», «кололи» проблемами, проектами, процентами, тоннами, рублями, и он в свою очередь тоже нападал на них, требовал убыстрить темпы разведки, увеличить объем бурения, ускорить проходку скважин. И было все это одновременно и дружелюбно и непримиримо (и по-товарищески и по-деловому), и какой-то незримый «мушкетерский» дух витал над этими упрямыми, настойчивыми, целеустремленными, хорошо знающими свое дело людьми, над всем этим спором-беседой, над громким совещанием-застолицей: пили, ели, смеялись, шутили, передавали друг другу тарелки, вилки, ножи, хлеб, намечали новые районы поисков, называли сроки, прикидывали возможности, подсчитывали количество людей и техники, планировали перевозки, прокладывали маршруты, прогнозировали месторождения. А потом все вместе пошли встречать брата Фармана Салманова, прилетевшего из Азербайджана с

бочонком вина, и вертолет, в открытых дверях которого стоял брат с бочонком в руках, зависнув в нескольких метрах над землей, почему-то все никак не мог приземлиться, и брат, не вытерпев, бросил сначала вниз на протянутые руки бочонок, а потом под громкий хохот прыгнул сам (встречающие, разумеется, не позволили коснуться земли ни бочонку, ни гостю), и шумная застолица, пополнившись азербайджанским братом и прекрасным дубовым бочонком-путешественником с молодым азербайджанским вином, снова возобновилась, снова заискрилась бокалами и тостами и гудела до самой ночи... А рано утром мы все (геологи, геофизики, буровики) снова ринулись на нашем специальном самолете по разведочным партиям и сейсмическим отрядам, снова пересаживались с одних вертолетов на другие (уже ожидавшие нас с вращающимися лопастями — это было похоже на смену загнанных лошадей новыми, свежими) и снова бросались «вскачь» по облакам и небесам бесконечным самолето-вертолетным аллюром, приземлялись, взлетали и снова приземлялись, и он, Эрвье, неутомимо ходил по буровым и сейсмическим просекам, разговаривал, спорил, ругался с инженерами, техниками, прорабами, рабочими, трактористами, монтажниками, дизелистами, шоферами, спрашивал-переспрашивал, улыбался, обещал, отказывал, пожимал плечами, качал головой, жестикулировал, размахивал руками, гасил конфликты, примирял противоречия,— и мне снова виделось, как «мушкетерский» плащ незримыми крыльями развевался у него за спиной.

А может быть, эти два слова впервые соединились для меня в Тарко-Сале, куда мы прилетели с ним однажды в дождливый осенний день и сразу узнали, что стоящую у причала самоходную баржу с необходимыми «дозарезу» на одной из буровых механизмами никто не разгружает (дождь, мол, идет сильный, грузчики отказались работать, а речники за каждый час простоя «драли» с геологов бешеные штрафы), и он, начальник Главного тюменского геологического управления, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, танцующей молодой походочкой взбежал по трапу на баржу, взвалил себе на плечи огромный ящик и, как муравей, понес этот ящик на берег (второй ящик понес на берег я), и вышедшие из кубрика в полосатых тель-

никах «морские волки» (в данном случае «речные волки»), ухмыляясь, наблюдали за нами, а когда мы понесли по четвертому ящику, «речные волки» не выдержали и тоже стали носить ящики, а по берегу уже бежала такелажная команда во главе с начальником порта, а за ними — всякий конторский люд (плановики, счетоводы, бухгалтеры, узнавшие, что Эрвье «один» разгружает баржу — даже два милиционера прибежали на помощь), и как он, Эрвье, оттолкнул от себя какого-то местного начальника (чуть в воду не сбросил), который, заливаясь краской стыда, хотел было помочь ему нести очередной ящик («Уйдите! Видеть вас не могу!» — заорал на него Эрвье), и через два часа вся баржа была разгружена до последнего ящика...

А может быть, эти слова соединились для меня в Уренгое, когда он (узнав, что начальник местного строительного участка, на котором работал студенческий отряд, «зажимает» студентов, нагло снижает им зарплату, плохо кормит, не дает постельного белья) устроил общее собрание администрации и студентов, публично снял на собрании начальника участка с работы, переводя его тут же на собрании в разнорабочие в этот же студенческий отряд, а студентам во всеуслышанье заявил, что они слюнтяи, обломы, барчуки, маменькины дети, медузы, амебы, инфузории, потому что не умеют бороться за свои права, отстаивать свою честь, раскисли, рассиропились, вешают лапшу, вместо того чтобы поставить на место зарвавшегося самодура, забыли, что есть партийные органы, народный контроль, прокуратура, и если они сейчас, в институте, не научатся драться за свои интересы, то грош им цена («двадцать копеек пучок в базарный день», — так прямо и сказал) будет тогда, когда они кончат институт и пойдут на производство, и студенты, поглядывавшие сначала на Эрвье недоверчиво, слушали его потом с открытыми ртами (может быть, первый раз в жизни им преподали такой сильный урок гражданского поведения) и, когда собрание кончилось, тут же постановили — не уезжать из Уренгоя до тех пор, пока их объект не будет подведен под крышу, и сразу же после собрания, разобрав топоры, пилы, рубанки, двинули на свой объект (я, и тогда прилетевший в Уренгой вместе с ним, сидел на этом собрании, все видел и все слышал). И как тут было не

соединиться этим двум словам, когда они просто сами «ползли» друг к другу — может быть, именно тогда, в Уренгое, они и соединились впервые для меня...

А может быть, это произошло в поселке Тазовский, за Полярным кругом, куда мы долго «шлепали» с Юрием Георгиевичем Эрвье на маленьком вертолетике над мансийскими и ненецкими рыбацкими стойбищами в междуречье богатейших своими рыбными запасами северных рек Пур и Таз, а когда «дошлепали» до места, в Тазовский, на нас сразу обрушился град (шквал, смерч, тайфун, ураган) жалоб и заявлений от разного калибра местных деятелей о беспрецедентных, вопиющих, преступнейших, антигосударственных нарушениях, суть которых сводилась к тому, что местный рыборазделочный завод уже несколько месяцев не работал, а штат его в полном составе получал целехонькую зарплату (не было тары под засолку рыбы, и выгоднее было остановить завод, но продолжать платить зарплату, чем накапливать запасы разделанной рыбы, заведомо обреченной на гниение и порчу), и Эрвье, хотя рыбные дела были совсем не по его ведомству, с ходу ввязался в эту историю (характер не тот, чтобы безразлично проходить мимо чужой беды), дал несколько «фугасных», как он сам их назвал, телеграмм в московские министерства (а дело-то вовсе никаким боком его не касалось), отправил две «молнии» в стиле «караул, режут!» в Госплан и Совет Министров и вообще так звонко и умело ударил во все местные и центральные общественные партийные и ведомственные «колокола», что, когда мы через неделю снова проезжали через Тазовский, заводик уже дымил. («Учись,— сказал мне Эрвье,— государственный механизм в действии».) Нашлась и тара, и многое чего другое, и «зажиревший» от многомесячного и безмятежного, но оплаченного ничегонеделанья штат заводика уже хлопотливо бегал по двору, покрикивал, пошевеливался, проявлял инициативу, наверстывал упущенное...

А может быть, эти слова впервые соединились для меня в Сургуте? Очень высокая правительственная комиссия, сопровождаемая Эрвье, летела из Тюмени к обским берегам (я тоже увязался вместе с комиссией). Прилетаем, садимся, вылезаем из самолета. Огромная толпа народа валит к нам наискосок через поле аэрод-

рома. Секунда, и все смешалось, заговорило, зашумело, зашуршало бумагами — перспективы развития, непредусмотренные затраты, научно-техническая революция, монтажные работы, сейсмические волны, нарушенные сроки, рубли, тонны, гвозди, микроскопы, закономерности, диспропорции, проекты, проценты, объемы... Всех членов комиссии густо окружает напористый руководящий сургутский люд, приезжих берут под руки, тормошат, дергают за рукава, стараясь с первых же шагов заинтересовать именно своими проблемами, что-то говорят, кричат, шепчут, втолковывают — народ здесь явно не из робкого десятка... Первым из наседающей на него группы вырывается Эрвье. Он четко парирует все устные ходатайства и просьбы («Вечером все вопросы будем решать на пленуме райкома с документами в руках», — сердито говорит Юрий Георгиевич осаждающим его геологам) и спешит на помощь остальным членам комиссии, взятым в «работу» толпой энергичных сургутских деятелей. (Судя по оживленному гулу и обмену мнениями, «толпа» успела все-таки сорвать с прибывшего начальства необходимую и первую — вот что самое главное! — долю внимания к своим делам.) Эрвье, решительно действуя локтями, выручает наконец своих спутников из горячих «объятий» местного актива (у сургутцев свои заботы и хлопоты а у него, Эрвье, свои). Наиболее «нахальных» просителей он просто отпихивает в сторону руками, без всяких церемоний, и ускоренной рысью ведет комиссию за ограду аэропорта, где уже стоит весело «рычащий» мотором открытый легковой «газик» (из открытой машины — обзор для высокой комиссии, и ее будущие решения — вот что самое главное! — будут, естественно, результативнее для Эрвье, чем из закрытой). Лихо перекинув ногу через борт (словно в седло прыгнул), Юрий Георгиевич залезает в кузов машины, протягивает руки своим попутчикам и увозит комиссию из-под носа руководящего сургутского люда по своим крупнейшим пусковым объектам. Это и очень важный транспортный комплекс (от готовности которого, судя по тому, как горячо говорит о нем Эрвье, зависит счастье чуть ли не одной трети всего человечества), и наиважнейший механический комплекс (от его готовности, по страстному рассказу Юрия Георгиевича, зависит счастье уже половины всего челове-

чества), и сверхнаиважнейший причальный комплекс (счастье двух третей человечества — монолог Эрвье достигает невиданных высот публицистического накала), и, наконец, супернаиважнейший жилищный комплекс (от ввода в строй именно этого объекта, само собой разумеется, зависит счастье уже всего сургутского человечества, в доказательство неопровержимости этого положения Юрий Георгиевич готов положить под топор, кажется, даже свою собственную голову). И настолько убедительно звучат при этом все его интонации, так вдохновенно пылает во время этой поездки его «жангабеновское» лицо, столько естественной, выстраданной, до последнего предела преданной своему делу заинтересованности чувствуется во всех его движениях и жестах, что видавшие, очевидно, на своем веку немалые «виды» члены высокой комиссии достают из своих портфелей бумаги, планы, правительственные постановления и прямо тут же, в машине, делают пометки, записывают проекты будущих решений, увеличивают ассигнования тюменским геологам, добавляют новые миллионы рублей на поиски нефти на Западно-Сибирской низменности и на все хозяйственные, строительные, бытовые и прочие нужды, связанные с этим нелегким и трудоемким делом. И, сидя напротив них тут же в машине, глядя на них и на Эрвье (на «государственный механизм в действии»), я, кажется, окончательно соединяю в своем сознании эти два слова. «Д'Артаньян,— думаю я, глядя на Эрвье, на его загорелое на сибирском солнце, но все-таки южное, «гасконское» лицо, на его подвижную, ладную, ловкую, «уверенную» в себе фигуру. Рыцарь без страха и упрека. Человек со знаком «плюс». Большим, «фосфоресцирующим» знаком «плюс». Человек, пришедший в жизнь, чтобы увеличить число ее нравственных ценностей. Человек, идущий по земле, чтобы умножать количество ее материальных богатств, а не сокращать их. Чтобы отдавать себя людям, а не наоборот — не брать от них только для себя».

2

Был такой случай в Нефтеюганске. Лечу вместе с Эрвье и двумя солидными учеными мужами из Москвы и Новосибирска (и по внешности солидными, и по на-

учному авторитету) на одну из новых и чем-то очень заинтересовавших ученых мужей буровую.

Подлетаем к месту. Несколько непривычных кругов над буровой вышкой. (Обычно вертолет делает один-два круга и садится.) Все удивленно переглядываются. Эрвье встает с места, поднимается на две ступеньки по металлической стремянке в кабину пилотов (я сижу рядом со стремянкой на бочке с запасным горючим, и мне слышен весь дальнейший разговор).

— Почему не садитесь? — спрашивает Эрвье.

— Не обозначено место посадки! — кричит сквозь гул винта первый пилот.

— Садитесь на свое усмотрение! — кричит Эрвье.

— Это запрещено!

— Кем?

— Инструкцией!

— Что собираетесь делать?

— Возвращаться обратно в Нефтеюганск! — громко сообщает летчик.

— Немедленно приземляйтесь! — сдвинув брови, кричит Эрвье, стараясь перекрыть шум лопастей.

— Не имею права!

— Почему?

— Не могу рисковать техникой.

— Садитесь! — напрягает голос Эрвье.— Садитесь на мою ответственность!

Идем на посадку. Подолгу висим то над одним, то над другим местом. Наконец худо-бедно, но приземляемся. Ученые мужи выкатываются из вертолета, сразу же находят бурового мастера и лезут с ним на «полати», к буровому станку. Эрвье собирает свободных от вахты буровиков и начинает дотошно расспрашивать их о работе и быте — какие нормы, какие заработки, как со снабжением, питанием, спецодеждой, у всех ли семьи обеспечены в городе жильем, есть ли претензии, жалобы, вопросы. (Я подробно записываю весь разговор. У нас с Юрием Георгиевичем договоренность — он спрашивает, я пишу.)

Потом идем к геологам. Прямо на траве раскладываются карты, схемы, чертежи, диаграммы. Эрвье углубляется в сложную бумажную «бюрократию», ворчливо поругивает геологов за то, что они якобы «берегут» свои планшеты, не наносят на них последние данные,

новую обстановку. (На «полатях» показываются ученые мужи. Они уже с ног до головы перемазались глинистым раствором, но очень счастливы, размахивают руками, нетерпеливо расспрашивают о чем-то бурового мастера, жадно рассматривают извлеченные из скважины керны и образцы пород.)

И вдруг к Эрвье подходит командир вертолета.

— Мне нужно возвращаться обратно в Нефтеюганск,— громко говорит он.

— Почему? — тихо спрашивает Эрвье.

— У меня кончается санитарная норма налета часов.

— Мы еще не кончили работать.

— Меня это не касается.

(Ага, вот почему началась еще в воздухе вся эта волынка с посадкой — он просто торопился домой.)

Эрвье, сидевший с геологами на траве, выпрямляется. В глазах у него загорается нехороший огонек. (Я-то знаю, чем кончаются все разговоры, когда этот огонек зажигается.)

— Улетайте,— тихо, но с холодным презрением говорит Эрвье.— Улетайте. И немедленно.

Несколько мгновений они смотрят друг на друга. Молча. Характер на характер. Потом летчик поворачивается и идет к машине. Треск мотора, и вертолет исчезает за кромкой тайги.

— Сколько отсюда до пристани? — спрашивает Эрвье у геологов.

— Шесть километров. Но дорога очень плохая, плывуны. Машины не ходят.

— Пойдем пешком,— говорит Эрвье.

Подходят ученые мужи. Удивленно спрашивают, что случилось. Эрвье объясняет. Буровой мастер вызывается проводить нас через тайгу до пристани (ему идти шесть километров туда, шесть — обратно).

Минут через сорок, закончив все дела, собираемся в путь. Вдруг — снова треск мотора. Вертолет, чуть показавшись над деревьями, сразу же садится рядом с буровой, безо всяких кругов. Летчик (тот же самый), спрыгнув на землю, бежит к нам.

— Юрий Георгиевич, извините,— запыхавшись, говорит он.— Извините за шкурный разговор. Машина вас ждет.

Эрвье смотрит на ученых мужей (в моем решении

он уверен, как в своем) и, уловив в их лицах нечто общее, отрицательно качает головой.

— Нет, мы не полетим с вами,— отчетливо произнося каждую букву, говорит он.

— Почему, Юрий Георгиевич? — горько недоумевает командир экипажа.

— А потому, что нам противно с вами лететь...

Три часа пробираемся по лесу к реке, три часа в буквальном смысле этого слова «шлепаем» по заболоченной тайге (дорога действительно оказалась не из лучших). Глядя на солидных наших спутников (москвича и новосибирца), Эрвье, кажется, уже начинает жалеть о своем отказе лететь. Но те, занятые разговором с буровым мастером, будто бы и не замечают тягот пути.

Потом еще несколько часов, уже в темноте, мы будем идти на катере по обским протокам вверх против течения. Но тем не менее никто из троих моих спутников ни разу не выскажет ни одного сомнения по поводу принятого решения и не будет считать все эти часы потерянным временем. Все трое они знали (а Эрвье в особенности), что «педагогические круги» от этого эпизода с их отказом лететь мгновенно разойдутся по всей Тюменской области, по всем экспедициям и авиаотрядам. Никто официально не будет наказывать или ругать командира нашего вертолета (формально он был вроде бы и прав). Но нравственный импульс, рожденный этим случаем, будет стоить многих собраний, лозунгов, призывов и нравоучений. (Так оно в общем-то и получилось: через несколько месяцев после происшествия в Нефтеюганске командир вертолета, угнетенный — как мне рассказали знакомые летчики — образовавшейся вокруг него «пустотой», уволился из тюменского авиаотряда и перевелся куда-то на Кавказ.)

...Однажды, в канун Октябрьских праздников, мы выступали с Юрием Георгиевичем по Центральному телевидению. (Редакция общественно-политических программ попросила меня сделать передачу о Тюмени. Эрвье как раз был в Москве, и я привез его в студию.) Понимая, что зрителей интересуют прежде всего не мои, а его слова, быстро произношу несколько вступительных фраз и выпускаю его в эфир. Юрий Георгиевич говорит своим характерным, глухим, с хрипотцой голосом

(сорванным на северных ветрах и морозах), мягко, по-южному выговаривая шипящие звуки. Камера переезжает с меня на него (то есть меня в кадре уже нет), я смотрю на режиссера передачи: «Ну как, все в порядке?» Режиссер показывает мне часы на руке и три раза сжимает и разжимает пять пальцев, что в переводе на обыкновенный язык означает: следи за временем, вы оба точно должны уложиться в отведенные вам пятнадцать минут. Я делаю успокоительный жест — мол, все понял, никаких накладок не будет. И в самом деле, какие могут быть накладки? Выступать Юрий Георгиевич умеет, я сам был неоднократным свидетелем этого. Если же он увлечется (есть у Эрвье в характере такая черта) и «въедет» в чужое время, я постараюсь деликатно «отобрать» у него слово и благополучно закончить передачу (я тоже умею это делать, выступаю перед телекамерой не первый раз). И конечно же, Юрий Георгиевич не обидится на меня за это — мы с ним старые друзья. Сколько дней и недель проведено вместе, сколько часов налетано бок о бок в самолетах и вертолетах, сколько переговорено на всех буровых, аэродромах и в гостиницах от Салехарда до Тобольска...

Успокоенный этими приятными воспоминаниями, я благостно поглядываю на Эрвье. И вдруг замечаю около камеры отчаянные жесты режиссера передачи. Режиссер стучит кулаком по циферблату, хватается за волосы. Быстро скашиваюсь на часы — ого! Юрий Георгиевич давно уже «выехал» из наших пятнадцати минут и влез в чужое время, гневно и пламенно упрекая какие-то организации и ведомства за то, что они до сих пор не поставили, не послали, не догрузили тюменским геологам такие-то и такие механизмы, насосы, трактора, дизеля, такое-то и такое оборудование, буровые станки, сейсмические станции, ремонтную технику. Режиссер около камеры держится за сердце — какие станки, какие насосы, какие дизеля? Ведь передача торжественная, праздничная — какие же могут быть упреки в адрес каких-то там нерадивых хозяйственников перед многомиллионной аудиторией празднично настроенных телезрителей всей страны? Делаю первое, что приходит в голову — слегка толкаю Эрвье под столом ногой. Юрий Георгиевич на мгновение замолкает, но тут же, не повернувшись даже в мою сторону, снова начинает

крыть министерства, главки, проектные институты. Режиссер около камеры близок к обмороку. Начинаю волноваться и я. Надо как-то спасать положение. Уже довольно сильно (и недвусмысленно — время!) толкаю Эрвье под столом коленом. И тут же получаю в ответ не менее сильный удар ногой — отвяжись! Изумленно смотрю на него. Напряженно подавшись вперед, схватив двумя руками стол, за которым мы сидим, Эрвье «вбивает» в телевизионную камеру (как гвозди, один за другим) неулаженные ведомственные споры, нерешенные вопросы, конфликты, проблемы, противоречия, названия заводов и предприятий, фамилии их руководителей и директоров. Около камеры сбились в кучу все работники студии — операторы, ассистенты, осветители. У всех на лицах напряженный и в то же время озорной интерес: чем же кончится это вопиющее нарушение жанра общественно-политической передачи? Такого здесь, кажется, еще не бывало. Настоящее ЧП. Режиссер, едва не влезая в кадр, делает от камеры два шага вперед к нам, «рубит» воздух рукой, грозит мне кулаком. «Остановить! Оборвать! — читаю я грозный приказ в его глазах.— Кого привез на студию, черт бы тебя побрал?!» Памятуя, что толчки и удары коленом под столом не подействовали, я наступаю ногой на ботинок Юрия Георгиевича и крепко прижимаю его к полу. И вдруг Эрвье поворачивается ко мне (потом нам рассказали, что мы оба были в эту минуту в кадре) и хриплым своим голосом (сердито и даже зло, мягко, поюжному выговаривая все шипящие звуки — слово «что», например, звучало у него как «що») спрашивает у меня перед телевизионной камерой:

— Ну что ты меня все время толкаешь? Что ты мне наступил на ногу? Что ты думаешь, что телезрителям (жест в сторону объектива камеры) неинтересно узнать, кто мешает разведке нефти в Тюмени? Кто сдерживает наши возможности? Кто нам сует палки в колеса? А может быть, эти нехорошие люди сидят сейчас около своих телевизоров, и может быть, рядом с ними сидят их дети, и может быть, эти дети спросят у них: папа, а где же ваша совесть? Почему же вы мешаете тюменцам работать? Как же вы докатились до такой жизни, что вас ругают уже и по телевизору? И может быть, эти папы наконец вспомнят, что у них действительно есть совесть?

Немой, безмолвный, восторженный хохот «волнами» ходил около телевизионной камеры. Стиснув зубы, зажав рты ладонями (чтобы не нарушить тишину в студии), свободно и как-то раскованно, чуть ли не до слез смеялись операторы, ассистенты, осветители. А режиссер передачи (с ним, очевидно, стряслась какая-то неожиданная и крутая химическая перемена, метаморфоза) стоял около камеры бледный, растерянный и только показывал мне большой палец руки, как бы говоря — во! Вот такая получилась общественно-политическая передача, на большой! (И мне сразу вспомнилось то самое выражение лица Юрия Георгиевича, которое я однажды «уловил» в Ханты-Мансийске и еще один раз в Салехарде, когда мы поднимались на вертолете — а вот я сейчас один нападу на вас всех, защищайтесь!)

...Как-то прилетел он в Москву и через несколько дней звонит мне из гостиницы «Украина».

— Слушай,— говорит,— мне тут прислали сценарий с «Мосфильма» о том, как была открыта нефть в Тюмени. Слушай, плохо написан сценарий, большой идеи нет. Надо бы поехать на «Мосфильм», поговорить с народом. Слушай, поехали вместе, а? Ты же их всех знаешь.

Договариваемся увидеться в гостинице. Еду к нему в «Украину», читаю сценарий. Мда-а... Вова Зою полюбил, Вова Зою разлюбил, уехал в Тюмень, поступил в геологическую партию, бурил, бурил и случайно открыл нефть... Эрвье звонит на студию, назначает время встречи, и мы отправляемся с ним на «Мосфильм».

Приезжаем. Заходим в кабинет главного редактора одного из творческих объединений известного кинодраматурга Михаила Папавы. Вокруг стола хозяина кабинета сидит человек десять-двенадцать (режиссеры, редакторы), которых я действительно почти всех знаю. Эрвье без долгих вступлений открывает присланный ему на консультацию сценарий и начинает говорить о том, что в сценарии, по его мнению, не нашло себе места то главное, что позволило открыть нефть в Тюмени,— научно-техническая революция.

— Мы нашли нефть на Западно-Сибирской низменности не случайно, а потому, что на вооружении у нас была одна из главных современных наук — физика, которая, как вы знаете, перевернула в двадцатом веке все представления человечества об окружающем его мате-

риальном мире,— говорит Эрвье.— Физика и один из ее разделов — геофизика, наука, изучающая физические свойства земли, дали нам в руки великолепное оружие в борьбе с тайнами залегания нефти в Сибири. Я имею в виду сейсморазведку, которая позволила во много раз ускорить изучение недр Тюменской области геофизическими способами. Совершенствуя сейсмику как главное свое поисковое оружие, мы постепенно добились того, что с помощью искусственных сейсмических волн стали находить нефтяные месторождения с точностью, близкой к бурению. Условно говоря, в Тюмени старые буровые методы геологической разведки были заменены новыми, геофизическими. Это на сотни миллионов рублей удешевило разведку, сказочно убыстрило ее. Конечно, бурение не исчезло совсем из обихода геологов. Бурение осталось. Но ему дана теперь совершенно новая функция — подтверждать данные геофизики... Научно-техническая революция и небывалое развитие в нашей стране авиационной техники позволили в корне изменить сам характер работы геолога. Геологи у нас теперь не ходят пешком по тайге. Мы посадили геолога на вертолет. Мы оборудовали вертолеты сейсмическими станциями и создали целую геофизическую вертолетную авиацию, которая позволила нам выйти в новые районы, грандиозно расширила масштабы поисков... Но ничего этого, о чем я сейчас говорю, нет в предложенном мне для ознакомления сценарии.

— Но человеческие характеры в нем есть? — спрашивает Папава.

— Характеры есть,— отвечает Эрвье,— но это какие-то старые характеры. В них совершенно нет признаков сегодняшнего времени.

Папава вопросительно смотрит на меня. Собственно говоря, не совсем ясно — в какой роли я нахожусь здесь? Как свой «брат» писатель, сценарист, автор нескольких фильмов или просто как знакомый Эрвье, по каким-то неизвестным для присутствующих причинам оказавшийся на обсуждении?

Я стою перед выбором. С одной стороны, профессиональная солидарность, цеховая, так сказать, общность требует защитить сценарий, в котором есть человеческие характеры. Но, с другой стороны, нет в нем действительно ничего того, о чем говорил Эрвье, и того, чем

является Тюмень для меня, а главное — нет той «отгадки» секрета Тюмени, которая (отгадка), как я всегда считал, была не менее сильным, чем геофизика и вертолеты, видом оружия, приведшим тюменцев к победе, нет того рыцарства, которое, открывшись мне однажды и потом неоднократно подтвердившись, навсегда «вовлекло» меня в свою обаятельную деловую и нравственную атмосферу.

Нет судеб и характеров Ровнина, Салманова, Цибулина, Богомякова, Ансимова, Абазарова, Юдина, Подшебякина, Быстрицкого, Ростовцева, Урусова, Шиловского, Мелик-Карамова, Савельева, Морозова, Мизинова, Тарасова, Григорьева, Шмелева, Сутормина, Кавалерова, Бованенко (хотя бы одного из них) и многих других, без которых невозможно было бы открытие нефтяных и газовых месторождений на Западно-Сибирской низменности (о каждом из них можно было бы написать отдельный сценарий).

И, пренебрегая профессиональной писательской солидарностью и цеховой кинематографической общностью, я встаю под знамена Эрвье и говорю, что сценарий этот (не вдаваясь в обсуждение его литературных достоинств) с точки зрения своего жизненного материала просто очень беден по сравнению с той реальной действительностью, о которой он рассказывает. Ведь рождение Тюменской нефтяной «страны», как нарекла это рождение мировая пресса,— действительно является прямым результатом развития научно-технической революции в нашей стране. И не только прямым, но и пожалуй, самым крупным (не надо забывать о значении нефти в современном мире). Тюмень — детище НТР, ее закономернейшее следствие, ее конкретное и осязаемое выражение. Тюмень была открыта точно в свое время, в свое десятилетие — в шестидесятые годы двадцатого века. Она не могла быть открыта, очевидно ни десятилетием раньше, ни десятилетием позже, не могла ни в какое другое время так громко заявить о себе и приковать к себе такое внимание. Тюмень была потребностью времени, ответом на вопрос, который был задан временем. Тюмень приняла на себя предельные для этого времени масштабы хозяйственных и государственных задач. Приняла, осуществила и стала символом (таким же, каким были Днепрогэс и Магнитка.

своего времени. Стремительное, космически скоростное, «реактивное» появление Тюмени на всесоюзной, а потом и на мировой арене было похоже на внезапное распрямление какой-то новой, тайной, никому не известной до этого «пружины» современного научно-технического бытия. И разве можно фильм о таком событии нашей истории (вернее, современности и уже истории) снимать по сценарию, в котором ничего этого нет?

Конечно, можно было бы «закрыть» глаза на все это (как делается весьма часто) и выпустить фильм о некоем абстрактном Вове, полюбившем и разлюбившем Зою, а потом «случайно» открывшем нефть. Но ведь давно уже известно, что в жизни ничего случайного не бывает, тем более государственных свершений такого масштаба, как Тюмень. Сотни и тысячи деловых и нравственных закономерностей проявились, были замечены и активно поддержаны в истории тюменской нефтяной эпопеи. Многие из них стали непреложными законами работы геологов, составили твердо и повсеместно соблюдаемый кодекс их профессионально-нравственной чести. Именно они, эти законы, и явились характернейшими признаками нашего времени, ускорили движение времени вперед, образовали фактом своего рождения и развития типические обстоятельства нашего образа жизни, стали «правдой жизни».

Все это я говорил, твердо «стоя» под тюменскими знаменами, а слушатели мои вроде бы уже и не слушали меня. Редакторы поняли, что опровергнуть наши с Юрием Георгиевичем возражения не так-то просто, а режиссеры вроде бы только сейчас по-настоящему разглядели «жан-габеновское» лицо Эрвье и сразу же зашушукались, обсуждая «фактуру», защелкали языками, закивали восторженно головами, поглядывая на Эрвье: вот, мол, такую бы «фактуру» снять в своем фильме независимо от того, о чем этот фильм будет.

... В тот приезд Юрия Георгиевича в Москву приобщение его к искусству не ограничилось только посещением «Мосфильма». Через несколько дней мы пошли с ним в Театр на Таганке смотреть мою пьесу о геологах. После спектакля зашли к Любимову, главному режиссеру театра. Я познакомил их, и Любимов, конечно, спросил у Эрвье, все ли правильно в спектакле с точки зрения геологии.

— С точки зрения геологии-то все правильно, — сказал Эрвье, — а вот с точки зрения режиссуры...

И начал объяснять Любимову, как он, Эрвье, поставил бы эту пьесу.

3

Звонок из Тюмени. Снимаю трубку.

— Привет, это Эрвье. Слушай, у нас сегодня торжественный вечер, ребятам ордена будут вручать. Сможешь прилететь?

— Смогу, — не задумываясь, отвечаю я.

Кладу трубку, смотрю на часы — без пяти одиннадцать. Не слишком ли быстро согласился? Дорога-то все-таки не очень близкая — несколько тысяч километров. А вдруг погода нелетная? Вдруг билетов на Тюмень нету?

Но все складывается на редкость удачно. Погода летная, и билеты есть. Правда, только до Челябинска. Но это уже не имеет значения. Главное — сдвинуться с места, тронуться в путь, а остальное, как говорится, дело техники.

В Челябинске до хрипоты ругаюсь с диспетчером, с дежурным по аэропорту (билетов здесь нет). Пытаюсь даже зайцем проникнуть в самолет. Грозно размахиваю своим писательским удостоверением. Слезно уговариваю каких-то летчиков с грузового самолета взять меня с собой до Тюмени. (Откуда берется вся эта энергия, какая сила так неудержимо «тащит» меня в этот город?) В результате на вручение орденов опаздываю, но зато успеваю на банкет по этому поводу. (А ведь еще утром тихо-мирно сидел себе в Москве.) И уже пожимаю чьи-то руки, кому-то улыбаюсь, кого-то поздравляю, присоединяюсь к пожеланиям, слышу торжественные речи, тосты, спичи, клятвы, обещания. Вот только с ним мне поговорить никак не удается, вокруг него все время какие-то люди — из Академии наук, из министерства, из экспедиций.

Веселье постепенно разбивается на несколько самостоятельных очагов. Всеобщее внимание привлекает темпераментная кавказская пляска одного из награжденных. Он получил медаль, но этого ему показалось мало. Собрав у товарищей по экспедиции такие же

(только что полученные) медали и надев их все в один ряд на лацкан своего пиджака, разгоряченный танцор лихо исполняет лезгинку, звеня густым завесом наград. Но все это продолжается до тех пор, пока в круг не входит Эрвье и не говорит любителю кавказских танцев, что с чужими медалями каждый дурак плясать может. А ты вот попробуй сначала своих столько заработать, а потом уж будешь изображать из себя джигита. Обиженный танцор настаивает на доведении пляски до конца, но с него снимают чужие медали (оставив одну, свою), раздают их законным владельцам и уводят. После этого Эрвье, наведя порядок, подходит ко мне и садится рядом.

— Спасибо, что приехал, — говорит он. — Как добрался?

— Нормально.

— Завтра лечу на Север. Готовится новое постановление правительства по Тюмени. Нужно срочно взглянуть сверху на все наше хозяйство сразу. Кое-где ускорить темпы работ, уплотнить сроки, уточнить цифры. Ну и заодно решить на месте некоторые оперативные вопросы, с людьми повидаться, почувствовать обстановку. Она ведь по нынешним временам не только каждый день, но и каждый час меняется. Жизнь укрупнилась, ускорилась... Хочешь со мной?

(Ага, вот для чего он так срочно вытащил меня из Москвы. Но назвал другую причину — ребят орденами награждают. Дипломат.)

— Конечно, хочу. Что за вопрос?

— Будь готов завтра к шести утра. Заеду в гостиницу.

Само собой разумеется, что с окончанием официального банкета широкие круги награжденных не пожелали идти спать и продолжили торжество. (Оно проходило в основном в гостинице «Заря» и вокруг нее, так как большинство отмеченных правительственными наградами съехались в областной центр из экспедиций со всей Тюменской области.)

Всю ночь к гостинице подъезжали и отъезжали такси, в номерах хлопали пробки шампанского, в коридорах гудели голоса, сверкали ордена и медали, шумные компании перебирались с одного этажа на другой (и никто не жаловался на шум, не протестовал, потому что

жаловаться, собственно говоря, было некому — вся «Заря» была битком набита только одними награжденными геологами).

Вместе со всеми кочевал по гостинице, расхаживал из номера в номер, с этажа на этаж и я (везде находились старые друзья и приятели, знакомые по прежним моим наездам в Тюмень — за двенадцать лет их накопилось видимо-невидимо). И почти во всех номерах, на всех этажах, в любых компаниях и застолицах на той или иной стадии веселья долетали до моего слуха приблизительно такие разговоры:

— Как сегодня Юрий Георгиевич нашего джигита шуганул, а?

— Эрвье-то?

— Ну!

— Это он умеет.

— Он и не таких джигитов в порядок приводил. Про него много всяких историй рассказывают.

— Слышь, мужики, а к нам однажды Эрвье прилетает в экспедицию — как шуганет всех наших мухобоев! И сразу завертелись все, забегали, как тараканы. И дизеля нашлись, и солярка, и насосы. И столовая начала работать как следует, и магазины. И даже свет стал гореть не до восьми вечера, а до одиннадцати...

— А у нас баржи у причалов долго-долго стояли неразгруженные. Речники «забастовали», копейки там какие-то в бумагах не сходились. А на баржах оборудование геофизическое, без которого план горит... Прилетает Эрвье — как попер на речников, как попер! Одного чуть в воду не скинул. Сам хватает ящик, кидает его на плечо — и на берег. Хватает второй — и на берег. Хватает третий... Но тут уж начальство наше прибежало, подняло по авралу поселок, и к утру все выгрузили...

— Это где было?

— В Тарко-Сале.

— Точно. Я слыхал,— говорю я.— Я сам при этом был. Вместе с ним первые ящики таскал.

— Вот видишь, значит, правильно про него все эти истории рассказывают.

— Конечно, правильно. У нас один раз тоже план по геофизике горел. Прилетает Эрвье, собирает партийное собрание — что, как, почему? Подняли все сейсмограммы за прошлый год, разобрались, выносим реше-

ние — выполнить всю оставшуюся годовую программу за один месяц... На бумаге-то оно все хорошо получилось, гладко, а на следующее утро пошел отряд тракторов с сейсмостанциями через реку и встал на берегу. Трактористы дальше идти отказываются — лед слишком тонкий... Эрвье подходит к первой машине, влезает в кабинку и говорит трактористу: я с тобой рядом буду сидеть до того берега. Смотрим, съезжает машина на лед и пошла, и пошла через речку... Я подхожу ко второму трактору, тоже влезаю в кабинку и говорю трактористу: а ты чего, хуже других?.. В третью главный инженер наш садится, и через полчаса весь отряд уже на том берегу был...

— А у нас в экспедиции единицу геологической мощности изобрели.

— Какую же?

— Один «эрвье».

— Это как понимать?

— Очень просто. В электричестве, например, есть такие величины, как ампер, ом, вольт. А в геологии пусть будет «эрвье».

И тогда про какого-нибудь деятеля можно будет сказать, например, так: этот геолог обладает мощностью 0,8 «эрвье».

— Ха-ха-ха! Придумали же...

— А разве плохо придумали?

— Ничего... Слушай, а ты сам какой мощностью обладаешь?

— Я-то? Да как тебе сказать.., 0,4 «эрвье», не больше.

— А я?

— Ты? Тоже 0,4.

— А почему так мало?

— А ты сам у себя спроси...

Под «аккомпанемент» всех этих разговоров я добираюсь наконец до своего номера и ложусь спать.

Но спать мне удается совсем недолго. Меня будят не в шесть утра, как было условлено, а в половине пятого. И не Юрий Георгиевич, а его заместитель — главный геофизик Тюменского геологического управления, мой давний приятель Лева Цибулин (тоже Герой Социалистического Труда и тоже лауреат Ленинской премии).

— Чего так рано?— недовольно ворчу я со сна.

— Зовет,— коротко объясняет Лева.

— А он встал уже? — удивляюсь я.

— А он и не ложился,— усмехается Цибулин.

Быстро одеваюсь. Позевываю.

— Спать хочется?— участливо спрашивает Лева.

— Хочется,— откровенно признаюсь я.

— Приехал в Тюмень — со сном распрощайся,— вздохнув, говорит Цибулин.— Забыл, что ли?

Что верно, то верно. В Тюмени действительно спать некогда.

— Он тебя, между прочим, по всем телефонам в гостинице искал,— продолжает Цибулин,— ты где был?

— У ребят сидел.

— Потом меня за тобой послал. Разыщи, говорит, своего друга и доставь — живого или мертвого.

— А где он сейчас-то?

— На аэродроме. Поехали? Машина внизу.

Садимся в машину, и, как только трогаемся с места, Цибулин засыпает как убитый.

Минут через двадцать подъезжаем к аэродрому. Цибулин просыпается.

— Долго я спал? — тревожно спрашивает он.

— Ровно восемнадцать минут,— отвечаю я.

Эрвье уже ждет нас около самолета. Нетерпеливо прохаживается около трапа. Курит. Рядом с ним главный геолог Тюменского геологического управления Фарман Салманов (тоже Герой Социалистического Труда и тоже лауреат Ленинской премии).

Вылезаем из машины. Рядом со мной стоят три человека (Эрвье и два его заместителя — Цибулин и Салманов). И у каждого на лацкане пиджака звезда Героя. И все трое работают в одном областном геологическом управлении. Кое о чем это говорит, не правда ли? (Я сразу вспомнил плясавшего на банкете «джигита», надевшего на себя, помимо своей, еще медали товарищей. Его можно было понять.)

— Решили пораньше вылететь,— озабоченно говорит Эрвье,— дел много.

Самолет берет курс на север. (В какой уже раз начинаю я эту дорогу именно с этого аэродрома...) Эрвье сидит у окна и, напряженно подавшись вперед, пристально смотрит вниз, словно пытается что-то заново

разглядеть в остающейся под крылом самолета тайге, над которой он пролетает уже в сотый, а может быть, даже и в тысячный раз.

Смотрю в окно и я. И хотя мне тоже давно уж знакомы (по Якутии, Колыме, Таймыру, да и по самой Тюмени) все эти бесчисленные круглые блюдца озер и замысловатый, извилистый «серпантин» рек, я тоже как бы заново «заражаюсь» от Юрия Георгиевича жадным интересом к этой сверху вроде бы ничем и не примечательной, но обладающей странным гипнозом какой-то особой значительности земле, в недрах которой сотни веков безымянно лежала нефть, но вот пришел геолог, достал волшебный ключ, и таинственный «сим-сим» отворился. И найденные сокровища сибирского «черного золота», добавив к сибирскому «желтому золоту» (а также «белому», «мягкому» и т. д.) новые длинные шеренги своих нулей, «встали» под знамена экономики страны, сказочно перевернув (удвоив, утроив, учетверив) энергетический потенциал Урала, Кузбасса, да и вообще всей Сибири.

Собственно говоря, за обладание этим волшебным ключом, за власть над таинственным «сим-сим» я так сильно и привязан к геологии уже много лет. Обаяние геологической профессии состоит для меня прежде всего в том, что профессии этой присущ, на мой взгляд, некий своеобразный «божественный» промысел, некая «божественная» функция сотворения современного индустриального мира из хаоса вод, недр, топей, таежной глухомани, непролазных болот, неприступных гор и прочей земной тверди.

И в самом деле — в доисторический, первобытный, необитаемый хаос тайги приходит занятый поисками нефти геолог. В первый день ставит палатку, во второй — стучит молотком по скальным выходам, собирая образцы пород, в третий — чертит карты, в четвертый — изучает показания своих умных приборов, в пятый — затаскивает в тайгу буровой станок, в шестой — бурит, а на седьмой день — пожалуйста! — из земли в небо ударяет нефтяной фонтан. И только потом уже приходят к этому фонтану строители, промысловики и прочие профессии, строят город — улицы, школы, магазины, больницы, родильные дома, прокладывают нефтепровод, возводят корпуса химических комбинатов, уст-

раивают недели поэзии, декады литератур, фестивали изящных искусств.

А первым-то был геолог...

Он первым зажигал «искру божью» в этом таежном хаосе. Он спал здесь среди болот и ядовитых урманов, засыпая в испарине и просыпаясь в ознобе. Он срывал ногти, затаскивая в тайгу сейсмические станции. У него обгорала кожа на руках во время пожаров на буровых. Он проваливался под льды рек и озер на тракторах и тягачах. Он погибал здесь в авиационных катастрофах. Он жертвовал здесь своей молодостью, своими силами, своим здоровьем, но это именно он начинал здесь завтрашний день, именно он «высаживал» здесь корень будущей жизни (как Лева Цибулин, например, в Березово и Нарыкарах, как Фарман Салманов в Усть-Балыке и Горно-Правдинске).

И ему, тюменскому геологу, было, наверное, «немного» потруднее, чем почтенному дедушке Саваофу, который только дунул-плюнул, и на тебе — горы, реки, птицы, гады, свет, тьма, то да се, а потом, по старческому своему легкомыслию, еще и прародителя Адама сотворил со всеми его хорошими и дурными замашками, а потом (ох, легкомысленный старик!) потянулся к Адамову ребру... и пошло, и поехало — Лейла и Меджнун, Ромео и Джульетта, Григорий и Аксинья — до сих пор разобраться не можем...

Вдали блеснула Обь. Показался Сургут. Заходим на посадку. Приземляемся. Огромная толпа народу валит наискосок через поле аэродрома к нашему самолету.

— Ну вот,— бодрым голосом говорит Юрий Георгиевич,— начинаем работать.

— Как в прошлый раз,— говорю я.

— Да, как в прошлый раз,— тихо говорит Эрвье,— но все равно каждый раз по-новому...

4

Об Эрвье написано уже много. В десятках книг, в сотнях очерков и репортажей описан первый этап тюменской нефтяной эпопеи. Немало страниц посвящено в них и человеку, возглавлявшему в эти годы тюменскую геологическую службу. Поэтому я не стал приводить здесь конкретные цифры и факты, названия месторож-

дений, этапы открытий, не стал излагать технические и научные стороны тех приемов и методов, которыми эти открытия были сделаны. Я сам не один раз писал обо всем этом, так что не стоит повторяться. Тем более что в стремительное наше время научно-технического переоснащения человеческого опыта эти цифры и факты, приемы и методы сменяют друг друга со сказочной быстротой, и то, что недавно еще казалось интересным и новым, сегодня уже вчерашний день.

Мне просто хотелось написать о человеке, деловые и нравственные качества которого, как мне кажется, наложили своеобразный отпечаток на всю историю открытия тюменской нефти, оставили в этой истории заметный след, обогатили ее яркими красками крупного и оригинального человеческого характера.

Заранее слышу некие глухие реплики. В основном они будут, наверное, адресоваться к тому, что д'Артаньян — это явный перебор, и к тому, что не один, мол, Эрвье открыл нефть в Тюмени, были и другие люди, организации, службы, инстанции.

Но никто и не утверждает, что Эрвье это сделал один. Наоборот, без товарищей по работе имя Эрвье никогда бы не звучало в современной нефтяной геологии так, как оно звучит сейчас.

А д'Артаньян... Ну, что ж, может быть, и есть в этом некоторая доля литературной условности. Но что поделаешь, если судьба человека складывалась именно так, а не иначе, если предки его действительно были выходцами из Франции, из Гасконии, если он всегда жил и работал по самым большим законам дружбы, товарищества, мужества, справедливости и удачи — есть в геологии такой термин — «процент удачи», которая, несомненно, сопутствовала ему, была наградой за верность этим большим законам. И поэтому, предвидя возможные упреки в некоторой, так сказать, идеализации фигуры Эрвье, беру все-таки на себя смелость утверждать следующее. Да, выдающиеся тюменские месторождения были открыты на сибирской земле не в результате стремительных и неожиданных действий чьей-то одиночной «шпаги». Да, они явились результатом долгих и согласованных усилий многих геологических, научных, общественных и партийных организаций и инстанций.

Но все-таки, если бы не Эрвье, если бы не его вер-

ность, преданность и какая-то безоглядная, стопроцентная, подвижническая растворенность в своем деле, возможно, тюменская нефть и не заявила бы о себе так быстро и так громко. (Наверное, ребята из гостиницы «Заря» были не совсем правы, изобретая новую единицу измерения геологической мощности. Наверное, величиной «эрвье» надо мерить не только геологическую мощность, но и верность, преданность и именно эту безоглядную, стопроцентную, до конца, без остатка, растворенность и одержимое подвижничество человека в своем деле — в данном случае в геологии.)

Сейчас тюменские геологи вступили в следующий этап своего развития. Десятая пятилетка поставила перед ними еще более значительные задачи и цели. В конце ее добыча нефти в «третьем Баку» должна преодолеть цифру триста миллионов тонн в год. В ближайшие десять лет в обеспечении страны топливом и энергией решающая роль сохранится за нефтью и газом, прежде всего тюменскими. На новые рубежи выйдут к этому времени и геологи. Экономическая эффективность и высокое качество, всегда бывшие характерным признаком работы тюменских поисковиков, поднимутся на новую ступень.

Будут пробурены новые миллионы метров разведочных скважин, открыты новые месторождения. Территориально-производственный тюменский нефтегазодобывающий комплекс приблизится к своему окончательному завершению.

Пятилетку выполняют люди. А в человеческой природе заложено прекрасное свойство — равняться на лучших, следовать высоким образцам, постоянно усваивать из опыта других все самое хорошее, добротное, совершенное.

Мой герой — лицо вполне реальное. Он живет вместе с нами на одной земле, ходит по улицам тех же городов, по которым ходим и мы, дышит тем же воздухом, что и мы. Известен даже его адрес. Своими делами, своей энергией, своим темпераментом он как-то очень широко раздвинул границы наших представлений о человеческих возможностях в борьбе за овладение почти недоступными природными богатствами Сибири, в создании больших производственных коллективов, ведущих эту борьбу, в способности предельно подчинить

в этой борьбе науку практике, в стремлении максимально использовать технику в сфере геологии, в искусстве тонких отношений со всякого рода планирующими, фондирующими и субсидирующими органами, в умении четко и радостно работать с людьми, и особенно с людьми молодыми, в готовности щедро доверять им самые ответственные и решающие звенья геологической разведки и тем самым пробуждать в них главное качество молодости — желание утвердить себя, заявить о себе, своими руками построить собственную биографию, добыть себе почетное и уважаемое место под солнцем.

Конечно, я далек от слишком наивных педагогических аналогий и ассоциаций, но кто изначально знает точные адреса своих несотворенных, своих не сразу встреченных кумиров? Идеал почти всегда случайно обнаруживается по одному из тех адресов, а дороги к идеалу — неисчислимы. И неисповедимы.

Когда-то, когда я впервые увидел его («легенда» о нем существовала уже и тогда — первые месторождения нефти и газа были уже найдены, не все только верили в их промышленное будущее,— а мы верили в это будущее всегда!), когда он впервые жарко взглянул на меня своими молодыми и цепкими антрацитовыми глазами, я сразу же ощутил в себе вспышку острого, захлестывающего интереса к этому необычному человеку, вокруг которого как бы распространялось (пульсировало, струилось, аккумулировалось) некое невидимое магнитное поле инициативы, предприимчивости и удачи. И я сразу же понял, что это — «мой» человек, что в моих поисках среди поколения «отцов» активного, крупного, наступательного характера он займет одно из центральных мест, что наши отношения с ним, конечно, не будут исчерпаны только отношениями литератора и его будущего героя.

И не ошибся.

Знакомство с этим человеком подарило мне, может быть, самые высокие в моей жизни чувства и размышления о главных формулах человеческого бытия, о смысле человеческого предназначения на земле.

1978 г.

Валерий Осипов

Дневник глубокого бурения

1

Забой — ноль метров. Подготовка к забурке. Осмотр инструмента, ремонт дизеля. Состав бригады — прежний. Бурильщик первой вахты Гаранин.

Забой — ноль метров. Подготовка к забурке. Опять кругом тайга, тишина, глушь. Виталька, спасибо за дизель. Бурильщик второй вахты Вальцов.

Забой — сто десять метров. Забурились сегодня в пять сорок утра. Ремонт роторной цепи. Бурильщик первой вахты Гаранин.

Забой — двести сорок метров. В скважину добавляли воду. Виталька, спасибо за ротор. Бурильщик второй вахты Вальцов.

307 метров. Подсчет длины инструмента: $24\times12+19$. Подтягивание вертлюга. Гаранин.

362 метра. Привезли новую повариху. Симпатичная, Виталька, спасибо за вертлюг. Вальцов.

384. Спуск инструмента. Крепление штанги. Промыв скважины. Гаранин.

419. Подъем инструмента. Сварочные работы. Виталька, а повариха-то, а? О-го-го! Подготовительные работы к спуску кондуктора. Вальцов.

774. Регулировка тяги скоростей. Промывка скважины. Гаранин.

835. Осмотр компрессора. Сшивка цепей. Виталька, ты чего мне ни одного слова не напишешь? Ведь что получается: я сплю — ты работаешь, ты спишь — я на буровой. Смена задвижки на выкиде. Вальцов.

Бурильщику второй вахты Вальцову. Буровой журнал существует не для лирики, а для дела. Посторонние записи требую прекратить. Буровой мастер Заботин.

2

— Здравствуйте, Леля.

— Здравствуйте, Виталий.

— А вот и ошиблись. Это Гаранина Виталием зовут. А я Виктор. Вальцов Виктор.

— Очень приятно.

— И мне очень приятно. Прогуляться решили?

— Жарко все время на кухне, около плиты.

— Это конечно. Ну как вам тут у нас, нравится?

— Места красивые.

— Красивые — не то слово. Богатые — вот это правильно будет. Ткни пальцем под этим кустом, и сразу фонтан ударит.

— Так сразу и ударит?

— Ну не сразу, конечно. Сперва дырку сверлить надо, бурить то есть.

— А бурить вы умеете, да?

— Мы-то? Да у нас, знаете, какая бригада? Ансамбль песни и пляски, а не бригада.

— Я знаю.

— Леля, а вы грибы собирать любите?

— Люблю.

— Может, сходим за грибами? Когда погода хорошая будет.

— Можно сходить.

3

— Здравствуйте, Виктор.

— Здравствуйте, Леля... Только я не Виктор, а Виталий. Гаранин Виталий. А Виктором Вальцова зовут, сменщика моего.

— Извините.

— Пожалуйста. Ну как вам тут у нас, нравится?

— А вас действительно легко с вашим сменщиком перепутать.

— Почему?

— Вопросы одни и те же задаете.

— Это по привычке. Мы с ним давно дружим.

— А вы смешной...

— Я не смешной, я просто не выспался.

— Виталий, а вы грибы собирать любите?

— Люблю, а что?

— Меня ваш друг грибы собирать пригласил. А я вас приглашаю...

4

Забой — 1067 метров. Сбивка сальника. Витек, ты что это каждые полчаса на кухню бегаешь? Разбор турбины. Замена штуцеров. Гаранин.

Забой — 1213. Товарищ Гаранин, а вам-то какое дело, куда я хожу в свободное от вахты время? Смена клапанов. Долив скважины. Вальцов.

1344. Витек, в свободное от вахты время нужно спать, а не сидеть на кухне. Подъем инструмента. Осмотр турбобура. Гаранин.

1372. Виталька, ну занятная баба — наша повариха! Где она только не побывала? А мы тут сидим около своей нефти. Замена грязевого шланга. Разные работы. Вальцов.

Внимание обеих вахт! Сколько можно говорить, чтобы не писали в буровой журнал о своих козлиных делах? Ведь это же документ, а не ха-ха... На среду назначаю собрание. Буровой мастер Заботин.

5

— Здорово, Витек!

— Виталька!.. Здорово. Слушай, что это наш старик бодаться начал?

— Мастер-то?

— Ну?.. Козлиные дела, журнал не ха-ха...

— Завидно стало.

— Мне про него рассказывали... Он сам-то в молодые годы ба-альшой ходок был по разным адресам.

— Витек! а как Леля-повариха?

— Да ладно тебе!

— А чего? Деваха она подходящая. Все при ней.

— Не в этом дело. Странная она какая-то. И на повариху вроде не похожа...

— Все они одинаковые.

— Культурная...

— А мы что — деревня, если в тайге живем?

— Почему это деревня?

— Ну и все дела!

6

— Здравствуйте, Леля.

— Здравствуйте, Виктор.

— Отдыхаете?

— Посидеть на воздух вышла.

— Воздух у нас хороший. Север.

— За грибами скоро пойдем?

— Вот будет погода получше, и пойдем.

— Погоду ждать — все грибы прозевать можно.

— Не прозеваем. Завтра у нас собрание — мастеру приспичило обязательства брать.

— Мастер здесь, я смотрю, никому спуску не дает.

— Мастер есть мастер. Ему план давай, перевыполнение, новые резервы.

— А с виду не скажешь, что строгий. Веселый такой старикашечка.

— Строгим каждый дурак может быть. Дело не в этом.

— А в чем дело?

— А что это мы все о работе да о работе?

— А я люблю о работе. Только чтобы интересно было... Говорят, Гаранин ваш автомат какой-то изобретает?

— Чертит там чего-то.

— А что это за автомат?

— Да нет еще ничего. Одни разговоры.

— Ну а все-таки?

— Без людей бурить будет.

— Без людей? А как же это?

— А вот так. Людей не будет, одни кнопки будут. Нажал кнопку — пошло долото вниз. Нажал вторую — трубы сами нарастились. Нажал третью — фонтан ударил. И ни одного человека на буровой нету, ни одной живой души. Все автомат делает.

— А щи вам тоже будет автомат варить?

— А это ты у него спроси.

— У кого? У автомата?

— Не, у Витальки Гаранина.

— Да ну его... Мрачный какой-то ходит, нахмуренный.

7

— ...год пятилетки. Объемы работ по глубокому бурению у нас в этом году непрерывно растут.

Поэтому мы должны использовать сейчас все резервы — и видимые, и, главное дело, невидимые. Потому что такой резерв, который наверху лежит,— он всем заметный и понятный. В нем большого секрета нету, его и дурак использует. А ты мне найди такой резерв, который затаился, который только тебе одному виден. Вот тогда я тебе спасибо скажу и от имени руководства низко в ножки поклонюсь. Потому что наше рабочее дело, ребята, теперь такое — не только бери больше, неси дальше, но и головой надо думать... Как буровой мастер, многие годы работающий по нефти, я вам, ребята, скажу так: обязательства вы взяли крепкие, настоящие мужские обязательства. И я надеюсь, что они будут выполненные, а может, даже и перевыполненные... Что мы — хуже других, что ли? Вы только в газеты поглядите — ведь вся страна сейчас старается, каждый рабочий человек все свое самое лучшее в общий котел бросает... Да что я вас тут буравлю, чего агитирую — будто вы неграмотные, сами не понимаете. Дадим план досрочно, и сами с копейкой будем! Собрание объявляется закрытым.

8

Забой — 1409 метров. Развальцовка устья. Замена поршней цилиндров. Сократить время простоя на вахту до одного часа. Бурильщик первой вахты Гаранин.

Забой — 1467. Виталька, выходит, мы с тобой опять соревнуемся, а? Ну, держись, киноартист!.. Смена дизелей. Уборка на буровой. Простой — пятьдесят четыре минуты. Бурильщик второй вахты Вальцов.

1546. Витек, не надорвись — пупок развяжется... Крепление фланца. Проработка скважины в интервале одна тысяча триста — одна тысяча пятьсот метров. Простоев за смену — сорок восемь минут. Гаранин.

1588. Изготовление направления на ходовой конец. Виталька, а помнишь, как мы с тобой в прошлом году

в Сочи в ресторане на горе Ахун гужевались, а? Законно все было, а?.. Подтяг верхних сальников. Ремонт пульта. Простой за смену — сорок минут. Вальцов.

1634. Подъем инструмента. Затрата времени — 1 час 15 мин. Смена долота — 20 мин. Профилактика — — 12 мин. Спуск инструмента — 1 час 45 мин. Остальное время — чистое бурение. Простоев за смену — 37 мин. Гаранин.

1710. Подъем инструмента. Затрата времени — 1 час 10 мин. Смена долота — 15 мин. Профилактика — 8 мин. Спуск инструмента — 1 час 35 мин. Простой за смену — 22 мин. Вальцов.

Внимание бурильщиков обеих вахт! Ребята, ну куда вы бросились сломя голову? Очень быстро гоняете трубы взад-вперед. Особенно к Вальцову относится. Виктор, ты что — в Сочи на такси торопишься? На гору Ахун опоздать боишься?.. Требую наряду с выполнением обязательств соблюдать технические правила и нормы. Вгоним буровую в аварию — кому мы будем нужны с нашими обязательствами? Буровой мастер Заботин...

9

— Здравствуйте, Леля... Что это вас давно не видно?

— Почему же давно? Я вам сегодня утром обед на буровую приносила.

— Ах да... Верно. Забегались мы совсем с этим соревнованием.

— Виктор, можно у вас спросить?

— Конечно.

— Вы не обиделись на меня?

— За что?

— За то, что я Виталия позвала тогда с нами грибы собирать?

— А-а... Нет, не обиделся. Он же мне друг.

— Я так и знала... А друг у вас симпатичный. На киноартиста похож. И грибы хорошо собирает...

10

— Виталька, поговорить надо...

— Говори.

— Ты на повариху виды имеешь?

— В каком смысле?

— Ты дурочку не валяй! Говори прямо — да или нет?

— Дурак ты, Витек, вот что я тебе скажу.

— Да или нет?

— Нет.

11

— Здравствуйте, Виталий!

— Здравствуйте, Леля.

— Вкусно я вас сегодня накормила?

— Терпимо.

— Виталий, можно вас называть на «ты»?

— Можно.

— Виталий, можно тебя попросить об одном деле?

— Можно.

— Сделай мне, пожалуйста, душ.

— Душ? Какой душ?

— Ну, обыкновенный, в котором моются.

— Есть же душ.

— Это общий. В нем мужчины моются. А мне бы отдельный, женский. Другой раз подольше хочется помыться, голову как следует промыть, волосы расчесать. Да и постирать мне иногда надо кое-что свое, из белья, чтоб никто не видел.

— Может... Может, Витьку Вальцова попросить? Он это... Он по плотницкому делу мастак.

— Нет, я хочу, чтобы ты сделал. Лично ты.

12

Забой — 1733. Ремонт оборудования. Промыв скважины — 40 мин. Проба турбины. Гаранин.

1742. Ремонт оборудования. Промыв скважины — 35 мин. Долив скважины — 35 мин. Вальцов.

1769. Подготовительные работы. Промыв скважины — 30 мин. Долив скважины — 30 мин. Гаранин.

1792. Подготовительные работы. Промыв скважины — 25 мин. Долив скважины — 25 мин. Вальцов.

13

— Виталий, спасибо за душ.
— Пожалуйста, Леля...
— Гулять сегодня вечером в лес пойдешь?
— Пойду...
— В десять? Около родника?
— Да.

14

— Здравствуйте, Леля...
— А-а, Виктор. Приветик.
— Погулять не хотите? В тайге сейчас хорошо.
— Нет, Витенька, времени совсем нету. Ужин надо готовить, картошку на завтра чистить, компот варить.
— Минут на двадцать, на тридцать, а?
— Я же сказала, Виктор, — некогда. Для вас же стараюсь.

15

1818. Разрыв шланга грязевого насоса. Замена поршней. Подъем грунтоноски. Сращивание каната, объем работ — три тысячи метров. Время — один час. Вальцов.

1844. Пуск турбобура. Закачка раствора. Гаранин.

1867. Поломка элеватора. Ремонт элеватора. Набивка сальника. Выравнивание уровня. Неожиданно ударили заморозки. Что-то рано в этом году. Отогрев ключа. Вальцов.

1893. Очередная партия труб поступила в разных кондициях. Вынужден использовать старые трубы. Резьбовые соединения труб укреплены сваркой. Гаранин.

Приказ № ... по буровой № ... Объявить благодарность бурильщику Гаранину Виталию за проявленную инициативу при ликвидации простоя из-за поступления на буровую труб разной кондиции. Заботин.

16

— Иван Михайлович, разговор есть.
— Давай, Гаранин, давай свой разговор.

— Михалыч, какая у нас скорость при отборе образцов?

— Очень плохая скорость. Два метра в секунду.

— А почему?

— А потому, что мощность турбины малая. Сам, что ли, не знаешь?

— Знаю... Михалыч, а если нам свое устройство для отбора образцов изготовить?

— Как это свое? На какие шиши?

— Очень просто. Вместо долота пустить секционный турбобур.

— А где же его взять?

— Я сделаю.

— Из чего?

— Возьму два старых долота и один секционный бур, из них соберу.

17

Приказ № ... по буровой № ...

Бурильщик первой вахты Гаранин применил новое устройство при отборе образцов из забоя. Сделанный им секционный колонковый турбобур позволил в два с половиной раза увеличить скорость бурения. Ходатайствую перед руководством о награждении тов. Гаранина месячным окладом. Буровой мастер Заботин.

18

— Что с тобой происходит, Вальцов?

— Ничего, Иван Михайлович, со мной не происходит.

— А вчера? Ведь была же угроза обрыва инструмента. Под аварию мог буровую подвести.

— Мог, да не подвел.

— Какая тебя муха укусила, Виктор? Рассказал бы.

— Нечего мне рассказывать.

— А все-таки?

— Эх, Иван Михайлович, сами, что ли, не видите?

— Вижу, не слепой. Глаза у всех есть... Может, поговорить мне с ним? Или с ней?

— Слова тут ни при чем.

— Это верно... Слушай, Виктор, а может, тебе зажать сейчас себя в кулак, а? Нашего брата от этой музыки только работа лечит — я по себе знаю. Попробуй, Витя! Надо взять себя в руки. Нельзя позволять, чтобы эта чертовщина поперек души гуляла. На свете много хороших женщин есть, да не каждая для тебя приготовлена. Я по себе это знаю. Обидно, конечно, но что поделаешь...

19

— Поговорим?
— Поговорим.
— Считаешь, что я виноват перед тобой?
— Теперь уже не в этом дело, Гаранин.
— А в чем теперь дело?
— Жениться на ней собираешься?
— А почему ты меня об этом спрашиваешь?
— Да или нет?
— Нет.
— Ах, вот ты какой!
— Какой?
— Себе на уме?
— А ты первый раз меня увидел?
— Новатор, рационализатор, герой труда, а нутро-то у тебя, оказывается, волчье?
— Что, что?
— Откусил — и бежать?
— Ты чего мелешь?
— Зачем душ ей сделал?
— Она сама попросила.
— Врешь?
— Да пошел ты!...
— Ну вот что, Гаранин! С этого дня...
— Ты только меня не пугай!
— Я тебя тогда как друга спросил...
— Не спрашивают об этом!
— ...да или нет? Ты сказал — нет...
— Да кто об этом заранее знать может?! Кто?

20

Забой — 1916 метров. Отогрев воздушных шлангов. Смена штока поршня крамбуксы. Промывка скважины. Гаранин.

Забой — 1928. Отогрев шлангов. Съем тормозных лент. Вальцов.

1929. Отогрев воздушных шлангов. Центровка вышки. Ремонт цепей. Установка муфты. Гаранин.

Забой — 1957. Укрепление болтов хомута. Отогрев оборудования. Закачка скважины. Вальцов.

21

— Как хорошо здесь, Виталик, правда? Лес, ручей, звезды между деревьями видны...

— Леля...

— Нет, нет, ничего сейчас не говори. Мне давно так хорошо не было, как сегодня.

— Леля...

— Я когда ехала к вам сюда, боялась, что все опять по-старому будет. Мужики приставать начнут... А вот встретила тебя.

— Леля...

— А может, ты мое счастье, Виталик? Может, ты мне на роду написан?

— . . . .

— Ну, чего ж молчишь?

— Уезжать тебе надо отсюда...

— Уезжать? Как уезжать?! Куда уезжать?

— На другую буровую. А лучше — в другую экспедицию.

— Виталик, что с тобой? На тебе лица нет... Что случилось?

— Ничего не случилось. Кончать надо все это.

— Господи, что со мной? Виталик, подожди, не уходи...

— Да никуда я не ухожу!

— Давай уедем отсюда, Виталик! Вместе! Бросим все и уедем!

— С ума сошла? Куда я от бригады поеду?

— Другую бригаду найдем!

— А Витек?

— Что Витек? Ну что Витек?!

— Тихо, не кричи на весь лес...

— Витек, Витек... Ты еще о всей бригаде спроси. О них побеспокойся!

— Бригада и так из-за нас сыплется...

— Ах, вот оно что? Бригаду свою спасаешь? Новый резерв для производства нашел, да?

— Леля!

— Ладно, Гаранин! Хватит... Молод ты еще! Землю бурить научился, а об остальном только догадываешься... Белый свет на тебе клином не сошелся.

22

Забой — 1987 метров. В скважине повысилось давление. Угроза аварийного фонтана. Подготовка аварийного оборудования. Противопожарные меры. Вальцов.

1993. Давление повышается. Ремонт пожарных шлангов. Проба мотопомпы. Разные работы. Гаранин.

Внимание бурильщиков! Причина увеличения давления объясняется тем, что скважина встретила случайный пласт (вернее, пропласток) с повышенным сопротивлением буровому инструменту. *Строго соблюдать график закачки раствора!* Буровой мастер Заботин.

1997. Давление — сверхнормальное. Монтаж аварийной арматуры. Готовность к пожару — номер один. Гаранин.

Забой — 2001 метр. Давление снизилось. Осмотр инструмента. Ремонтные и сварочные работы. Смена шлангов. Вальцов.

Внимание обеим вахтам! Пропласток пройден. Давление вошло в норму. Бурение продолжать в режиме до 1987-го метра. Следить за креплением переводников верхних секций. Заботин.

23

— Уезжаете, Леля?

— Уезжаю, Виктор. Счастливо оставаться.

— А почему?

— Так лучше для всех будет.

— Только не для меня....

— И для тебя тоже.

— Ладно, не обо мне разговор... Устроилась на новом месте?

— Да, все в порядке. Телеграмму прислали. Ждут.

— Леля, можно вас спросить?

— Спрашивайте.

— Обещайте мне, как приедете, письмо сюда написать. С обратным адресом...

— Нет, не обещаю.

24

— Уезжаешь, Леля?

— Уезжаю, Иван Михайлович.

— Не поторопилась с заявлением?

— Не поторопилась. Все правильно.

— Ну, не поминай лихом...

— Иван Михайлович, а что в жизни главное — любовь или работа?

— Каждый человек на это по-своему отвечает.

— Мне, говорит, с ним еще пахать и пахать...

— Зеленый он еще...

25

— Прощай, Виталий.

— Прощай, Леля.

— Спасибо тебе...

— За что?

— За науку. И вообще...

— . . . .

— Жестокий ты все-таки парень, Виталий.

— С вами по-другому нельзя.

— . . . .

— Не плачь, Леля.

— А я и не плачу...

— А у самой слезы текут.

— Это они сами... Ты, Виталик, знай — я ни о чем не жалею. Как было, так было. Я сердце свое послушала — может, напрасно...

— . . . .

— Вертолет идет... Дай поцелую на прощание...

— Лучше не надо.
— Ох, какой ты, Гаранин! Совсем без сердца...

26

— Улетела?
— Улетела.
— Виталька, зачем ты ее прогнал?
— Никто ее не прогонял. Сама уволилась.
— Не ври! Она мне все рассказала.
— Мало ли чего она расскажет...
— Значит, меня пожалел?
— . . . .
— Ну, чего ж молчишь?
— Себя пожалел.
— А мне твоей жалости не надо, понял?!
— Чего орешь? Кто тебя слышит?
— Я как-нибудь и без твоей жалости проживу!
— А пошел бы ты!
— Я за ней полечу. Я жить без нее не могу! Она мне, может быть, дороже всех на свете!
— Подбери слюни. А то наступишь — поскользнешься...
— А ты... А ты!.. Пень, полено тупое! У тебя сердце человеческое есть?
— Есть! Есть! Есть!

27

2028. Ремонт лебедки. Установка щитов. Замена трансформатора. Спуск инструмента. Вальцов.
2052. Смена грязевых сальников. Промывка. Гаранин.
2068. Замена разрядника. Промер кабеля. Заглушка на выкиде. Бурение. Вальцов.
2075. Крепление шланга. Сращивание каната. Гаранин.
2089. Промывка скважины. Долив. Бурение. Вальцов.
2097. Промывка скважины. Долив. Бурение. Гаранин.
2149. Подъем инструмента. Спуск. Бурение. Вальцов.

2170. Подъем инструмента. Спуск. Бурение. Гаранин.

2369. Проработка скважины. Вальцов.

2475. Проработка скважины. Подготовка к спуску обсадной колонны. Гараннн.

28

— Курить есть?

— Держн.

— Болгарские?

— Югославскне.

— Крепкие...

— Сейчас бы махорочкн. Горлодеру.

— Давление растет?

— Растет. Добурились опять до самого дьявола...

— Пощекоталн ему долотом в ноздре...

— Мнхалыч-то наш вроде дернул вчера втнхаря.

— Где-то у него бутылка припрятана.

— Переживает старнк. Аварни боится.

— А помнишь, как на двух тысячах лебедка полетела? Я хватаюсь за тормоз н чувствую — пустота. У меня в глазах потемнело...

— А как на двух ста дизеля занскрилн? Газу вокруг полно, а тут нскры летят... Я думаю, ну, все — сейчас взлетнм на воздух...

— А как насос отказал на двух триста? И поперло все назад, и поперло. Я смотрю — обратно раствор идет. Ну, думаю...

— А помннשь, как шланг разорвало? Как он мне даст, зараза, по спине!

29

2841. Спуск обсадной колонны. Цементаж. Гаранин.

2841. Опрессовка колонны. Вальцов.

2841. Подготовка скважнны к испытаниям. Гаранин.

Заключение по испытаниям. Буровые работы окончены на семь дней раньше протнв принятых обязательств. Прн испытанин скважнна дала нефтяной фонтан. Суточный дебит — четыреста кубометров. Журнал глубокого буренпя в пернод проходкн скважнны бурильщикамн тт. Гараниным и Вальцовым заполнялся в основном правнльно. К сему буровой мастер Заботнн И. М.

30

Забой — 0 метров. Переехали на новое место. Подготовка к забурке. И опять вокруг тайга, тишина, глушь. Пуск насоса, проба шлангов. Бурильщик второй вахты Вальцов.

Забой — 0 метров. Подготовка к забурке. Осмотр инструмента, ремонт дизеля. Состав бригады — прежний. Бурильщик первой вахты Гаранин.

Забой — 137 метров. Забурились сегодня в четыре двадцать утра. Виталька, спасибо за дизель. Все опять идет, как тогда. Только Лели с нами нет. Жалко... Бурильщик второй вахты Вальцов.

1978 г.

Содержание

С34 **Сибирское притяжение.** Повести, рассказы, очерки. Свердловск, Средне-Уральское кн. изд-во, 1980.— 400 с.

ИСБН

Сборник посвящен героической эпопее освоения нефтяных богатств Тюменщины.

Авторы сборника — известные писатели В. Кожевников, В. Поволяев, З. Тоболкин, публицисты Э. Ставский, Е. Богданов, В. Осипов, кинооператор М. Заплатин и другие.

$С\frac{70302-071}{М158(03)-80}$ Р2

ИБ № 687

Сибирское притяжение

Редактор Н. И. Трубникова
Художник И. В. Богослов
Художественный редактор О. И. Журавлева
Технический редактор Л. М. Голобокова
Корректоры И. П. Никитина, Е. В. Иванова

Сдано в набор 31.03.80. Подписано в печать 15.09.80. НС 12648. Форм. бум. 84×108$^{1}/_{32}$. Типографская № 2.
Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 21,0. Уч.-изд. л. 21,0. Тираж 50000. Заказ 139. Цена 1 р. 50 к.
Средне-Уральское книжное издательство, 620219, Свердловск, ГСП-351, Малышева, 24.
Типография изд-ва «Уральский рабочий», 620151, Свердловск, пр. Ленина, 49.

В Средне-Уральском книжном издательстве
в 1980—1981 годах
в серии «Энергия века»
выходят книги
о Тюменском крае и людях Тюменщины.

Буров Ю. Ф. Окна на северную сторону.
Глебов В. С. Край с комсомольским значком.
Григорьев М. Б. Юность комсомольская.
Громов В. Т. Открытое небо.
Лагунов К. Я. Жажда бури.
Селиванов Ф. А. Героическое в буднях.